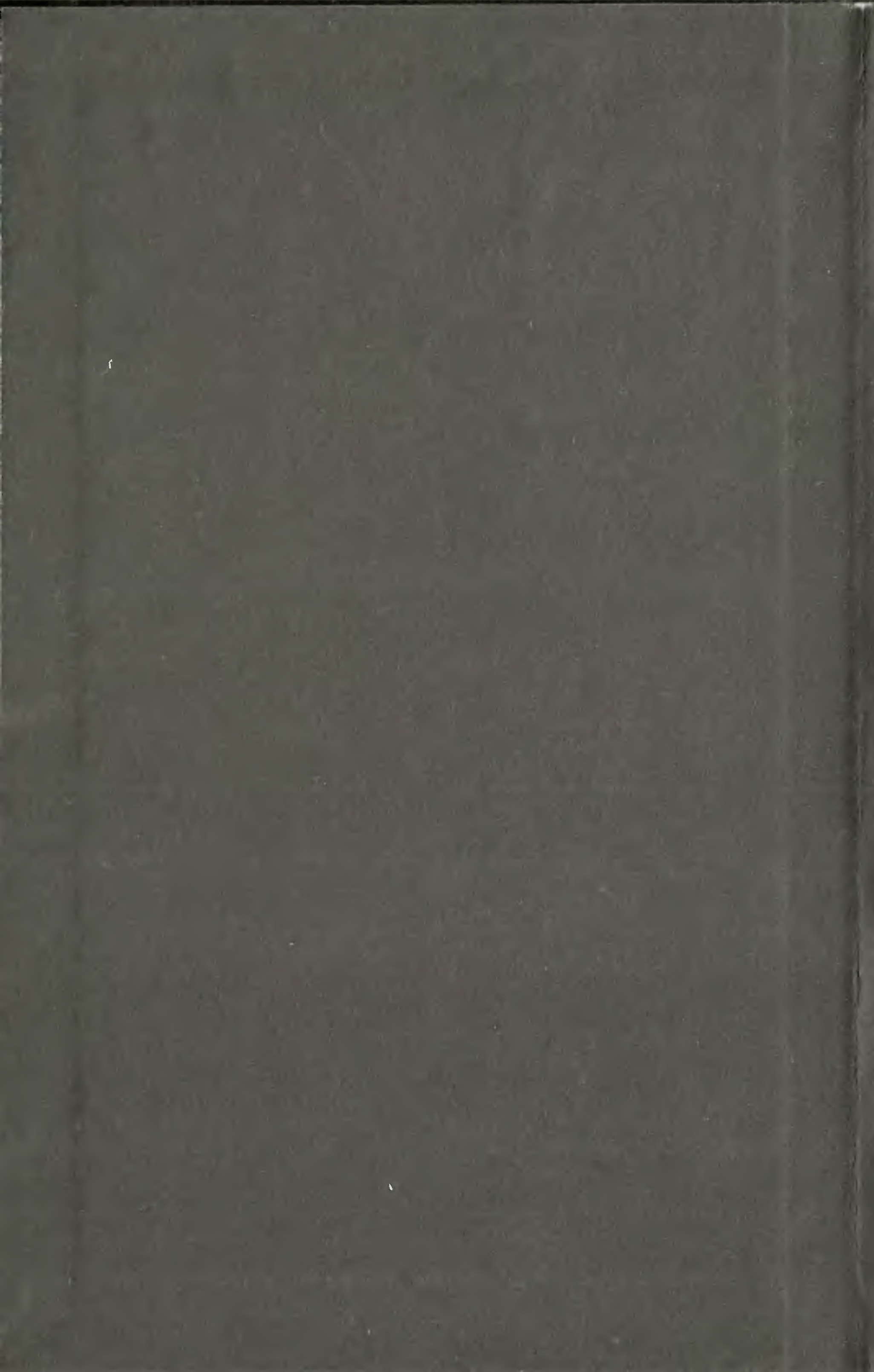
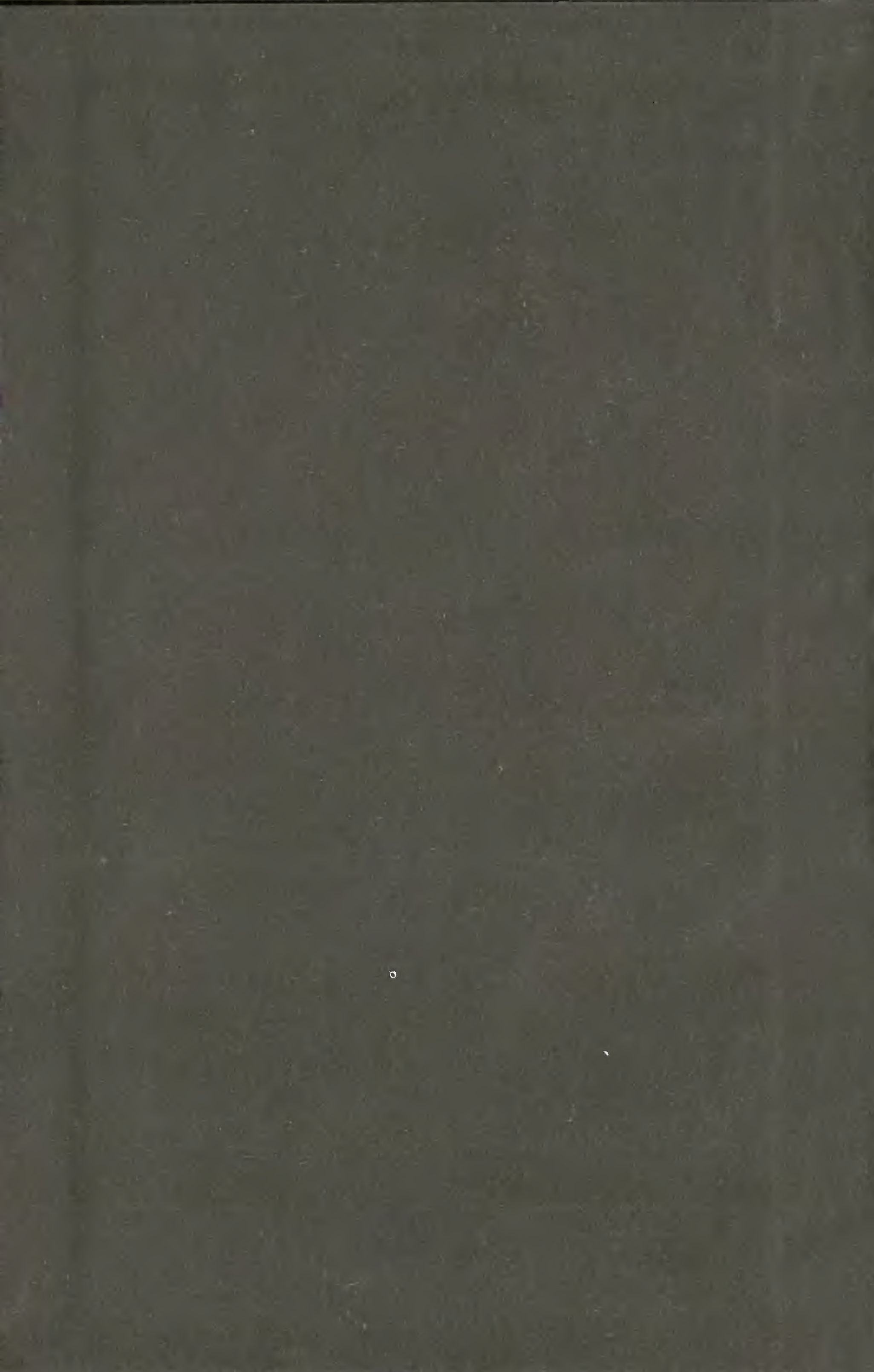


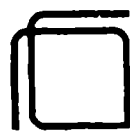
ПАНИКА РАЙОНА







П О П У Л Я Р Н А Я Б И Б Л И О Т Е К А



Формируется на основе
изучения читательского спроса
социологами Института книги НПО ВКП
Серия основана в 1987 году

ДАНИИЛ ГРАНИН ЗУБР

МОСКВА "КНИЖНАЯ ПАЛАТА" 1988

ББК 84Р7
Г771

Г 4702010201-061 Без объявл.
008 (01)-88

ISBN 5-7000-0010-5 (2-й з-д.)

© Состав, художественное оформление.
Издательство «Книжная палата», 1988

НЕ НУЖДАЯСЬ В ПЬЕДЕСТАЛЕ

«Зубр» — это повесть о человеке, который, по выражению автора, «быть великим при жизни... не умел», «то и дело срывался с пьедестала».

Слова эти сказаны Даниилом Граниным по поводу несправедливого «разноса», учиненного Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским молодому коллеге-генетику.

— Очень тяжелый был собеседник, — подтверждает и один из ближайших сотрудников ученого, — синяки, которые от него оставались, долго не отходили.

Но вот странность: по лицу произносящего столь «нелестную» характеристику Коли Воронцова «ходят все те же счастливые отсветы давних огней», как и у других, старающихся сохранить в своих отзывах об «Энвэ» беспристрастность и даже ироничность.

Почему — Зубр? Из-за столь неукротимого нрава, частых яростных вспышек? Или из-за крепости тела и мощи ума, позволявших в самых разных ситуациях «таранить» сложнейшие фортификационные сооружения, оберегающие тайны природы?

Или потому, что, действительно, и по возрасту, и по масштабу был один из последних, «отмеченных шрамами всех событий экземпляров» когорты самых блистательных ученых нашего века? В самом деле, подумать только: любимый ученик знаменитого биолога Кольцова, увлеченный собеседник самого Вернадского, друживший с Николаем Вавиловым и «Нильсушкой» Бором, знавший Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шредингера, Борна, Винера и вообще пришедший в науку, по словам писателя (явно «заразившегося» от своего героя меткой язвительностью определений), в то «райское время, когда все ходили нагишом, не прикрываясь дипломами и званиями».

Сильно недолюбливавший Зубра коллега всячески отговаривал автора приниматься за эту книгу: «Еще один великий ученый. Сколько их уже изобразили. Чему эти образы научили людей? Ничему. Потому что пример баловня судьбы ничему не может научить».

Насчет «баловня» сказано, пожалуй, опрометчиво, хотя, как говорится, известные основания были. Гранин и сам дивится тому, что «судьба заботливо выручала его (Тимофеева. — А. Т.) из отчаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот от самого края...», начиная с целой серии фантастических переделок, в какие попадал он в сумятице гражданской войны.

Можно посчитать подобным «баловством» и то, что во время первых ожесточенных атак на генетику Тимофеев, посланный работать за границу в середине 20-х годов, все еще отсутствовал, а в пору полного триумфа лысенковских идей тоже оказался неуязвимым для проработок. Не бывать бы этому счастьем, да вот уж действительно несчастье помогло, сначала вообще «за волосы, за шиворот» оторвав ученого с его возбуждавшей всякие подозрения биографией (пребывание в Германии в пору войны) от привычных трудов, а затем столь же «неделикатно» водворив в отдаленную уральскую лабораторию.

Баловнем судьбы он, как видим, был весьма своеобразным. А вот научить пример его может многих и многому, и отнюдь не только в собственно научной сфере.

Разумеется, в ней-то воздействие Тимофеева-Ресовского было особенно заметно. И вполне объяснимо, почему, когда сослуживцы «начинали говорить о Зубре, во всех них что-то светилось».

Ученые спорили: «кто Зубр — открыватель или пониматель? То есть тот, кто нашел, или тот, кто первый понял и объяснил?». Большинство полагало, что скорее — «пониматель».

Обладал он еще одним важным для науки (да и только ли для нее?!) качеством: был собирателем людей. Он притягивал их к себе отовсюду — часто из других областей знания, заражал извержением своих идей, напрашивался на возражения, оттачивал на них аргументацию или же, представьте, уступал: «...доблесть не в том, чтобы доказать преимущества своей идеи, — гласило одно из его „еретических“ убеждений, — а в том, чтобы отказаться от своих заблуждений, позволить себя опровергнуть, сдаться истине. Это бывает горько, но это единственная возможность остаться в строю».

Подобные принципы ложились не просто в основу тех или иных исследований, к которым Зубр был причастен, но определяли самую атмосферу группировавшихся вокруг него научных содружеств и формировали гражданский облик входивших в них людей.

И насколько же это было важно, потому что происходило в ту самую пору, когда, по гранинскому выражению, «молодежь имела перед собой поучительный пример приспособления», когда иные, упрямо или трусливо закрывая глаза на факты, «не замечая» подтасовок и фальсификаций, шли в гору, обрастая званиями, наградами, должностями!

Наверное, тогда кличка «Зубр» заметно отдавала горечью, вызывая мысль об опасности «вымирания» людей подобного типа, «старомодно» веривших, будто наука стоит на трех китах — таланте, порядочности и трудолюбии.

«Общественное мнение, — пишет Гранин о существовавшем в науке положении, — заменяли отдельные ученые, в которых счастливо соединялся нравственный и научный авторитет. Но, как говорится, дни их угасали...»

Результаты лысенковщины в науке и научной этике были ужасающими. Сколь ни сосредоточен автор на своем герое, но даже самые лаконичные упоминания о судьбах многих его коллег создают в целом весьма выразительную картину. Казалось, что возобладавшее в биологии после печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ направление всерьез вознамерилось осуществить бредовые мечты одного щедринского героя о том, чтобы «некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметят раскаяния, то отменять навсегда».

И все же оставались ученые, которые высились, как «быки» взорванного моста, готовые подставить свои могучие плечи для будущих, восстанавливаемых пролетов.

«Явился человек, который все в себе сохранил... — говорил впоследствии на юбилее Николая Владимировича один из его учеников. — Благодаря ему можно было соединить разорванную цепь времен...»

Можно было бы применить к Зубру известные пастернаковские строки:

...Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена — и безграмотно.

Но дело в том, что гранинский герой, кажется, не знал. Проблемы выбора для него как будто не существовало.

Ни — держать ли опасливый нейтралитет по отношению к гитлеровскому режиму или бесконечно вызволять из беды сначала «неарийских» коллег, а по-

том военнопленных всех национальностей, «рассовывая» их по своей и другим лабораториям.

Ни, — если не щеголять этими заслугами, так все же напомнить о них позже, когда весь этот период твоей жизни станет предметом самого придирчивого внимания, а то и прямых наветов; напомнить и о судьбе сына, участника антифашистского Сопротивления, сгинувшего в Маутхаузене, или же годами каменно молчать обо всем этом (Гранину и помогавшим ему энтузиастам пришлось буквально по крупицам восстанавливать эти героические и трагические страницы биографии «невозвращенца» и чуть ли не «нацистского пособника»).

Ни — покидать ли немецкий городок, где работал, и страха ради подаваться куда-нибудь на Запад или упрямо дожидаться прихода наших войск, несмотря на всевозможные соблазны и зловещие пророчества о вероятных драматических поворотах своей дальнейшей судьбы.

Ни, тем более, — быть или не быть сторонником «опальной» науки!

«Он не боролся за свои убеждения, — пишет Гранин, — он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому».

Зубр не только «срывался с пьедестала» из-за тех или иных трудных черт характера. Он как будто сам озорно подрывал этот пьедестал всем стилем своего поведения в жизни и науке, провозглашая, что «нельзя относиться всерьез к своей персоне» и что вообще «серьезному развитию серьезных наук лучше всего способствует легкомыслие и некоторая издевка».

Не потому что, думается, до конца жизни сам не обзавелся звонкими званиями и степенями, а по самой натуре своей он на дух не принимал стремления иных коллег придать натужную величавость и себе самим, и всему порядку научной жизни.

Ему ничего не стоило ошеломить собравшихся предложением: «По случаю такой жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик по пояс...»

Его жесточайшие «разносы» сотрудников за неточность, ошибки, леность ума напоминали освежающую грозу и давали подчас такой положительный эффект, что довольный громовержец вполне мог применить к себе самому шутовское замечание, отпущенное им по адресу одного своего буйного предка: «...настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха вполне хватает». Причем страха не унижительного, не сопряженного с боязнью пресловутых «оргвыводов», а тревожного опасения не удержаться на той высоте мышления, взыскательности к себе, ко всему, что делаешь, куда всячески побуждал подниматься за собою Зубр. И как о почетнейшей из наград люди, бывшие о себе достаточно высокого мнения, вспоминают: «После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение».

Зубр мог с веселой ехидцей вздыхать о временах, когда «этих паразитов, научных работников, было немного и большого вреда своему отечеству они не приносили». Негодование и гнев вызывали у него ученые, которые ставили науку в положение «угодливой служанки», торопливо поддакивающей любому амбициозному вздору или сомнительному проекту.

Одновременно он бесконечно восхищался не только прославленными, но и несправедливо забытыми собратями, и во время пребывания за рубежом необычайно много сделал для того, чтобы «вклад русских ученых в биологию стал вырисовываться перед мировой наукой». Услышав же от зарвавшегося чиновника пренебрежительный отзыв об «ученой шатии, что сидит на шее у народа», способен был и впрямь обернуться разъяренным зубром.

Все это непреходящие уроки, пусть и не всегда усвоенные нами при жизни самого «баловня судьбы», которому даже в самые последние годы случалось вы-

слушивать надменные отповеди: «Нам не нужна забота о природе, которая мешает развиваться промышленности».

«Ему не хотелось ничего переиначивать в своей судьбе», — пишет Гранин в заключительных страницах книги.

И сам писатель справедливо не считал нужным что-либо «переиначивать» в этой судьбе — утаивать, обелять, приглаживать, ретушировать...

Старый профессор в чеховской «Скучной истории» мечтал о том, чтобы в русской литературе были созданы об ученых «целые эпопеи, сказания и жития».

Конечно, «житие» Зубра далеко не соответствует привычным представлениям об этом жанре, как сам облик героя, к счастью, не позволяет читателям со скукой повторять слова его недоброжелателя: «Еще один великий ученый».

Однако изначально присущей этому жанру высокой воспитательной цели «Зубр» достигает.

«Давно мечтаю я написать книгу о чести и бесчестии», — сказано в повести как бы между прочим.

Вот она и написалась...

А. Турков

З У Б Р

П О В Е С Т Ь

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В день открытия конгресса был дан прием во Дворце съездов. Между длинными накрытыми столами после первых тостов закружился густой разноязычный поток. Переходили с бокалами от одной группы к другой, знакомились и знакомили, за кого-то пили, кому-то передавали приветы, кого-то разыскивали, вглядываясь в карточки, которые блестели у всех на лацканах. Там была эмблема конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это, или кипение, с виду беспорядочное, бессмысленное, составляло между тем наибольшее удовольствие и, я бы сказал даже, пользу такого рода международных сборищ. Деловая часть — доклады, сообщения — все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает. Некоторые и не жаждали понимать, но все жаждали общения, возможности поболтать с тем, кого давно знали по публикациям, что-то спросить, рассказать, выяснить. Тут-то и происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, разлученных бóльшую часть жизни, разбросанных по университетам, институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австралии.

Тут были знаменитости прошлого, памятные только пожилым, некогда нашумевшие, обещавшие новые направления; надежды, как водится, не оправдались, от обещаний осталось совсем немного, слава богу, если хоть что-то, хоть одна мутация, одна статейка... Историей своей науки — генетики — молодые, как правило, не интересовались. Для них существовали корифеи сегодняшние, лидеры новых надежд, новых обещаний. Были знаменитости в каких-то своих узких областях — по болезням кукурузы, по выживаемости дуба, были знаменитости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности, в механизме эволюции. А были такие знаменитости, живые классики, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между группами сновали молодые, у которых все было впереди — и громкая слава и горькие неудачи.

Прием был тем замечателен, что знакомства, разговоры происходили в начале конгресса, можно было выяснить, кто — кто, кто присутствует, кого нет...

В этом совершенно хаотическом движении среди возгласов, звона рюмок, смеха, поклонов вдруг что-то произошло, легкое движение, шепот пополз, зашелестел. На рассеянно-улыбчивых лицах, оживленных как бы беспредметно, появилось любопытство. Кое-кто двинулся в

дальний угол зала. Одни словно невзначай, другие решительно и удивленно.

В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб.

Женщина, худенькая, немолодая, обняла его, расцеловала. Женщина была та самая Шарлотта Ауэрбах, чьи книги недавно вышли в переводе на русский, вызвали интерес, ее уже знали в лицо, в то время как Зубра в лицо не знали. Большинство подходили именно затем, чтобы взглянуть на него хотя бы издали. Шарлотта приехала из Англии. Когда-то она бежала туда из гитлеровской Германии. Зубр помог ей устроиться в Англии. Это было давно, в 1933 году, возможно, он забыл об этом, но она помнила малейшие подробности. Легкие женские слезы радости катились по ее щекам. Кроме радости была еще и печаль долгой разлуки. Сорок пять лет прошло с того дня, как они расстались. Миновали эпохи, весь мир изменился, а Зубр оставался для нее прежним, все таким же старшим, хотя они были одногодки.

Подошел американец, лауреат Нобелевской премии, нескладный, длиннорукий. Он обнял Зубра, захлюпал носом. Он вел себя как хотел, вытирал нос рукой, он был корифей и мог позволить себе. За ним подошел грек Канелис, которого Зубр спас лет тридцать пять назад в Берлине, продержав его у себя до конца войны. Древний грек Антоша Канелис, как звал его Зубр, был немногословен, он знал все языки, хотя не говорил ни на одном, он любил молчать, он молчал на всех языках, и тем не менее все убеждались через его молчаливость, какой это прекрасный человек.

Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец, но тут он несколько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, который сопровождал Зубра и Феодосия Добржанского по Лондону, вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что Зубр и Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохватывались, кричали: «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: «Федька Добржанский...» Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа немцев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого представил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти Зубр перемолвился по-итальянски. Одним из украшений конгресса — ибо на каждом конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое «высочество» — был швед Густафсон, он тоже протискивался к Зубру. А другое украшение конгресса — президент общества, представитель, уполномоченный, главный редактор, координатор и прочая, — человек светский, тертый, умеющий себя подать, всегда находчиво-острый, тут вдруг оробел и все допытывался у одной из наших молоденьких сотрудниц — удобно ли представить его Зубру.

Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и самого Зубра, и этот не предусмотренный программой церемониал — парад знаменитостей, которые подходили к Зубру засвидетельствовать свое почтение. Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патриарха, он милостиво кивал, выслушивал людей, которые занимались несомненно наилучшей, самой прекрасной и доброй из всех наук — они изучали Природу: как и что растет на земле, все, что движется, летает, ползает, почему все это живое живет и множится, почему развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы. Поколение за поколением эти люди старались понять то таинственное начало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой постигали они душу, что вложена в каждого червяка, в каждую муху, хотя, разумеется, вместо этого ненаучного названия они употребляли длинные труднопроизносимые термины, но тот из них, кто забирался глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожнейших организмов. Даже на уровне клетки, простейшего устройства, оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику.

Как всегда бывает, тут же возле Зубра вертелся один бойкий профессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожатий, он произносил какие-то фразы, вероятно, умные, но они пропадали, на них не хватало внимания.

Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из происходящего. Потому что чувствовали, что на глазах у них творится событие историческое. О Зубре ходили легенды, множество легенд, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Было бы странно, если бы подобные рассказы подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нем существовали анекдоты, ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой.

Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сличали его с тем образом, который витал в их воображении. И, как ни удивительно, все сходилось. Видно было по его коренастой фигуре, по его ручищам, какой огромной физической силы был этот человек. Лицо его было изрезано морщинами жизни бурной и значительной. Следы минувших схваток, отчаянных схваток, не безобразили, а скорее украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по-иному, чем все, — свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присуща его натуре. Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и — грубость. И то и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками.

У любимого его ученика Володи Иванова я увидел дома картину. Это было единственное, что он взял после смерти Зубра на память об

учителе. В. Иванову было предоставлено право выбора, и он выбрал картину. Ее называют «Три зубра». На ней изображен сам Зубр, он сидит, держит руки на фигуре зубра, на стене, над ним, висит фотография Нильса Бора. Обычная, известная фотография, но в соседстве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «зубрость», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и диковатость, неприрученность зубров, бизонов — «вида, почти начисто истребленного человеком». У них много общего — у Зубра и у Нильса Бора, недаром они так легко сошлись, когда Зубр приехал в школу Нильса Бора.

Фигура под руками Зубра как бы вырастает в матерую четвероногую сутулую махину весом чуть ли не в тонну, с мохнатым загривком, горбоносой мордой. Даже в заповеднике они не допускают к себе человека ближе чем на тридцать метров.

А сам Зубр здесь еще в полной силе и красе. Художник рисовал его, когда ему было лет шестьдесят. А может, шестьдесят пять или семьдесят. Последние годы он оставался неизменным. Новые морщины не старили его. Я никогда не встречал похожих на него. Он из тех людей, которые запоминаются сразу, их ни с кем не спутаешь. Я видел его молодые фотографии и портреты — разумеется, лицо там гладкое, волосы дыбом, кудряво-черные, но выхватываешь его сразу, в любой группе. Даже на кадре плохо снятой кинохроники 1918 года его можно узнать в строю красноармейцев. День всевобуча в Москве 28 мая 1918 года. Красная площадь. У Исторического музея стоят в вольном строю красноармейцы. Над ними бархатные знамена-хоругви, «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» и прочие надписи, уже плохо различимые. Красноармейцы в гимнастерках, ботинки с обмотками, фуражечки — козырьки лакированные. Среди прочих рядом с усачом стоит в профиль наш Зубр. Тоненький, но знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был напечатан в 1967 году в журнале «Советский экран», и сразу начались звонки: «Видали? Это же вы! Мы вас сразу нашли...»

Художник на портрете написал его красной краской. Не знаю, что хотел красным цветом сказать армянский художник, но портрет получился. На нем кистью выражена куда лучше, чем я могу это сделать пером, раскаленность этой натуры, «зубрость».

...В бинокль я видел, как он выходил из чащи. Косматая туша, не приспособленная к заповеднику. Тесно ему было в этих малых, скупотмеренных лесных угодьях, некуда запрятать громаду своего тела, некуда девать свою силищу. Воинственно уставив короткие рога, он шел почти бесшумно, влажные ноздри его подрагивали. Он казался громоздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с косулями, горными козлами и прочей живностью заповедника. В нем чувствовалась древность...

Мне вспомнилась больничная палата, уставленная койками в два ряда. Кроме Зубра там лежали еще человек десять. Я нашел его сразу, потому что все смотрели в его сторону. Он кого-то слушал, и время от времени раздавался его низкий мощный рык. Он был центром палаты. Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становился центром.

От него ненасытно ждали чего-то и чем больше получали, тем больше ждали.

Я сидел на койке в ногах у него. Густой запах лекарств, карболки, спирта, стеклянный звон пузырьков, скрип кроватей, охи недужных тел — больничный быт никак не вязался с Зубром. Он полулежал на подушках. В распахе казенной рубахи видна была широкая косматая грудь. Руки, мускулистые, обнаженные по локоть, вылеплены были безукоризненно. Кожа была гладкой, белой, неуместно нежной. Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и грубость и породистость. В нем это сочеталось — мужицкое и утонченное. Зверское и аристократическое. В этом бязевом застиранном белье, таком же, как на всех, сотрясаемый тем же кашлем, подчиненный тем же процедурам, что и все, — уколы, осмотры, в этой обстановке не оставалось ни должностей, ни званий, ни окладов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за дверями палаты. Я проверил себя: может, мы приписываем ему многое потому, что знаем, кто он? Оказалось, что и здесь, в этой палате, больные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, признали его старшинство, его превосходство.

Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбоку высветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщинистым веком, седые космы его шевелюры. Непривычный ракурс, световая вспышка позволили увидеть нечто скрытое: это был не возраст, не престарелость, а древность. Существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида, диковина вроде живой кистеперой рыбы — целаканта, — которую все считали вымершей семьдесят миллионов лет назад.

Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно, даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелистывая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на портреты двух его сыновей — Александра и Бориса: два симпатичных мальчика, нарисованных отцом с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмеченного печатью гения!

В этой случайной городской больнице, лишенный привилегий, в общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Античный герой, римский император в изгнании, король Лир в рубище — разная такая ерундовина лезла в голову.

А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно чтил, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего авторитета:

— Вернемся на первое, как говаривал протопоп Аввакум, и посмотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе и не важно.

Тощие подушки, и горелая каша, и хрип в груди были не важны, а важно было то, что он только что вычитал в английской книжке «Жизнь после жизни» — рассказы вернувшихся о т т у д а, после реанимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. Вся мощь его ума, его знаний беспомощно застревала перед глухой стеной, в которую

упирался конец жизни. Что там? Есть там что-нибудь или же нет? Куда же девается душа, сознание, мое «я»?

...Луч погас, видение пропало, передо мной снова был хрипящий, надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что болел редко, и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмитаже... Цепь имела конец, другой конец ее уходил в неведомые нам двадцатые, тридцатые годы, в гражданскую войну, в Московский университет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее — в девятнадцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он был живым, осязаемым звеном этой цепи времен, казалось, оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой.

Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что до сих пор транжирили в трепе с ним у костров, в застолье, в бестолковых расспросах. С этого дня я стал записывать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На перроне Казанского вокзала в морозный день 1956 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зубра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и моряки, прежде всего друзья по поколению. Явились почему-то семьями, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором столько толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность момента.

Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутствовал он более тридцати лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. Отбывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой стороны земли.

1956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взлета общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требовала некоторого гражданского мужества. Все были возбуждены и взволнованы. Не могли представить себе — кого они увидят, какой он стал, узнают ли? В тот год возвращались многие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приезжал их навестить, он как бы спускался к ним со своих Уральских гор.

Распаренные, счастливые выскакивали из вагонов пассажиры, суежились с чемоданами и тюками, и наконец показался Зубр с супругою. Он был в шубе барского покроя, с бобровым воротником-шалю; она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лелька, выше его на полголовы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой. Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не видел их, выделили их безошибочно по абсолютной свободе манер, раскованности, той не-

принужденности движений, которая естественна, красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1956 году, это было особенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в публичных местах. У каждого времени своя жестикация, своя походка, своя манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, держать речь. В пятидесятые годы вели себя иначе, чем в тридцатые или двадцатые. Например, на всех произвело впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что-то было в поведении приехавших не нынешнее, не тутошнее и в то же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое, но было и другое — утраченное. Большинство встречающих учились либо с Лелькой в одной гимназии, либо с ним — в гимназии или университете. Они-то и узнавали общее, молодое, что сохранилось только у этих двоих — у Лельки и Колюши, как звали их однокашники.

Все эти дни и недели застолья сменялись выступлениями, докладами, обсуждениями, бесконечными сладостными спорами, рассказами, расспросами. Капица, Ляпунов, Ландау, Тамм, Дубинин, Сукачев, академики, студенты, знакомые знакомых, родственники — всем было любопытно, и те, кто побывал раз, старались прийти снова. Свита поклонников росла, привлеченная... Чем? Это поняли далеко не сразу.

А пока что... Чернобородый Ляпунов, из семьи великих математиков и сам замечательный математик, вдохновенно воспевал создание Академгородка под Новосибирском. При Академгородке будет создана школа для одаренных ребят, будущих математиков, которых будем выискивать по всей Сибири. Под эгидой математики, высшей из наук, будем выращивать и поощрять другие науки, ибо математика — наука всех наук. Ляпунов приглашал и гуманитариев, обещал им местечко под крылом точных наук. Математикам полезен некоторый гуманитарный блеск для общего развития. Математики возьмут шефство над музыкой, над живописью. Соперничество возникало с физиками, которые считали себя главнее. После атомной бомбы они возбуждали почтение и надежды. Может быть, им под силу создать изобилие энергии, даровым электричеством преобразить окраины, облегчить жизнь, труд, решить все проблемы. Ждали, что последуют новые и новые головокружительные открытия физиков, а тут еще подросла кибернетика, все зачитывались книгами Винера, фантастические картины будущего приблизились, казалось, вплотную — искусственный интеллект, роботы, обучающиеся автоматы... Строился город физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске, институты в сибирском Академгородке. На физическом факультете были неслыханные конкурсы поступающих. Шли кинокартины о физиках, со сцены слышалось: «Эйнштейн», «протон», «кванты», «цепная реакция»... Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках, лохмато-расхристанные, небрежно швыряющие жаргонными словечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими окладами, судили обо всем категоричной свысока. Гуманитарии перед ними робели. Стыдились своего невежества. Филология, история, лингвистика, искусствоведение, философия казались

науками отжившими, второстепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам и теоретикам. Они, посвященные, таинственные, связанные с какими-то «ящиками», обещали перемену нравов, покровительство опальным художникам. Общественное устройство, экономика, право — все будет подчинено оптимальным научным законам...

Газетчики, лекторы доверчиво подхватывали их категорические пророчества.

По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и лириках. Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной, доказывал, что искусство осталось лишь для развлечений, оно — пустая трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно отступали, склоняя голову перед новой силой.

За столом у Реформатских, Ляпуновых, у всех друзей только и слышно было, куда ехать, в какой научный центр, где будем строить науку, по каким новым правилам будем там жить, какие принципы положим... Дивное было время!

Биологию, ту тоже обещали перестроить, перевернуть, пере-пере... Молодые математики, физики, химики засучив рукава брались решить ветхозаветные проблемы биологии. Применить к этим козявкам, травкам электронику, она все измерит, все смоделирует. Приборы откроют двери для математиков. В конце концов вся ваша биология, биохимия, все это — физика и математика, это разные формы движения материи. Установим связи и познаем сущность самой жизни, а тогда станем управлять процессами в организмах, в природе на всех уровнях. Хватит вам сотни лет возиться у микроскопов, подсчитывать количество ножек у букашек.

Они считали Зубра своим союзником, но он только посмеивался. Грохот физических барабанов не производил на него впечатления.

— В каждом приборе, аппарате я прежде всего ищу кнопку «стоп»!

Такое от него слушать было странно. И отмахнуться было нельзя. О биофизике кому судить, как не ему — одному из ее создателей, основателей.

Физиков обескураживало, что Нильс Бор, Гейзенберг, Шредингер — их кумиры — были для него коллегами, с которыми он работал, общался. Его пригласил сам Капица сделать доклад на ближайшем «капичнике» — знаменитом сборище лучших наших физиков. Выступать на «капичнике» считалось смертельным номером. Здешняя публика воспитана была на крови и мясе. Могли загрызть, растерзать, сжевать, выплюнув любые регалии. Соображали быстро, усекали что к чему и почему за несколько минут.

Ничего этого он не боялся. Откуда он взялся, такой смельчак?

Насчет того, откуда он взялся, это он с удовольствием рассказывал. У него было множество рассказов о своих предках. Там имелись истории шутливые, трагические, скабрёзные, трогательные.

Как он рассказывал, с каким подмигом, рассыпчатым хохотом, как взгаркивал! Магнитофонная запись всего лишь чертеж, переписанное в книгу — копия копии, тень рассказа.

От многих славных рассказчиков Зубр отличался тем, что каждая

из его историй была не просто милой байкой, она рассказывалась за-чем-то, что-то объясняла в нем. Но это мы уяснили себе позже.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Его детство было заполнено пращурами не только девятнадцатого, но и восемнадцатого века.

— ...Тимофеев-Ресовский это я по отцу. А мать моя урожденная Всеволожская. Древняя-предревняя русская фамилия. На самый верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали. Одна из невест Грозного была Всеволожская. При Петре один из молодых Всеволожских полюбился царю и был послан за границу учиться в числе прочих абитуриентов. Вернувшись, как положено, стал работать на благо отечества. Заимел дом в Санкт-Петербурге, процветал. Однако при Бироне, когда петровским птенцам приходилось плохо, его однажды предупредили об аресте, и он драпанул с чадами на своей лошадиной тяге. Смылся он на свои дикие земли в Нижнее Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку барин он был хороший, из разных имений к нему потихоньку стали стекаться его мужички, тем более что Бирон имения эти реквизирует. Так этот Всеволжский обосновался ровно независимый князек. И задался он — не то чтобы пузо ублажить — полезной целью, государственную, можно сказать, задачу себе поставил: обезопасить торговые пути в Бухару, Хиву, Среднюю Азию, а потом и в Персию. Грабили русских купцов хивинцы, кокандцы, всякие беспризорные кочевники. Он сражался с этими, как он говорил, азиатами. Собралось у него много казаков. Комфорт. Никакого начальства кругом до горизонта, никто глаза не мозолит, ни один мундир...

Смешок, вздох сочувствия, горделивый хмык, как будто не про восемнадцатый век, а про семейные дела, про дядю родного рассказывает. Прапрадеды стояли за его спиной, не какие-то пыльные предки, а живые родственники. Соотношение между дремучей давностью и горячим его чувством — вот какое несоответствие удивляло.

— ...Настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха вполне хватает. Для души было у родича отрадное им всем дело: узнав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или еще каким начальником немца, он со своими казаками город сей брал штурмом, немца сек публично и с великим срамом отпускал на все четыре стороны, пусть жалуется своему Бирону, а сам ускакивал в свое не ведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил, пользуясь тем, что веселая Елизавета и матушка Екатерина просмотрели его. Был он ранен на девятом десятке в плечо, но тяжко. Верхом тем не менее доехал до дому, поддерживали его с обеих сторон его казаки. Похоронить себя приказал неподалеку на очень красивом месте. Там протекают никуда не впадающие реки Большой и Малый Узень, они в пески уходят. В овраге Малого Узеня и стояла усадьба. На склоне оврага похоронили его.

Имелся и другой пращур, вполне вроде благонамеренный мужчина,

который, однако, дошел до пиратства. Он тоже, между прочим, был отправлен Петром за границу изучать землемерию. Вернувшись, стал землепроходцем, ходил всю жизнь на освоение охотских и камчатских земель. Интересовался образованием рек, озер и прочими объектами физической географии. В чине бригадира, семидесяти пяти лет вышел в отставку и поселился в малом своем имении в Калужской губернии. Собрал он замечательную библиотеку на европейских языках по географии, минералогии, более же всего занимал его Гольфстрим. Изучал он иностранные сведения по дебиту Гольфстрима — куда деваются его воды. Считал, считал и решил, что известные ветви Гольфстрима не покрывают дебита, должно быть еще одно ответвление на восток от Груманта, ныне Шпицбергена, и Земли Франца-Иосифа. Если там есть острова, то это должны быть зеленые теплые острова, с доброй зимой и ярким летом. И так он возмечтал, так затуманился, что постановил отправиться в экспедицию. Все движимое продал, имение заложил, собрал полсотни своих мужиков-казаков и поехал в Архангельск. Там снарядил три шнеки, и поплыли на них эти чудики в Арктику открывать теплые острова...

Человек, так хорошо знающий своих предков, встретился мне впервые. В наше время дальше деда редко кто чего помнит и знает. Да и не было интереса большого. Что предки? Какая от них польза? «Отречемся от старого мира...» Заодно отрекались и от родословной. Там кто? Угнетатели или угнетенные, темные, забитые. Мы начало всему. Мы все начинали заново. И снова заново. И еще раз. Чтобы дворянского своего происхождения не скрывать, такого в те годы не водилось. Он же хоть и посмеивался, а рассказывал про своих куролесов с гордостью.

— ...Ехали они помаленьку вдоль кромки полярных льдов. Пращур промерял температуру, скорости и другие качества и, по-видимому, убедился, что был не прав, — неучтенных ветвей Гольфстрима нет, и теплых зеленых островов на горизонте не будет. Добрались они до Груманта, там подхватили их штормы, вынесли в северную Атлантику и выбросили на берега Нормандии. Несколько человек потонуло, остальные вылезли на французские скалы и отправились в Париж. Вместо того чтобы просить русского посла в Париже отправить их домой, пращур затевает новое предприятие. Возвращаться-то ни с чем неохота. В это время французские коммерсанты осваивают Алжир, Марокко, а пращур мой всегда интерес имел к Северной Африке, и предложил он коммерсантам принять участие в их экспедиции в качестве охраны. Подрядились. Отправились в Марокко. Там напали на них марокканские воины, забрали в плен и продали в рабство. Привезли на рынок в Александрию египетскую. Пращур завязал приятельство с единовверными греками, и те кого выкупили из рабства, кого выкрали. Старика выкупили по дешевке — седой да тощий. Жили они у греков. И однажды увидели турецкий фрегат. Там были только часовые. Безлунной ночью вместе с греками на лодках подплыли, забрались, часовых скинули в море (все, как в романах Стивенсона!), подняли паруса и ушли на турецком кораб-

ле. Известно им было, что Россия все еще находится в состоянии войны с турецкой Портой, и стали они каперствовать. Согласно тогдашним порядкам за участие в военных действиях частный корабль получал процент с награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроходным, каперствовали успешно, причем на паях с единоверными греками. Море теплое, опять же — воля вольная. Мужичкам-казакам нравилось сие занятие, пока не напоролись на турецкий флот и были взяты в плен. Однако не рабами, а военнопленными. Посажены в лагерь в окрестностях Константинополя...

Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единоверцы, устраивали побег за побегом, как переправляли беглецов в Малую Азию, пока они не собрались всей компанией и опять долго разбойничали на Анатолийском побережье... Несколько раз я слышал этот рассказ, он повторялся — с мелкими разночтениями — в точности, но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появляются, когда проезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история эта не зафиксирована, может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее изустно: была она одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Аннибалу де Коконнасу из «Королевы Марго». Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как герои «Острова сокровищ», «Одиссеи капитана Блада». Ничего подобного, история тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата и смехом, и отчаянными приключениями выдумщиков, пиратов, мечтателей, шутейством, авантюрами и такими анекдотами, которые украсили бы любой плутовской роман.

— ...новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пировала на берегу. Ночью испытанным способом оглушили часовых и уплыли на север. Там князь Потемкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под русскими флагами. Поднялся переполох. Решили — обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские люди. Было превеликое торжество и винопитие. Были отправлены гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадиру же через чин пожаловать генерал-лейтенанта и придворный чин генерал-адъютанта. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именщице, награждать своих мужичков....

Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В семейном архиве хранились дела о приобретении кораблей. Пожертвовали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать из-за войны.

— ...Не так-то просто государству что-нибудь подарить. В двадцать втором году калужские власти наконец разрешили нам вывезти архив, но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал замечать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. Черт с ней, с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содействовать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам...

Архив сгорел, осталась память, прочная из-за обязанности знать и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или стыдился кого из них, но все они составляли его прошлое, его корни в этой земле, в его жилах текла их кровь, в нем жили их гены, он был их продолжением.

Фамильной чертой и по отцовской и по материнской линиям были поздние браки. Отец — Владимир Тимофеев родился в 1850 году, мать в 1866 году, поженились они в 1895 году, то есть когда отцу было сорок пять, а матери двадцать девять лет. Он же, Николай, Колюша, родился в 1899 году, то есть еще в девятнадцатом веке. Обе бабки родились еще при Александре I. Одна из них умерла при Ленине — вот какой отрезок захватила! В имении деда жили три старика: повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 1912 году вывозили в Москву на празднование столетия Отечественной войны, наградили их бронзовыми медалями с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему!».

— ...Поскольку я в своем поколении был старшим, то первый к ним прилепился, они меня очень любили, я после обеда бежал к ним пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, ей восемьдесят лет было, нянька моей матери. Тоже жила на покое. Я сидел, уши растопыря слушал их байки начиная с наполеоновских времен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а не от книг...

В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории им и одноклассниками. Для них что Отечественная война, что севастопольская кампания были одинаковой стариной, а для него в севастопольскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в севастопольском ополчении, которое собирали по всей России...

Теперь могу признаться — слова надписи на медали я при случае проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты сказали, что, очевидно, я перепутал: с подобной надписью медали давались сразу после победы участникам кампании 1812 года, серебряные и бронзовые. В столетие же, в 1912 году, медали были отчеканены с другой надписью. Я расстроился: одна неточность, другая — и рассказы Зубра могли превратиться в рассказы, тень подозрения могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверенность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попросил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках и выяснили,

что старикам-солдатам, участникам Отечественной войны, то есть тем, кому за сто лет, давали те самые медали 1812 года, их специально изготовили со старого штампа, сохраненного в Монетном дворе: «Не нам, не нам, а имени твоему!» Рассказ Зубра подтвердился. Кроме поразительной памяти можно было положиться на его добросовестность ученого.

По морской линии в предках у него были: адмирал Сенявин, тот, который кильватерную колонну выдумал; адмирал Головнин, который кругосветку плавал, у японцев в плену сидел; адмирал Невельской, который присоединил незаконно Дальний Восток к Российской Империи, за что был разжалован Нессельроде.

— ...Почти разжалован! Почти! У этого Киссельвроде — так у нас дома его звали — не получилось. А было так...

Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал... Когда-то отец мой пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда, и про какого-то чудака дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было некогда, когда речь заходила о прошедшем, в котором меня не было. Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не у кого. Позади, за детством, за отцовскими братьями и мамиными молодыми польскими фотографиями, смутно шевелятся безымянные фигуры, а дальше — пустошь, холодные просторы опустевших земель и селений...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— ...Этот отличился в турецкую кампанию восемьсот семьдесят седьмого—семьдесят восьмого годов на Черном море. Успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был железный. Русские вместо брандер запускали паровые катера с шестовыми минами, их заводили под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательно офицер, другой — матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, палил изо всех пушек. Иногда они успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим — неприятности. Матрос и офицер, ежели не успевали назад, то выпрыгивали и спасались вплавь. Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не поощрялось.

Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил директором казенной палаты в Симбирске. Брат же его, моряк, был чудаковатый холостяк, однако офицер был превосходный. В данной истории взорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль турецкого флота, вовремя сиганули в воду, потом выбрались на какую-то косу, спаслись. Наградили его золотым георгиевским оружием и офицерским Георгием четвертой степени — я его помню: белый тяжеленький крестик. Сделался он затем контр-адмиралом и наконец полным адмиралом.

Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. От порта к порту добрались они до Тулона. Стали там. Недалеко Ницца, Монте-Карло. Потянуло его туда, а как увидел рулетку, шарик этот журчащий,

так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. Касаешься судьбы, выбор у тебя большой: можешь приблизиться к ней с любого бока... Психология играющих в рулетку — занятная штука. У многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адмирала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалованье адмиральское — и только. Министерское жалованье и то было небольшое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра. А профессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были, немного, и никак не мог их проиграть: куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рассуждай и не отрывайся. Дошел он до редкого события — сорвал банк Монте-Карло. Сколько это в точности — не помню, три миллиона или же пять миллионов франков. Одним словом, в этот день банк прекращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Выплатили ему деньги. Он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу: присмотри, мол, хорошее именье поблизости. И отправил сколько-то тысяч франков на задаток. Сам же пошел со своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приезжая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. Будучи в Италии мальчиком, мы с отцом заставляли еще в портах людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горожан. Так он добрался до Константинополя. Оттуда дед получил от братца телеграмму — вышли сто рублей. Все миллионы спустил. Было это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосходительством. Я видел его в парадной форме. Ослепительное зрелище! С этой формой тоже был случай на моей памяти, в девятьсот шестом году.

В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ладили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присматривать эпизоотическое состояние бессловесных скотов, кормящих всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Адмирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит на них: «Что вы языками попусту чешете! Как так губернатор противится? Раз дело правое, значит, заставить его надо». Велел заложить карету четвериком, на козлы — кучер, на запятки — матрос его бывший (он любил ездить по-старинному), а в карету приказал посадить полдюжины овец. И поехал в Калугу. Подкатил к губернаторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал во всем обличье, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство вошел в переднюю. «Мне, — говорит, — сообщили, что ты против ветеринарных мер». На «ты» его, начальственно. «Надо, — говорит, — вводить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милейший, полдюжины своих овец, лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. «Ну, раз неправильно — другое дело. От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. Пришлешь?» — «Пришлю».

Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать земских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят выпивают. Является нарочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели...

Адмирала Зубр хорошо помнил и кончину его помнил. Отпраздновав свое восьмидесятипятилетие, адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и застрелился из револьвера системы «бульдог».

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая,—

заклучал он своей излюбленной присказкой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

— ...По случаю такой жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик по пояс,— предложил Зубр.

Докладчик, Владимир Павлович, хоть и фронтовик и в те годы отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, счел это неуместной шуткой, более того — неуважительной по отношению к докладчику: слушание в воде — обстановка явно неподходящая. Происходило это в Миассове в девятьсот пятьдесят восьмом году. К такому еще не привыкли. По крайней мере, биологи. Тогда Зубр со всей серьезностью поставил вопрос на голосование: подходящая обстановка или неподходящая? Разумеется, большинством голосов признали, что в такую жару нахождение семинара в воде — вполне подходящая обстановка. После чего все слушатели разделись и полезли в воду — студенты и доктора наук, девицы и пожилые люди, и сам Зубр. Докладчик, хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои графики он чертил мелом на опрокинутой лодке.

Из всех заседаний запомнилось более всего это, в воде. Запомнилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то, что оно вроде бы шокировало его. Запомнилось всем участникам и его сообщение. Потому что — в воде. Хотя оно и само по себе заслуживало.

— После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я почувствовал: у меня отрастают золотые шпоры.— Он замолчал, пораженный какой-то мыслью, потом сказал: — Помните, в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Зубр был выше меня, потому что я его не понимал. Но дело в том, как я его не понимал. Так не понимал, что он был на две головы выше меня.

Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он человек скорее скептический, чем восторженный. Характеристики, которые он дает людям, едки и разоблачительны, а здесь... Я раздумываю, в чем же непонятность Зубра.

— Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так же, как если бы я, мысля на уровне командира батальона, пытался понять мышление командующего фронтом.

Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, чем фронтовыми орденами.

По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. Главой трепа был Зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов и прочих мэтров. Кто о чем: о своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах Марины Цветаевой.

В желтом танцующем свете костра совершались превращения: некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. Они сообщали вещи банальные, от приближения эти люди проигрывали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обывателями. Но были и такие — чем ближе, тем интереснее. Были сочинители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые рассказчики, были знатоки истории. Тем не менее все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрашивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его казалась неисчерпаемой...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наступали на юг, он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка, потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед «дикой дивизией», как называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, «ссыпали» на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпнотифозный пункт. Разместился пункт на сахарном заводе километрах в двенадцати от Тулы. Лежали вповалку и командиры и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были повыбиты. «Ссыпали» туда солдатиков сыпнотифозных, брюшнотифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом — со всеми тифами; а также контуженых, простуженных и прочих. В конце концов все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около двух тысяч лежало там. Колюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории, еще и потому выжил, что лежал у самого окна, на морозце. Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпняков, забирали очередные трупы, сваливали их рядками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по два ведра на каждый зал «карих глазок». Суп варили такой из голов и хвостов воблиных. Сама вобла шла куда-то, видно, воюющим солдатам, может, в детские сады, в детприемники, — кто его знает, а вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши, была такая дальневосточная дикая культура вроде проса. В Москве из всех каш была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже переделали: тля ест травы, ржа — железо, а пша — душу.

Ведра с «кариими глазками» ставили у входа, и проблема была — до-ползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша чуть оклемался, почувство-вал он голод, зверский аппетит. Вернее так: почувствовал голод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе, крокодиллом, переползать между больными. Под-ползал к покойничку, у солдата над головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает — глядишь, короч-ку нашел. Сосал. Грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водице пла-вали вываренные воблины глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок «кари глазки». Сухая корочка да «кари глазки» — вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле го-лода велики, голодать человек может долго, если не паникует.

Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах по верх шубки белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось как-то раз — дошла она до Колюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Ну она, естественно, обратила внимание на живого. Спросила:

— Ты кто?

Колюша докладывает: так, мол, и так, воюю краснопупом, а был студентом-зоологом Московского университета.

Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже сту-дентка-медичка из Москвы, мобилизована.

— Очень у нас тут ужасно.— И опять слезы побежали.

Колюша утешает ее: бывает, мол, хуже. Конечно, не сладко, конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил! Теперь задача не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до «карих глазок» доползет, измучается.

— Ну это,— говорит она,— я вам помогу, это я сейчас.

И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то. У Колюши друг-приятель был Шура Реформатский. А у того сестры тоже медички-студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица с того дня приносила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть собственного пайка отдавала. И Колюша стал быстро поправляться. Только его организм мог на таком рационе ожить и силу набирать. К стенке спиной прижмется и, помогая руками, всползает, поднимается. Стоял на дрожащих ногах. Сестрица брала его под руку, несколько ша-гов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. В один прекрас-ный день сестрица принесла ему бумагу и литер: «Красноармеец такой-то, перенесший сыпнопятнистый тиф, отправляется для поправки на шесть недель домой».

Были у нее на руках еще бумаги такие же на одного возвратника, то есть больного возвратным тифом, по фамилии Сергеев. Вроде он выздо-равливал, выписывался, а ночью умер.

— Возьми,— предложила она,— тебе пригодятся.

И действительногодились.

На следующий день, с рассветом отправился Колюша пешком в Тулу. Одолевать двенадцать километров для него было что отправиться

за тридевять земель. Спотыкался, падал, а упав, полз до забора, до дерева, потому что на гладком месте встать не мог. До Тулы добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти двенадцать километров.

В Туле он знал лишь казармы 113-го полка, где квартировал однажды. Туда и побрел.

В своих рассказах о той поре Зубр ничего не обходил, не выгораживал себя. Что было, то было, не снисходил к объяснению того времени и тех обстоятельств. Воровал, мошенничал, побирался — только что не злодейничал.

Начал он воевать с берданкой 1868 года (как тогда величали ее — «пердянка»), а кончил как-никак с кавалерийским карабином. Отличная по тем временам штука — шестизарядная, надежная, а главное дело — легкая, он с солдатской нежностью вспоминал ее. Раздобыл он ее у какого-то деникинца из «дикой дивизии». Всю гражданскую войну он улучшал себе оружие. Был казацкий карабинчик, был германский, под конец достался этот, деникинский, японский. Когда в тифу лежал, все прижимал к себе свой карабин, боялся без него остаться. Полные карманы обойм сохранил.

Ничего не меняется, слава богу, в человеке. Солдат, он всегда солдат. Тридцать лет спустя, на моей войне, я также старался добыть себе автомат. Выменивал на свою семизарядную. Сперва ППШ, потом достался мне ППД... Чисто солдатское стремление. На войне кроме стрельбы, атак и обороны идет еще мена, торговля, всякие бесхитростные комбинации. Кто-то загоняет полушубок, меняет белье на консервы, кирзу на хром. Сколько разных коммерций в маршевых ротах, в госпиталях совершалось, как хвалились удачливой меной. Хвастались друг перед другом своей ловкостью, умением смухлевать, переторговать, махнуться не глядя. Это так же, как храбрый солдат любит рассказывать не про подвиг, а как оробел при бомбежке, как растерялся. В палате из всех фронтовых баек, а их там травят день и ночь, большая часть про то, как драпал, как на мины напоролся, как сплоховал, под наказание попал.

Колюша тоже никогда не расписывал свои доблести, все больше про то, как вляпался в плен к бандитам, как в курицу стрелял.

Добрался-таки, вполз в храпящую духоту ночной казармы и — к дневальному, что кемарил у ночного фитилька. Умолил пустить переночевать. Тот вертел, вертел бумаги, позволил прилечь рядом на топчане. Прилечь Колюша прилег, но спать не мог. Тело болело, ноги ныли. Разговорились. Колюша рассказал, что идет в отпуск, в Москву. Дежурный оживился, и у него сон пропал. Был он коренной москвич, портняжничал на Смоленском рынке. Колюша обрадовался: соседи! Он-то жил рядом. Подымили. Дежурный завидовал — в Москву вернется. Насчет «вернется» Колюша сомневался: как ползти, неизвестно, ноги не держат, руки не берут, на чем добираться, пропадет он, не одолеть ему дороги. Вспомнил он тут про добавочный документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот посмотрел ее на свет, так и этак повертел.

— Замечательный документ, многого стоит, — заключил он. По-

вздыхал, осторожненько примерился: сколько запросит за такую бумагу. Колюша открылся напрямую.

— Бери задаром. Одно условие — не бросай меня. Будь я здоров, я бы не глядя отмахал пешим эти двести верст до Москвы. Ныне в товарный вагон самому и то не влезть. Помоги мне добраться.

Взял с него Колюша клятву, и тот, как ни уклонялся, жуликовато зыряка глазами, вынужден был повторить про смертную лихорадку, что найдет на всех родных, про сепсис ног и лишай — самому себе, если обманет, бросит... Сепсис наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова — так дежурного звали.

— Ни за что не обману. Мне только моих проведать. — И Петя бил себя в грудь. — Ты ведь мне подарил, себя обделив, за такую бумагу дом в Москве купить можно.

— Да зачем мне дом? — удивился Колюша. — Лучше хлеба в дорогу раздобудь.

Про хлеб он так уверенно сказал потому, что недавно из этих же казарм Колюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять-то их охраняли, но голод не тетка — наламывали себе корок хлебных, да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав «своим ходом» добрался до такого же «органа». Сильно поразила тогда Колюшу эта способность следующих поколений изобретать в точности то же самое, приобретать те же «органы».

Скачков отправился на промысел. Колюша же со своим карабином уселся в казарме дежурить. Часа через два, до побудки, Скачков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер два ломтя шпика и тяжелый кус спекшейся на пожаре соли.

— Лучше всего мотать сейчас, — предложил он. — Я уже присмотрел на путях не шибко разбитый вагон.

Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться под эшелоном, Скачков тащил Колюшу за шкурку. Поднял в товарный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков побегал раздобыть буржуйку: весна стояла холодная, утром лужи хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устроились солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещадно, благо тяга на ходу была исключительная. Кипяточек — в любое время, хлебушком заедали да еще сальце сверху. Скорость была километров сорок в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на площадь — все на месте: Казанский вокзал, Николаевский, бабы в ряд сидят с корзинками. А в корзинках — семечки, печеная картошка, лепехи. Москва! Счастье-то какое! Извозчики стоят. В цилиндрах, важные.

Колюша тем не менее предлагает:

— Давай найдем? Въедем в стольный град на коне.

— Это на какие же шиши найдем?

— А за кусок сала.

Выбрали, у кого лошадь белая. Ну не совсем белая, чалая была.

— Ты сало любишь?

Извозчик на них сверху прицелился.

— Сало в Москве не растет.

Показали ему большой шматок.

— Хочешь? На Смоленский рынок нас, только чтобы рысью.

На рысях, на чалом коне ехали они, стоя в пролетке, до самого дома в Никольском переулке.

У матери в доме была благодать. Работало центральное отопление. Несмотря на разруху, газ подавали. В ванной была горячая вода, и Колюша три дня лежал в ванне, отмачивая грязь госпитальную, копоть паровозную, наслаждался покоем, превращался, как он говорил, в недорезанного буржуя.

В ту пору он был для всех Колюша. Во многих старых московских семьях и до сих пор его зовут Колюшей. Когда я «завожу» на рассказы о нем, то и дети и внуки повторяют: «Колюша, Колюша», что мне странно, поскольку я узнал его могучим Зубром в мерцающем ореоле славы и легенд, свойственных великим личностям.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Это началось в гражданскую войну и в послевоенные годы. Военный коммунизм, нэп — годы, дух которых мы знаем меньше, чем дореволюционную жизнь. Пушкинскую эпоху, екатерининскую, даже, может, петровскую представляем себе лучше, чем парадоксы двадцатых годов.

— Повоюем немножко, отгоним беляков, отдохнем, снова воюем, а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался: логико-философский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на фронт. Потому что стыдно — все воюют, а я как бы отсиживаюсь. Надо воевать! Постигнуть мозаику той жизни вам не дано. Неделью занимаешься какой-нибудь Софией Премудростью Божией, на следующей — едешь на деникинский фронт...

Не будем приукрашивать: Колюша шел в Красную Армию не из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагивала его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. Беляком тоже. У беляков всяких мнений-убеждений, как он насчитывал, было не менее пятнадцати: и монархия абсолютная, и ограниченная, и диктатура, и буржуазно-демократическая республика одного типа, другого, третьего... У Колюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патриотические. Чего это на Россию лезут всякие прохвосты — зеленые, белые, бурые, казаки, поляки, французы, японцы, англичане, антанты и прочие оккупанты? России нужна народная власть. Всю жизнь Колюша упрямо считал, что именно из-за этого первичного чувства их, голоштаных, разутых краснопухов, вооруженных однозарядной «пердянкой» образца 1868 года, не могли одолеть ни беляки, ни их союзники, вся эта шатия.

Насчет разутых — не случайно. В 12-й армии его зачислили в особую лыжную роту 17-го отдельного батальона. Лыж там и в помине не было. Дали им лапти. Да не липовые, как положено, а из ивовой

коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие. Вот так жизнь эта невероятная и шла: «то воевали, то философствовали, то добывали себе чего-нибудь пожрать».

В смысле пожрать он устроился на одно лето пастухом. И был счастлив, ибо убедился, что это лучшая профессия в мире. Во-первых, заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора Московского университета. (Тогда профессора разделялись на ординарных и экстраординарных.) Получил натурой два куля ржи. А куль — это семь пудов! Во-вторых, ходил в одежде, которая была выдана: куртка, ватой подбитая, да еще на красной подкладке: очень живописный был вид, двое порток получил, сапоги. Подпaska имел, собаку. Кормился «в очередь». Утречком он собирал коров песней. Шел по деревне, распевая «Выйду ль я на реченьку», и под эту песню вел их. Двустволочка за плечами, — это он гусей диких бил. С приятелем, местным фельдшером, наловчились они валерьянку — а у того было ее две четверти — превращать в спирт. Перегоняли. И гусей запивали этой жидкостью. «Великолепная была жизнь!» На интеллигентную умственную работу устроиться было невозможно. Деньги в цене падали катастрофически. Счет шел на «лимоны», то есть миллионы. Заработать можно было физическим трудом.

Логико-философским кружком руководили Густав Густавович Шпет, смущая умы неслыханными парадоксами, расшатывая самые незыблемые основы этого мира, и Николай Николаевич Лузин, который, будучи крупнейшим математиком, умел находить в ней философскую мысль. Были там философы Сергей Булгаков, Бердяев, которого кружковцы прозвали Белибердяевым.

Семен Людвигович Франк читал пронзительно-напевным голосом: «Искусство есть всегда выражение. А что такое выражение? Это самое загадочное слово человеческого языка. Скорее всего оно означает отпечаток. Процесс отпечатывания чего-то в другом. Что-то незримое, духовное таится в душе человека; он имеет потребность сделать его зримым, явственным... Духовное облекается плотью. Но что именно он хочет выразить? Не только себя, а нечто объективное. Что это за „нечто“?»

Из философствующего отрока Колюша превращался в добросовестного зоолога, готового день и ночь возиться со всякой водной нечистью, изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положением ученого-ихтиолога. Превращение естественное, но с такой же легкостью он превращался в лихого вояку. Руби, коли, вперед, за власть Советов! — и ничего не оставалось от старательного студента. Можно подумать, что в нем вскипала кровь его военных предков.

Чтобы заниматься в университете, надо было где-то прирабатывать, чем-то кормиться. Кем только он не перебивал!

Однажды удалось устроиться в артель грузчиков при «Центропечати». И на такую работу попасть — требовалось знакомство немалое. Устроил его, ни много ни мало, управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. В революционные дни 1905 года одна

из теток Колюши прятала Бонч-Бруевича от полиции. Вот он, желая отблагодарить ее, устроил племянника на хлебную работу. Артель упаковывала газетную бумагу, грузила книги, брошюры. Издавались они тогда активно: «Азбука коммунизма», «Анти-Дюринг», буквари, Конституция, — типографии работали вовсю, бумаги было много, и рассылали книги по всему отечеству. За всеми этими грузами приезжали уездные и губернские комиссары. Грузчики получали дополнительные карточки — по четверти фунта хлеба. Из управделами Совнаркома отпускали на каждого рабочего артели по три обеденных карточки в третью столовую Совнаркома, которая помещалась в «Метрополе». Три тогдашних обеда, конечно, молодой организм грузчика не насыщали, но все же это было серьезное дополнение к карточкам. Так что грузчик была должность выгодная, максимум, о чем мог мечтать начинающий ученый. Артель, однако, находила и другие способы подкормиться. Пока грузили тюки — а артель не слишком торопилась, — из машины, стоящей под погрузкой, один мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок «автоконьяк». В те времена грузовики в Москве работали на смеси газа со спиртом. На Сретенке был извозчий трактир. Там по-прежнему кормились извозчики да еще шоферы машин, какие ходили тогда по Москве, — не очень-то их было много. Являлась туда и вся артель грузчиков, человек двенадцать, хозяин получал бачок с «автоконьяком». Пьяницам выдавал по рюмочке. За это грузчики получали по тарелке суточных щей с убойной (мясо тогда называли убойной) и кусок настоящего хлеба. Наевшись, Колюша отправлялся в университет к своим работам, либо же — в кружок, где что-то вещал Брюсов, читал Андрей Белый. А то бежал слушать курс лекций Грабаря по истории живописи; от Грабаря — на лекции к Муратову; от Муратова к Треневу — о древнерусском искусстве, о фресках. Все хотелось знать, постичь. Привлекала красота словоречий, ускользающий их смысл, зыбкие формы... Довольно глубоко погряз он в этих вещах. Грыз, грыз всю эту философию и искусствovedение, пока не убедился, что это «пустое бормотание», что нельзя менять прелестных водных тварей на такое суесловие.

Поэтому он стал биологом, а не искусствovedом. Хотя навсегда сохранил интерес к истории живописи, истории описательной, без всяких выкрутасов, что помогала узнать, когда и что происходило на белом свете, какой художник что делал, чем хорош, что придумал...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Здесь у автора записей обрыв, и затем ни с того ни с сего следует рассказ про денатурат. К чему это было рассказано, теперь трудно установить. Автор, то есть я, записывал кое-как, наспех, что записывал, а что и не записывал, слушал развесив уши, в свое удовольствие, забыв про обязанности. О чем-то спорил с Зубром, пытался себя показать, вместо того чтобы делать то, что положено писателю — слушать, запоминать, записывать. Тут автор хочет пожаловаться на себя, поделиться своей запоздалой печалью. Если бы автор скромно хотя бы

несколько лет просто-напросто записывал то, что он видел, слышал, — это стоило бы многих его сочинений. Подобные дневники автору никогда не встречались. Немногие люди, которые ведут дневники, обычно заносят в них вещи, стоящие упоминания, события, с их точки зрения, более или менее значительные. Им кажется недостойным записать разговор женщин в магазине, про обед в столовой, про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на рынке... Но откуда нам знать, что стоящее, а что нестоящее?

«Денатурат был зеленый, керенский...» Фраза эта интересна тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что денатурат был когда-то зеленым, и не знал, что деньги — керенки, выпущенные Временным правительством, были тоже зеленые.

Подмешивался к денатурату рвотный камень или еще какая-то дрянь. Во время войны Россия жила по сухому закону. В складах скопились водка, спирт, а также денатурат. Такие склады имелись в Кашине, неподалеку от госхоза, где Колюша пастушил. Когда начали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром старого рабочего-активиста Ивана Ивановича и пастуха Колюшу. Снабдили их подводой и кувшинами. В Кашине творилось столпотворение вавилонское. Красноармейская команда сперва попробовала было спускать водку на землю. Пооткрывали краны, водка течет и на улицу. Пьяницы накинулись на эти водочные лужи. Бабы ложились и черпаками эту грязную жидкость сливали в посудины. Колюша и тут научно подошел, убедил Ивана Ивановича, что к водке соваться нет большого смысла, надо пробраться к спирту. Но их не пустили. Тогда они свернули к денатуратным запасам, благо денатурат тот же спирт. Заполнили свои кувшины этим «Зеленым змием». Выбрались оттуда с боем. Смертельный был номер: колями и ломами пробивались. Хорошо, что успели до подхода вызванной латышской части. Чуть не убили Колюшу. По глупому этому делу могли прихлопнуть как муху. Потом он научил селян, как очищать денатурат от всякой гадости. Но, естественно, перегонные аппараты, какие он сделал, накапывали медленно. Так что от сплошного пьянства, можно сказать, он уберег.

Характер его жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем укрыться в тиши лаборатории. Как будто он знал о том, что ему предстоит. Юность его не была похожа на юность ученого.

Он мог сделать карьеру пением. Несколько раз судьба подкидывала ему такой соблазн.

Когда он после сыпняка вернулся в Москву, им в квартиру в порядке уплотнения вселили неких Эгертов. Сам Эгерт, бывший церковный регент, ныне руководил красноармейским хором. Эгерт, услышав, как Колюша распевает в ванной, стал уговаривать его пойти в первые басы. Тем более что Колюша хорошему пению был обучен. Пел в гимназии, пел в церковном хоре, пел он и в университете в Татьянин день — был такой студенческий праздник. Хор Колюша любил беззаветно. Где только можно присоединялся к нему, у себя в Калужской губернии пел в серпейском любительском хоре. Солистом быть не стремился, нравилась ему именно хоровая слитность. Во всем индивидуальность, а тут — вот что любопытно — влекла его сообщность хора, где ты неот-

делим от других, сам не слышишь себя в мощном единстве голосов, где нет тебя, есть — мы.

Красноармейский хор был чисто мужским, без альтов и дискантов. Получали хористы два красноармейских пайка, что равнялось фронтовому пайку, на него могли существовать и мать и две сестры.

К тому времени отпуск по болезни кончился. Для перевода в окружной красноармейский хор Колюша явился в комендатуру со своим японским карабином и сумкой обойм. Долго стоял в подъезде, поглаживая карабин, прислоненный к щеке. Не утешила и благодарность от начальства — его тогда повели к коменданту Москвы как образцового красноармейца, который в тифозном бреде сохранил свое оружие, патроны.

— Почему вы сдали свой карабин, если он вам так был дорог? Ведь тогда можно было оставить.

— Можно-то можно, но ведь приказ был сдавать.

Для него приказ был приказом, закон был законом, правильный, неправильный, но исполнять надо, раз это закон. Странная законопослушность бунтаря.

Бас у него был редкий по красоте. Не знаю, как насчет солиста, но в хоре Колюша считался незаменимым. Голос и музыкальный слух помогали ему в жизни не раз, порой выручали. Своим голосом пользовался он с юности. В 1916 году уговорили его Грабарь и Муратов «бублики» собирать. «Бублики» — это раскольнические иконы. Во времена Николая I снова пошли гонения на раскольников, и приказано было иконы у них отбирать. Для этого в уголке иконы просверливали дырочку, на низывали иконы на веревочку и сдавали этот «бублик» церковному ведомству. Колюше было поручено ехать по Карелии собирать эти «бублики» по монастырям и церквям. Финансировали его по всем правилам, и экспедиция отправилась по Ладоге, затем по Онеге до Кандалакши на лодках, пешочком. Приходят они в деревню, чаевничать начинают, ну он и пропоет что-нибудь из репертуара калик перехожих:

Ай да книга та голубиная,
А и в книге той девяти сажень...

Особенно если какая поповна на гитаре играет, он ей романсы, она им «бублики».

В детстве он просился, и его возили в Мосальск. Там в монастыре два раза в год, на троицу и осеннее заговенье, архиереи со всей России съезжались — басовитых протодьяконов выбирать. Классические дьяконские басы были в Новозыбковском монастыре и — рядышком с Тимофеевыми — в Мосальском. А еще он слушал богомольцев, что шли мимо них, брели к соловецким угодникам на север и к киево-печерским — на юг. Распевали они духовные песни.

Песен духовных знал он множество, и не было ничего интереснее, когда где-нибудь в биошколе, у костра, на Можайском море, а то в

Миассове, на Южном Урале, он вместо обычных туристских бренчалок затягивал старинные, никому не ведомые песнопения.

«Ныне отпускаеши...», «Да исправится молитва моя...» — заводил он с самых низов. И вдруг переходил, скоморошничая:

Десять чинов ангельских,
Столько же архангельских.
В трех лицах един бог,
Он на небе царствует,
На земле господствует,
Королевствует над нами.
Подайте слепенькому, Христа ради!

Михаил Васильевич Нестеров и Иван Флорович Огнев водили его, юнца, слушать хороших дьяконов ко всенощной. Как запоем дьякон, так Иван Флорович проверяет, откуда начинает «Апостола»: если не с самого нижнего до, то это мальчишка. Хороший дьякон две с половиной октавы брал, доходить должен был до ми-бемоля, даже до фа.

Кто они такие были, эти старики? Нестеров Михаил Васильевич? Не художник ли? Об этом спохватываюсь я сейчас, проверяю имя, отчество. Действительно он, художник, один из любимейших моих художников. А Огнев Иван Флорович? По энциклопедии это известный русский гистолог, уволенный в 1914 году из Московского университета реакционным министром просвещения Кассо. Выходит, они дружили, Нестеров и Огнев, и каким-то образом судьба свела их с Колюшей. Ходили вместе, втроем, по московским церквям. Что они нашли в этом юнце? И что, кроме дьяконского пения, их связывало? Ведь Нестеров в ту пору — уже овеянный славой художник... Десятки вопросов возникают у меня. Слушая в свое время Зубра, не остановил его, не расспросил. Слишком поздно я спохватился. Чем больше я углубляюсь в его жизнь, тем чаще наталкиваюсь на свои упущения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Почему вы, имея такой голос, пошли в науку?

— Да потому что тогда этих паразитов, научных работников, было немного и большого вреда своему отечеству они не приносили.

Что, выкусил? Зубр хохочет. Так всегда: от него невозможно получить ожидаемый ответ.

— В двадцать первом — двадцать втором годах времени у меня было мало. Мы не считали допустимым зарабатывать деньги с помощью науки, зарабатывали работой.

Чем же он занимался? Чинил жнейки, косилки и прочие машины, у деревенских прирабатывал. Это — летом. Зимой лекции читал. Уговорили его преподавать зоологию на Пречистенском рабфаке, только что организованном. Это была одна из первых просветительных затей московской интеллигенции, которая, кое-как отойдя от голодухи, стала по-своему помогать революции. Огромный был рабфак, чуть ли не двадцать пять тысяч народа. Собрали, чтобы готовить для высших учебных заведений рабочих, демобилизованных солдат. Рабфак давал ему кое-какое жалованьишко и небольшой паек. Жалованье ничего не стоило

по той причине, что равнялось оно примерно трамвайному билету, а трамваи не ходили. Московская жизнь 1920—1921 годов еще не устоялась, не наладилась. Смоленский рынок, поблизости от дома Тимофеевых, пустовал. Недавно еще шумный, крикливый, он тянулся заколоченными ларьками. На замусоренной площади среди шелухи, бумаг, навоза бродили старушки, старики в пенсне, стыдливой скороговоркой предлагали на продажу всякие малонужные вещи — кофемолки, вечерние платья из черного газа со стеклярусом, желтые бумажные розы, мундиры со споротыми погонами и галунами. Попадались и горбушки черствого пайкового хлеба, куски мыла, серые куски рафинада в синей бумаге, осьмушки, а чаще пол-осьмушки махорки.

Чтобы еще заработать на пропитание, стал он читать лекции по клубам — зоологию с революционным уклоном. За это давали красноармейский паек. Однажды привезли его в Центральный клуб Красной Армии. Ждала его огромная аудитория, тысячи полторы человек, командиры и жены командиров. Выясняется, что объявлена была лекция о Великой французской революции. Чего-то начальство перепутало. Колюша руками развел: он — штатный лектор по биологии, при чем тут Бастилия, конвент и всякие якобинцы? Завклубом за голову хватается: «Что делать? Выручайте, Христа ради!» Колюша — ни в какую.

Кто-то вспомнил, что в клубе имеется коллекция художественных диапозитивов по истории живописи и архитектуры. Что, если подобрать из них диапозитивы по эпохе французской революции?

— Это другое дело, — Колюша оживился. — По живописи я кое-что могу, между прочим я интересовался стилями, всякими рококо, барокко. Давайте так назовем: «Смена стилей в архитектуре и живописи Европы в период Великой французской революции».

Кто бы мог подумать, чем кончится его сочувствие к заведующему клубом? Лекция прошла благополучно и закончилась успехом. Он вдохновенно сменял стили, соединял их с революцией. А это привело к тому, что вскоре его как всесторонне образованного товарища назначили председателем культпросветкома Центрального управления снабжения Красной Армии. Мало того что еще один паек выделили, так дали ему коляску с двумя скотами и кучера, что вполне равнялось автомобилю.

Зрелище было довольно комичное: Колюша садился с портфельчиком в экипаж, и везли его в университет, где он занимался своими рыбешками, слушал лекции, потом его везли в контору, а потом он сам читал лекции.

Из всех возможных занятий наука была самым невыгодным. Научная работа не давала ни пайков, ни денег, ни славы. В науку в те годы шли немногие. Мало сказать бескорыстные, вдобавок еще — чудаки. Или чудики. От этого и укрепился образ отрешенного, одержимого своей наукой, своими букашками, пробирками, формулами отшельника. В науку шли ради самой науки, исключительно подчиняясь древнему, неведь зачем возникшему инстинкту любознательности. Так что ответ Зубра на мой вопрос, почему он занялся наукой, не такой уж ернический.

Отметим, что перед Колюшей распахивались двери в многообещаю-

щие кабинеты с высокими креслами. Молодой, пришедший с фронта красноармеец, образованный и в то же время не царский спец какой-нибудь, неокончивший студент. А в те времена «студент» звучало почетно: что-то передовое от разночинцев, от демократов сохранялось в этом звании. Так что он мог продвинуться, и быстро, в большое начальство. Коляска катила его по этой дороженьке легко, весело, на мягких рессорах. Связи у него хорошие были, и родители терпимые по тем, старым понятиям: отец хотя и дворянин, но инженер-путеец, не фабрикант, не буржуй, такие помогали революционерам. С Кропоткинскими родственник. Язык подвешен что надо, а для того времени ораторские данные — существенное преимущество. Словом, он вполне годился для быстрого восхождения. То было время молодых, горластых, отчаянных. И нужно было сильное и точное призвание, чтобы удержаться от соблазна. Тем более что искушал не грех, не дьявол, его манил народный порыв к культуре, к грамотности. Только что отгремела гроза революции, и чистый воздух надежд пьянил куда более опытных людей, чем Колюша. Он же направляется с утра на своей коляске в университетскую лабораторию, без стеснения подкатывая к подъезду, куда тянутся пешим ходом маститые профессора и академики.

Оговоримся сразу: не было у него никаких терзаний. В заслугу ему нельзя поставить преодоление искусов. Он не делал выбора, не искал своего пути, после всех заходов, зигзагов он спокойно возвращался на него, как возвращаются домой.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Его учителем был знаменитый Николай Константинович Кольцов, тот, кто разработал некоторые главнейшие принципиальные положения современной генетики, экспериментальной зоологии, тот, кто создал, выдвинул, основал и так далее и тому подобное; список заслуг Кольцова велик и бесспорен. А у Кольцова был свой учитель — тоже выдающийся, зоолог, Михаил Александрович Мензбир, основатель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист учения Дарвина. А у Мензбира были свои учителя, и главный из них — Николай Алексеевич Северцов, который опять же основоположник экологии животных, науки, разработанной впервые им вместе с его учителем Карлом Францевичем Рулье. В истории он известен как «замечательный зоолог, выдающийся теоретик биологии, создатель первой русской школы зоологов-эволюционистов». По этой цепочке можно идти далеко, от колена к колену, от одного замечательного к другому не менее замечательному, ибо мы попали на счастливый случай. Не у каждого ученого есть столь знатная родословная. Научное генеалогическое древо Зубра раскидисто, велико и почетно. Оно не менее славно, чем его дворянское древо, — ветвистое древо биологической школы, к которой Колюша принадлежал, обеспечило его хорошим происхождением и наследственностью, первоклассными традициями. Революция не прервала, не нарушила научную родословную. Профессора остались профессорами, карпы карпами, морской рачок вел себя так же, как и при Романовых.

Честно говоря, Колюша любил хвалиться своими предками и по материнской линии и по отцовской. Но рассказы о них не выдерживали никакого сравнения с его рассказами о Кольцове и Мензбире, которого он застал ректором Московского университета.

Насчет Кольцова, что он был за человек, существуют бесспорные, всеобщие определения: талантливый, чрезвычайно работоспособный, порядочнейший. Далее мнения расходятся. Для Колюши наиболее существенным было то, что Кольцов — дивный зоолог. Хороших зоологов мало. Хороших математиков, физиков, химиков — этого добра хватает. А вот зоологи, да еще хорошие, наперечет, их нужно больше, как хороших людей, тем более что, как правило, они действительно хорошие люди. По глубокому убеждению Колюши, зоологи отличаются от прочего образованного человечества тем, что они в среднем лучше.

Начинал Кольцов как сравнительный анатом. Первая его студенческая работа о лягушке. А первая взрослая — о голове миноги. Так что он по своему происхождению, как и Зубр, — «мокрый» зоолог. Работа о голове миноги сразу стала классической. От многообразия морской фауны Кольцов перешел к форме животных — почему у животных такие формы, а не другие — и далее перешел к форме клеток.

Значение Кольцова выходит за пределы генетики. Школа Кольцова была шире, чем ее понимают. Это хорошо втолковал мне Г. Г. Винберг:

— Кольцов начал экспериментальную биологию, организовал институт, который так и назывался — экспериментальной биологии. Это сейчас кажется само собой разумеющимся, а тогда, в девятьсот семнадцатом году, было в этом необычное, даже странное. Вся биология девятнадцатого века была описательной. Экспериментальное направление Кольцова вызвало иронию у профессуры. Он начал с приложения к биологии физической химии. Клетку можно было изучать живой, помещать ее в разные среды и так далее. Много надежд породил такой новый подход.

Сам Винберг не прямой ученик Кольцова, скорее «внучатый племянник». Он — ученик Скадовского, который был учеником Кольцова. Но Кольцова он видел, знал и говорит о нем без восторженности, к которой я привык. Суховато-скрипучий голос его иногда оживляется смешком, не причастным к словам. Что-то, видно, вспоминается помимо рассказа. Пока что он сообщает милые подробности о рисунках на доске, которые Кольцов делал цветными мелками с большим искусством.

— Ученые тогда ничего не получали, жили исключительно преподаванием. — Георгий Георгиевич собирается вздохнуть над их участью, но вместо этого хмыкает. — Золотая пора науки... В начале революции Кольцова в чем-то заподозрили, арестовали, приговорили к расстрелу. Вскоре дело разъяснилось, его освободили. В первом номере трудов Института экспериментальной биологии он поместил научную статью о влиянии психических переживаний на вес человека. Там говорилось, что тогда-то он был приговорен к смерти и питался в это время так-то. Калорийность была такая-то, достаточная, но похудел он на столько-то. В ожидании расстрела занимался самонаблюдением. Внешность?

Эффектная. Толстовка, большой бант, элегантность.— Винберг делает паузу и так же скрипуче-суховато продолжает: — Как кот в «Синей птице» Метерлинка.— И, не меняя интонации: — Белые усы, всегда хмуро-хорошее настроение. Либерал, да такой, что не уместался в среду московской профессуры.

Сравнение с котом из «Синей птицы» вряд ли чисто внешнее. Георгий Георгиевич Винберг — крупнейший наш гидробиолог, членкор Академии наук, имеет репутацию человека, зря словами не кидающегося.

— Уж очень он примитивно понимал клетку. Увлекался часто не-серьезными вещами. Например, омоложением. А то напечатает статью «О мыслящих лошадях».

Для Георгия Георгиевича это вещи непростительные. Отсюда и «кот». Но тут же я убеждаюсь, что за этим мнением есть следующее, несколько иное.

Он вспоминает жену Кольцова. Начинает насмешливо, снисходительно:

— Истеричная барынька, неумная, капризная, обожала изъясняться насчет своей любви к мужу до гроба, заявляла, что не переживет его. Над этим смеялись. Когда Кольцов умер,— а умер он внезапно, будучи в Ленинграде,— к ней помчался сотрудник. На всякий случай, мало ли что. Нашел ее столь апатичной, что успокоился и вскоре удалился по похоронным делам. Когда вернулся, застал ее мертвой.

Голос его все так же сух, скрипуч. Но это для меня уже не важно.

Стоит понять его манеру рассказа, напускную ироничность, как и он сам и жена Кольцова — все оказывается другим. Трагедия любви меняет все превратные, поверхностные суждения об этой женщине. Истеричность ее видится иначе в те все более грозные для Кольцова годы. Каким надо быть человеком, чтобы внушить такую любовь, и какое чистое и прекрасное сердце надо было иметь, чтобы так любить. Она, Мария Кольцова, была достойна своего мужа.

Владимиру Яковлевичу Александрову историческое выступление Кольцова в 1928 году запомнилось импозантным видом докладчика — вельветовый костюм, высокие сапоги и то, как он учил говорить: не хромозома, а хромосома. Главного, что было тогда в докладе, — рассуждения о матрицах — Александров не воспринял. Хоть был молод, пылок ко всему новому.

— ...И, похоже, никто не воспринял,— размышляет он.— Ничего удивительного. Рановато. В науке механизм сопротивления новому естествен. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил движения. То есть трения должно быть достаточно, чтобы не пробуксовывало. Прошло время, понадобились матрицы, и они появились. Тогда вспомнили о кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В тысяча девятьсот пятидесятом году праздновали поучительную дату — пятидесятилетие законов Менделя, которые открыли повторно в девятисотом году. И что замечательно: трое ученых независимо друг от друга одновременно открыли их! Это спустя тридцать с лишним лет после Менделя. С девятисотого года и началось бурное развитие генетики.

Так оно и происходит: если упреждение слишком большое, открытие летит мимо цели.

Каждый из учеников Кольцова выбирает в его работах свои любимые идеи, каждый лепит свой образ, создает свой портрет. Если их накладывать друг на друга, изображение не станет правдоподобнее, случайные черты не сотрутся. Облик затуманится, живое исчезнет. Примерно то же самое происходит ныне и с Зубром. Слушая его учеников, уже не разберешь, каким он был на самом деле: один считает его дальновидным, другой — наивным, третий — скрытным. Один — идеалистом, другой — материалистом. Некоторые утверждают, что он был верующим, вторые — что он только в последние годы стал размышлять о боге, третьи доказывают, что он всегда был атеистом. Обычная история. А вот в отношении Колюши к своему учителю никто не сомневается, в этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их дwoятся, уплывают из фокуса, ясными остаются лишь отношения между людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след.

Разумеется, кроме Кольцова у Мензбира были и другие ученики. У Кольцова кроме Мензбира были и другие учителя. Но сколько бы ни было учителей, есть Учитель и среди лучших учеников есть любимый Ученик.

Таким Учителем Колюши был Кольцов, таким Учеником Кольцова был Колюша. Сам Кольцов, когда был Учеником, был тоже вроде Колюши — отчаянным парнем с крайне левыми радикальными взглядами. И на этой почве у него произошло крупное столкновение с Михаилом Александровичем Мензбиром. В двадцатые годы столкновение это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и учителей, и давнее происшествие, доисторических, можно сказать, времен, произвело серьезное впечатление на Зубра.

Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реакции, и Мензбир, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял. Тогда Мензбир попросту отнял у Кольцова лабораторную комнату и строго предупредил: коли ты получил возможность заниматься наукой, то не отвлекайся. Об этом конфликте вспоминали по-разному, по-разному его расценивали, но Кольцов двадцатых годов бурчал сквозь толстые висячие усы, что молодой доцент был глуп, мог подвести ни в чем не повинных сотрудников лаборатории, устроил чуть ли не склад неположенной литературы, в конце концов «правильно меня Михаил Александрович с моими брошюрками вытурил». А Мензбир объяснял, растягивая слова, кивая седенькой головкой: «...опасный возраст, ибо изволят думать, что политические экивоки наиважнейшее занятие, нет понятия о том, что полезнее нормальная научная работа. Подвергать опасности лабораторию, с таким трудом созданную, нет уж, увольте, я не мог. Ни за какие коврижки. Слава богу, Николай Константинович ныне понимает сие, достиг».

Красноармейское прошлое Колюши спорило с такими доводами. Он знал, как дорога и нужна бывает правда, заключенная в этих брошюрках, однако его смущало, что Кольцов соглашался с Мен-

збиром, подтверждавал с высоты прожитого незыблемое преимущество науки перед суетой политических страстей, перед брошюрками, где вместо истины агитация, сегодня одно, завтра другое. Его уважаемые учителя не стеснялись так говорить, хотя еще полыхали митинги, шел дождь брошюр, плакатов, все было насыщено политикой, призывами, казалось, ими одними можно повернуть русскую машину к новой жизни. Но старики стояли на своем. Рано или поздно, считали они, приходит понимание: единственно стоящая цель — служение науке, она не обманет, не разочарует. Наука, лабораторная работа, познание тайн природы — это было красиво, ясно и ограждало от прочих обязанностей. А если рано или поздно, то лучше рано, не теряя свежих сил.

Не будем, однако, упрекать этих людей, было бы слишком примитивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержимость» к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюбленно, но и для них многое оставалось превыше науки, например правила чести и порядочности. В 1911 году во время событий в Московском университете тот же М. А. Мензбир в знак протеста против действий царского правительства ушел с поста проректора университета и покинул кафедру, которой он заведовал. Вместе с ним подали в отставку многие профессора — К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, В. И. Вернадский, С. А. Чаплыгин, Н. Д. Зелинский.

Пригласили Н. К. Кольцова, предложили ему занять кафедру Мензбира. О чем еще может мечтать молодой доцент? Кольцов отказался без всяких колебаний. Оскорбился, что его могли счесть готовым на подобную непристойность. Стали искать другого кандидата. Предложили работавшему в Киевском университете Северцову Алексею Николаевичу. Тот согласился. Приехал из Киева и занял кафедру своего учителя. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Алексей Николаевич Северцов был сыном Николая Алексеевича Северцова — знаменитого учителя М. А. Мензбира. Память своего учителя Мензбир высоко чтит. У отца была репутация честнейшего, всеми уважаемого человека. Рассказывали анекдоты о его рассеянности, но любили его и гордились его заслугами. И вдруг такое с его сыном! Огорчило это всех чрезвычайно, но простить не могли, за этот поступок его осудили единодушно. Приговор общественного мнения был страшнее судебного. Не обжаловать. Не откупиться, не отмахнуться. Общественное мнение судило по неписаным законам порядочности. По этим законам поступок младшего Северцова был сочтен непорядочным, и что бы потом Северцов ни делал, как ни старался организовать лабораторию, создать большую школу морфологов, его сторонились. Он написал хорошие монографии, разработал теорию появления новых признаков, их изменения, словом, обрел немало заслуг, тем не менее та история долго тянулась за ним, не покидая его, как тень. Общественное мнение в те годы было нетерпимо к прислуживанию перед властью, подозрительно относилось к правительственным наградам, беспощадно судило за ложь, за подделку данных... Поступок Кольцова был нормой, поступок А. Н. Северцова был нарушением нормы. Старшие ученики Мензбира — Сушкин, Кольцов — и те, кто помоложе, с годами смяг-

чились и, видя, как тяжело Северцов переживает всеобщее отчуждение, сказали ему: так, мол, и так, Алексей Николаевич, надо вам идти просить прощения у Мензбира, иначе ничего не получится. Северцов пробовал было ерепениться, но виноват так виноват, признание не унижает. В конце концов он так и сделал — пришел к Мензбиру, посыпав голову пеплом, покался.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Давно мечтаю я написать книгу о чести и бесчестии. Собрать в ней поступки, известные по разным источникам, благороднейшие поступки, примеры порядочности, великодушия, добра, чести, красоты души.

Там было бы про Петра Николаевича Лебедева, перед которым тоже в 1911 году встал вопрос об уходе из Московского университета. К тому времени он с великим старанием собрал первую русскую школу физиков — много молодых сотрудников, которых он не мог покинуть, бросить. И сама лаборатория, наконец-то оборудованная, где он начал цикл новых работ, — как ее оставить? Куда пойти? На что жить? Других физических институтов в Москве не было. Его уговаривали остаться, уговаривали ученики и некоторые из преподавателей. Ему бы простили это отступничество, потому что все понимали особенность его положения. Мучился он, мучился и все же подал в отставку, ушел из университета. Очевидно, понимал, что иначе он сам себя не простит. Он не мог не присоединиться к протесту, хотя, подобно Мензбиру, политикой не интересовался. Впрочем, порядочные поступки не объясняются, им не ищутся причины.

В той книге о чести была бы история отношений Чарлза Дарвина и Альфреда Уоллеса. Как щедро уступали они друг другу приоритет! Особенно симпатичен мне в этом смысле поступок Альфреда Уоллеса. Как известно, он прислал Чарлзу Дарвину из Вест-Индии рукопись своей статьи, где излагал теорию естественного отбора, связь отбора с борьбой за существование. На пятнадцати страницах он полностью изложил все то, что готовил к печати сам Дарвин в своей книге «Происхождение видов». Друзья, зная, что Дарвин начал свои работы двадцать лет назад, решили опубликовать одновременно статью Уоллеса и частное письмо, написанное Дарвином год назад с аннотацией своего труда, и доложить обе работы королевскому обществу. Так и было сделано. Альфред Уоллес заявил, что считает их действия более чем великодушными по отношению к нему. Никогда, ни разу в следующих своих превосходных работах, снова в чем-то обгоняющих Дарвина, он не претендовал ни одним словом на всемирную славу, которая досталась Дарвину и его великой книге. Он же первым стал применять термин «дарвинизм».

Мне хотелось бы написать про ученых, которые выступали мужественно, разоблачая собственные ошибки и заблуждения. Подобно русскому электротехнику Доливо-Добровольскому, сумевшему перечеркнуть свои многолетние труды, доказав их ограниченность. Про русских ученых, которые снимали с себя звания академиков, когда академия поступала несправедливо.

Или — про английского профессора в Кембридже, в семнадцатом веке, сэра Барроу. Неплохой математик, он заметил успехи нового своего ученика и стал всюду подчеркивать его талант, признал вскоре его превосходство. Мало того, отказался от кафедры, потребовав, чтобы занял ее ученик, которого тогда мало кто знал. Звали молодого ученика Исаак Ньютон. «Ваше место здесь, — сказал ему ученый, — а мое пониже».

Про историю самоубийства Пауля Каммерера. Австрийский зоолог свято верил в наследование приобретенных признаков. Он ставил опыты, чтобы доказать это на пятнистых саламандрах, на жабах. Над ним смеялись, он же все более упорствовал. Он опубликовал книгу о том, как он переделал одну жабу в другую, о том, что он получил якобы жабу с мозолью другой окраски. Тогда американец зоолог Нобель приехал в Вену и стал исследовать препараты Каммерера. Внимательно осмотрев мозоли у жаб, он обнаружил, что в них впрыснута тушь. История эта получила огласку, и на Каммерера посыпались обвинения. Он покончил с собой. Позже выяснилось, что Каммерер искренне заблуждался. Для него было страшным ударом обнаружить, что это — подделка. Судя по мнению некоторых, он доверился своему единственному лаборанту, который пошел навстречу желанию Каммерера получить в потомстве нужную мозоль. Вполне вероятно, лаборант, чтобы отделаться от своего шефа, а может, желая ублажить его, впрыснул тушь, и Каммерер с восторгом принял долгожданный «результат». Но в этой печальной истории привлекает понятие о чести ученого. Он не мог жить, если его подозревали в фальсификации данных.

В числе этих рассказов был бы и рассказ о Н. К. Кольцове. В 1893 году в Москве, в Дворянском собрании, происходил Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. Съезд стал общественным событием. Русская наука заявляла о себе в ведущих темах мирового естествознания. На съезд явились гости из всех кругов русской интеллигенции. Приехал даже Лев Толстой. Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор органической химии. Доклад его слушал Кольцов, тогда еще студент. А. А. Колли задался вопросом — каким образом от маленькой клетки передается по наследству множество признаков? С помощью молекул? Но их может уместиться там немного, слишком мало. А если не молекулярно, то как?

Ответ на этот вопрос дал Кольцов. Однако в своей работе он приписал все авторство Колли, хотя у Колли ответа не было. Кольцов считал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному Колли вопросу. Поэтому он не мог, не был вправе приписывать себе авторство.

Иногда считают Кольцова основателем молекулярной биологии. Категоричность в таких делах вещь рискованная. Достаточно — одним из основателей. А вот как все эволюционно образовалось — об этом у него ничего не сказано. Дальше эволюционную генную идею на молекулярной основе развил Колюша. Но до этого было еще далеко. Надо было ему еще пройти большой практикум, университет и прежде всего — обучение у своего Учителя.

Со всей добросовестностью прорабатывали ученики Кольцова большой практикум. Колюша принадлежал к среднему поколению учеников. Через кафедру Кольцова, его лаборатории прошли: Серебровский, Скадовский, Астауров, Фролова, Живаго. Это поколение помогло организовать практикум, какого еще не было. Где только потом ни перебивал Колюша — в университетах Германии, Италии, Англии, Америки, — ничего подобного уровню кольцовского практикума он не видал. Два года продолжался практикум. Сперва студенты возились с кольчатыми червями, потом — с членистоногими, потом — с низшими позвоночными, кончалось это все ланцетником. Поскольку каждый студент должен был зарабатывать себе на пропитание — то ли лекции читать, то ли плотничать, чинить, паять, кто что умел, — лабораторию Кольцов держал открытой круглые сутки. Приходили работать кто когда мог. Утром, ночью, днем. Выбирался один день, когда всем было удобно, обычно в среду, и преподаватель устраивал лекцию по материалам, которые раздавались на ближайшую неделю для проработки. Некоторые занятия проводил сам Кольцов. Особенно по темам, которые он любил или же где он открыл что-то новое. И так длилось два года, от среды до среды. Изготавливали препараты, учились определять вид, вели живые культуры. У каждого имелась своя культура амебы, жгутиковых, инфузорий. Надо было все стадии деления, размножения фиксировать, сличать, зарисовывать. То же самое с губками, с кишечнорастворимыми. И все делали самостоятельно. Резали всяких букашек, козявок, наблюдали регенерацию, трансплантацию у головастика, тритонов. Каждый сам копался, открывал, ахал, ошибался, спрашивал, чувствовал себя исследователем. Изучайте моллюсков — поручили Винбергу. А как их изучать? Он стал спрашивать. Путался. Нащупывал. А потом предложили доложить на семинаре. Были небольшие спецкурсы. Сергей Николаевич Скадовский вел курс по гидрофизиологии, Дмитрий Петрович Филатов — по экспериментальной эмбриологии, Петр Иванович Живаго — по цитологии. Каждая из этих фамилий вошла в историю биологии. Как-то так получилось, что с молодых лет окружали Зубра личности незаурядные.

Спецкурсов было шесть или восемь. И все это было без принуды. Хочешь — посещай, хочешь — нет, твое дело. Колюша как староста никакого учета прихода-ухода не вел. Свобода, которую давал практикум, привязывала к нему крепче всяких приказов. Практикуму отдавали все силы, выкладывались подчистую, весь молодой энтузиазм уходил в соревнование, в жажду понять, не отстать. Никто не спрашивал: какой язык вы знаете? Дают Кольцов или Четвериков прочитать статью на французском, значит, учи французский, словари давно изобретены. Колюше не повезло с первым рефератом: он получил монографию на итальянском. Два месяца давалось на ознакомление. Пришлось прочитать. Вкалывал чуть ли не круглые сутки. Однажды пришел в театр на галерку и заснул там. Сидит спит. Потом какой-то шум поднялся. Оказывается, две девицы, что сидели рядом, разрисовали ему лицо губной помадой под клоуна.

Участники практикума между 1917 и 1927 годами, все, кто прошел его в это десятилетие, считают, что это была лучшая пора их жизни.

Когда появлялся новичок, желающий заниматься у Кольцова, с ним знакомился Колюша как староста, докладывал о нем Кольцову, ему же обычно Кольцов поручал присмотреться к новому студенту, что, мол, за фрукт. Так появилась Елена Александровна Фидлер. Она начала учиться у Кольцова еще в университете Шанявского. Это была высокая девица с нежными чертами лица, безукоризненной фигурой. Происходила она из известной московской семьи Фидлеров, тех самых, которые содержали частную женскую гимназию, популярную в то время. Ей пришлось тоже немало хлебнуть, этой кисейной барышне, маменькиной дочке, с ее аристократическими манерами. Дело в том, что у Кольцова работал в числе педагогов М. М. Завадовский. Он организовал экскурсию в Асканию-Нову. Набрал группу слушательниц университета Шанявского, а там было большинство девиц, и отправились они в заповедник. А тут разгорелась на Украине гражданская война — загуляли банды махновцев, петлюровцев, гетманцев, анархистов. Дорога на Москву была отрезана, вернуться назад не смогли, можно было податься только в Крым, и девицы разъехались, разбежались кто куда. Приключений хватало, Елене Александровне пришлось хлебнуть всякого, спаслись чудом и добрались до Москвы зимой 1920/21 года. Лена, или, как звал ее Колюша, Лелька, преобразилась — повзрослела, расцвела. Колюша, у которого был роман с ее подругой, вдруг все перевернул и через две недели объявил о женитьбе на Лельке. Свадьба была весной, в мае месяце. Роман произошел бурно и непредвиденно для всех, кто сватал Колюшу за девиц, более подходящих ему по характеру, по положению, по росту. Лелька была выше его на полголовы и полной противоположностью характером. Никто не думал, что они уживутся. В мае не положено жениться: всю жизнь маяться будут. На самом же деле роман их, уже крутой, серьезный, начался после свадьбы, по мере того как они познавали друг друга. Они и впрямь казались несовместимыми. Она — спокойно-рассудительная, он — яростно-вспыльчивый; она — ровная, выдержанная, умеющая обращаться с самыми разными людьми и в то же время державшая их на расстоянии, он — оратор, ругатель, легко ныряющий в любую компанию, сразу облипающий интересными личностями. Лелька — домовитая, ей нужен порядок, казалось, она создает этот порядок, чтобы он имел удовольствие рушить его. Она распознавала людей лучше Колюши, была обязательной, исполнительной, умела экономно держать его безалаберный бюджет. Она появлялась на людях всегда причесанная, продуманно одетая, сияя своими зеленоватыми тихими глазами; он же — в рубахе навыпуск, в драных от своих экспедиций брюках, а то еще босой. Он — несдержанный на еду, на курево, на выпивку, она же могла лишь пригубить рюмку...

Как биолог она была безукоризненным исполнителем, умела ставить тонкий, долговременный эксперимент, обеспечивала успех там, где требовались терпение, точность, умение накопить тысячи повторных наблюдений. Могла отобрать, проанализировать сто двенадцать тысяч мух и найти среди них двенадцать светлоглазых, в другом опыте — получить потомство облученных мух и отобрать из девяноста тысяч три красноглазых мухи.

Общая работа объединяла их накрепко, потом соединила и чужая страна, в которой они очутились. С годами он нуждался в ней больше, чем она в нем, но зато она гордилась им все больше, рядом с ним другие мужчины проигрывали по всем статьям. С ними было скучно, пресно, в них не хватало куража, огня.

Ни он, ни она не рассказывали мне историю их отношений, и я не стал ее насочинять. Никогда я не видел, чтобы они ссорились, ругались — в бытовом, обыденном смысле. Им мешало взаимное уважение. Между ними, конечно, происходили столкновения, бывали обиды, размолвки, но на каком-то ином уровне, никто никого не унижал. Я застал их в тот период, когда Лелька вела всю переписку, читала вслух статьи, книги, потому что Зубр после некоторых событий стал плохо видеть.

По-видимому, он испытал немало увлечений — любовных, мимолетных, бабы к нему тянулись, но ни одна из них не могла стать Лелькой, стать нужнее, чем жена.

Впрочем, судя по некоторым воспоминаниям, я упрощаю, любовь их развивалась куда замысловатей, он терял ее и вновь завоевывал. И то, что мы не знаем ничего достоверного, может, к лучшему.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В те годы учеба не могла поглотить всей его неумемной энергии. Засучив рукава он ввязался в организацию Практического института. Предполагалось создать учебное заведение совершенно нового типа, с тремя факультетами — биотехническим, агрономическим и экономическим. Ему хотелось как-то приблизить биологию к нуждам народа, к хозяйственным заботам страны. Создать новый институт, да еще в тех условиях, было увлекательно, невысказано — и куда проще, чем ныне. Главное богатство молодой власти было доверие. Чем она еще располагала в изобилии — это помещениями. Институт получил богатое пустое здание бывшего коммерческого училища на Остоженке. Остальное добывали сами, искали, хлопотали. Вскоре они добились права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во время войны всякое лабораторное оборудование. Колюша наряжался в свою военную форму, садился в двуконную коляску с солдатом на козлах и в таком грозном виде подкатывал к нужному учреждению. Требовал. Выбивал. Внушительно и значительно. Среди имущества находили новенькие микроскопы, лупы биноклярные, монокулярные, микротомы, термостаты, ящики химической посуды...

К двадцать третьему году институт был оборудован лучше, чем биологические лаборатории университета.

Имелся еще один источник. Не очень честный, но что поделаешь. Нужда не церемонится. Пользоваться «вторично» тем, что первично приобретал и добывал П. П. Лазарев. Физик, академик, имевший куда больше прав и возможностей, чем этот «краснопуп в коляске», академик Петр Петрович Лазарев, или, как его называла молодежь, Пепелаза, получил поддержку от Ленина касательно мечты поколения русских физиков и геологов о Курской магнитной аномалии. Он разъезжал по разным учреждениям — уже на автомобиле! — являлся туда

«под ручку со своей магнитной аномалией» и реквизирует всякую всячину, полезную для аномалии. Разбираться в этом хозяйстве у него не было времени. Числилась посуда — он забирал посуду, а вместе с биологической посудой попадала и кухонная, столовая; вместе с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло постельное белье, чуть ли не подштанники. Пепелаза обследовал склады всяких насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущество в биофизический институт, который достраивался, складывал ящики во дворе, огороженном высоким забором. Наступила зима. Колюша с приятелями раздобыл санки. С наступлением темноты втроем подъезжали к забору лазаревского института. Двое перелезали во двор, среди ящиков на глаз определяли, что там и что может понадобиться, передавали через забор, там соучастник устанавливал добычу на салазки, и все удалялись. Вскроют потом какой-нибудь ящик, а там — китайский чайный сервиз. Выругаются — сервиз-то им без надобности. Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в отечестве. Куда девать сервиз? Ну, меняли хоть на полотенца. Действия не отличались высокой моралью, воровство оно и есть воровство, какие бы оправдания ни приводить. Оправдания же у них были такие: во-первых, не для себя, не корысти ради, во-вторых, они рисковали своими головами, тогда не церемонились, милиционеры могли пристрелить на месте за такие художества. Логикой грабители себя не затрудняли, они ставили себе в заслугу и то, что Кольцову ничего не говорили, чтобы не обременять совесть учителя.

Студенческие годы... Ничего общего с дореволюционным студенчеством, и от последующих рабфаковских поколений тоже разнились. Эти первые советские выпуски выделялись своими талантами.

Вундеркиндства не было. Колюше шел двадцать второй год, он все еще числился студентом. И нисколько этим не тяготился. Его занимало одно — проработать практикумы, которые его интересовали, и прослушать нужные ему курсы. Когда он это сделал, счел, что с университетом покончено, и не стал сдавать никаких государственных экзаменов. Так поступал не он один. Многие тогда считали дипломы никому не нужной формалистикой, пережитком прошлого, бюрократической отрыжкой. Бумажка не имела силы, на нее не опирались в науке, редкое население науки составляли чистые энтузиасты, искатели истины, любители приключений мысли, рыцари идеи или каких-то неясных врожденных стремлений. Они занимались бы наукой и бесплатно, лишь бы их чем-то кормили. Они не были фанатиками, ни одержимыми, лучше считать их романтиками.

Когда Колюша уехал за границу, там тоже никто не спрашивал дипломов. В результате свою карьеру он проделал без писчебумажности. По возвращении из долгой одиссеи, где-то в пятидесятых годах, спохватились, что он никто. К тому же в бурной их жизни Лелька не уберегла гимназический аттестат зрелости, и Зубр оказался человеком без всякого образования. С трудом ему оформили жалованье старшего лаборанта...

Но это случится не скоро. Пока что он стал работать в одной из кольцовских лабораторий при КЕПСе (Комиссия по изучению есте-

ственных производительных сил России). Учреждения, комитеты появлялись тогда во множестве, одни организовывались, другие исчезали. Научная жизнь, несмотря на разруху, голодность, расцветала. Строился лазаревский институт, окреп кольцовский, появились институт Марциновского, Институт народного здравоохранения. Не возводили многоэтажных корпусов, институты размещались в старых особняках, по нынешним понятиям вовсе маленьких, и людей в них работало немного — и все это тогда шло на пользу. Важно было и то, что за время мировой войны, потом гражданской накопились идеи, желания, замыслы. Все это ринулось в дело при первой же возможности, и получился всплеск русской науки двадцатых годов.

Был возобновлен журнал «Природа», основан Кольцовым «Журнал экспериментальной биологии», Лазаревым — журнал «Успехи физических наук»...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Когда Колюша возвращался с Юго-Западного фронта, на каком-то разъезде попал он в плен к банде анархистов. Они считались зелеными, воевали по-своему с немцами, наступавшими на Украину, и как зеленые, да к тому же анархисты, никому не подчинялись, не признавали никаких властей, считали, что порядок в России может родиться только из анархии. При всем при том с противниками своими они не церемонились. Атаманом этой банды был некий Гавриленко, который называл себя «учеником самого князя Кропоткина». Гавриленко, допросил Колюшу, и кто знает, какой приговор он вынес бы этому подозрительно грамотному красноармейцу, неведь зачем пробирающемуся в Москву. Нельзя же было считать серьезной причиной в разгар гражданской войны исследовать карповых рыб. Что-то тут было не так. И чтобы не ломать себе голову, проще было его шлепнуть. В лучшем случае — всыпать горячих, чтобы не темнил. При динамическом характере Колюши легко представить, чем бы кончилась для него эта встреча, но тут любопытства ради он спросил Гавриленко: «Ты ученик Кропоткина, а ты его видел когда-нибудь?» Гавриленко, конечно, не видел и не стеснялся этого — кто же мог видеть самого Кропоткина? «А я видел! — заявил Колюша. — Поскольку родственник!» И рассказал, что Петр Алексеевич Кропоткин является двоюродным братом его бабушки, так что Колюша приходится ему двоюродным внучатым племянником.

— Мы с бабушкой бывали у него несколько раз, говорили о некоторых революционных проблемах. Кормил нас малиновым вареньем, которое ему, между прочим, Ленин подарил. К нему Ленин уважительно относился, навестил его, и он к Ленину расположился.

Правда, тут же Колюша сообщил, что он сильно спорил с Кропоткиным, да нет, не об анархизме, анархизм ему, Колюше, был ни к чему. Спор шел об эволюционных взглядах Кропоткина, и зря спорил, неправильно понимал тогда эти взгляды, потом прочел его книгу «Взаимопомощь как фактор в борьбе за существование» — отличнейшая работа — и признал: Кропоткин умница, хоть и барин большой. А кроме того, он еще создал геологическую теорию образования ледникового периода.

— Да как ты смел спорить с самим Кропоткиным! — закричал Гавриленко.

Но с той минуты проникся к Колюше почтением, приблизил к себе как представителя Кропоткина и стал брать на вылазки против немецких войск, которых клялся изгнать с Украины. В одной из таких вылазок немецкий улан хватил Колюшу палахом по голове, счастье, что плашмя, он упал с лошади без сознания. Очнулся ночью. Конь стоит. Папахи нет. Влез на коня и, обиженный, что его бросили, поехал искать красноармейскую часть своей 12-й армии...

Судьба не могла в ту пору уберечь его от событий, от участия в них. Таков был его характер, он вбирал в себя время жадно, хлебал всю гущу происходящего. Зато судьба заботливо выручала его из отчаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот от самого края... Иногда мне кажется, что в этом не чудо, а явный умысел — донести, сохранить в живых именно подобный, отмеченный шрамами всех событий, экземпляр.

Приключения и случаи из его жизни всплывали беспорядочно, к слову, повторяясь и в то же время никогда не повторяясь. Как в калейдоскопе. Полагалось бы их свести вместе, сложить из разных вариантов один, самый полный, да я поостерегся.

...А в следующем рассказе Колюши идет показ, как его учили в кавалерии рубке лозы:

— Два есть главных момента: когда вперед руку несешь, чтобы ухо у коня не отхватить, а потом когда отмах делаешь, чтобы от задницы кусок не отрубить у коня. Поэтому руку надо вывернуть, что требует аккуратности и сноровки. Что хочешь руби, но имей в виду — ухо и задницу у коня не повреди!

И попутно выясняется, что банда Гавриленко попала в засаду, возвращаясь после очередного набега. Банда двигалась с обозом; бабы с ребятами на телегах, мешки, самовары, котлы, козы — кочующая республика. Колонна втянулась в горловину, с одной стороны река, с другой — заросли кустарника, густые, ни пройти, ни проехать. Навстречу выскочил немецкий эскадрон. Гавриленко скомандовал: «Вперед!» Тут — кому повезет. Колюша рванул, пригибаясь к шее коня: выноси, милый! Кавалерист из него был не ахти, но держаться умел, конь понимал его, животные его понимали, и он их понимал, недаром он считался настоящим зоологом. Рванул, затем удар, затем звездное небо и лошадь рядом...

Ученому дар рассказчика, казалось бы, без нужды, а у него он каким-то образом входил в его научный талант. Известный математик А. М. Молчанов так определил его искусство:

— У Зубра была своя манера: держи главную идею. Расцвечивай сколько угодно, но возвращайся к ней. Сменные детали могли варьироваться, а вот основная идея всегда сохранялась. Прелюдии, отвлечения — на все это он был большой мастер. Но стальной поступью, шаг за шагом, идет главная мысль. Такие лекции томов премногих тяжелей. Когда умер Зубр и умер Келдыш, я с печалью сказал: «Мне больше некого бояться». Я боялся только этих двоих. По многим причинам.

Оба они соображали настолько лучше меня, что могли меня выставить дураком в моих собственных глазах. Оба сильные были, подчиняли себе, что тоже не особо приятно... При том, что совсем не схожи, можно сказать, противоположны. Я, например, заметил, что говорю, интонационно подражая Зубру...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В 1925 году Оскар Фогт попросил у наркома здравоохранения Н. А. Семашко порекомендовать ему молодого русского генетика для берлинского института, для нового отдела генетики и биофизики.

Профессор Фогт был директором Берлинского института мозга. Его приглашали в Москву на консультации, когда заболел В. И. Ленин. После смерти Ленина, в 1924 году, Советское правительство попросило его участвовать в изучении мозга В. И. Ленина и помочь в организации Института мозга в России.

Семашко посоветовался с Кольцовым. Подумав, Кольцов предложил кандидатуру Колюши.

— Что за Тимофеев? — спросил нарком. — Не тот ли это молодец-тять, что с дубинкой напал на меня?

— Тот самый, — подтвердил Кольцов.

— М-да. — Семашко выразительно почесал затылок. — Разбойника с большой дороги рекомендуете?

— Настоятельно рекомендую.

Семашко расхохотался и велел пригласить к себе этого Колюшу.

Прежде чем произойдет их свидание, надо пояснить, откуда Семашко знал Колюшу и почему чесал затылок.

Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцовские биостанции. Одну в Аникове, где работали сотрудники А. С. Серебровского, другую по соседству, у Звенигорода, где работал Колюша с друзьями.

Станция Серебровского, старшего ученика Кольцова, была известная генетическая станция, где изучали на курсах генетику популяции. Имелись уже хорошие результаты, полезные Наркомзему.

Вторая, звенигородская, была как бы малопrestiжной, потому что там занимались какими-то мухами, что всем посторонним казалось абсолютной ерундовинной. Когда друг-приятель Колюши, Реформатский, организовал охоту и в последний момент Колюша отказался ехать, ссылаясь на мух, за которыми надо присматривать, его подняли на смех. Мухи, подумаешь, ценный материал! Глупо из-за каких-то мух упускать праздники, прелесть жизни. Он не мог объяснить, по крайней мере тогда еще не мог объяснить, что через тех ничтожных мушек открываются не ведомые никому процессы развития жизни. Двукрылые мушки на много лет стали источником его восторгов, разочарований, его славы, его неприятностей...

Мушка называлась дрозофила. Трехмиллиметровая мушка с тигровым брюшком. Если бы я писал научно-популярную книгу, я бы прежде всего воспел дрозофилу, сочинил бы нечто вроде оды этому насекомому, верному помощнику тысяч генетиков начиная с 1909 года. Оду

за ее откровенность. Или за ее болтливость. Болтливый объект, который хорош тем, что так плохо хранит тайны природы. Трудно оценить, какую большую службу сослужила дрозофила науке. Если сочли возможным поставить памятник павловской собаке, то следовало бы увековечить и нашу благодарность моргановской мухе дрозофиле...

Один из учеников Зубра Николай Викторович Лучник записал речь учителя во славу дрозофилы:

— Незаменимый объект! Быстро размножается. Потомство большое. Наследственные признаки четкие. Мутацию не спутать с нормальной. Глаза красные, глаза белые. Во всех серьезных лабораториях мира работают на дрозофиле. Невежды любят говорить о том, что дрозофила не имеет хозяйственного значения. Но никто и не пытается вывести породу жирномолочных дрозофил. Они нужны, чтобы изучать законы наследственности. Законы эти одинаковы для мухи и для слона. На слонах получите тот же результат. Только поколение мух растет за две недели. Вместо того, чтобы из мухи делать слона, мы из слона делаем муху!

В России работать с дрозофилой стали недавно, никакого авторитета мушка эта и труды над ней не завоевали. К слову сказать, мушке этой долго еще доставалось и в сороковых годах и даже в пятидесятых. Ею стыдили, упрекали, она была примером оторванной от практики, ненужной науки, иметь дело с ней считалось опасно.

Итак, проведали на звенигородской станции, что нарком едет и сперва посетит станцию в Аникове. Пригорюнились. Потому что живо представили себе, какой там, на благоустроенной станции, зададут пир, выставят своих курей, спиртику. Может получится, что потом нарком и не успеет поехать на звенигородскую, а если и поедет, так торопиться не будет. Что делать? Колюша предложил перехватить наркома. Думали, думали и решили умыкнуть наркома силой. На развилке. Километрах в пяти была развилка: налево — в Аниково, направо — в звенигородскую.

Жили и одевались в то время на станции весьма натурально. Колюша, например, большей частью босиком ходил, были у него посконные штаны в полоску, носил еще серенькую рубашку навыпуск, Филатов Дмитрий Петрович, Астауров Борис Львович — примерно в том же виде, только что в ботинках. Решено было засесть в кустах у развилки. Вооружились дубинками.

Тогда наркомы ездили запросто: до Кубинки Семашко ехал поездом, там его должны были встретить и на коляске везти дальше. Сопровождал его всегда помощник, толстый-претолстый доктор.

Трусит по дороге тройка, в коляске — встречающие и нарком со своим помощником. И тут по всем правилам древнерусского разбоя выскакивают из кустов молодцы с дубинками. Да еще заросшие, бородатые, потому что не тратили времени на бритье.

— Стой! — и дубинками помахивают.

Помощник Семашко перепугался, в задний карман лезет, где у него пистолет лежит, никак достать не может.

Молодцы объявляют:

— Жизнь при вас останется, денег нам не надо, но поедете с нами.

Повернули коней на звенигородскую, кучера ссадили. Колюша на козлы, вожжи в руки, остальные с дубинками рядышком бегут в пыли в виде эскорта. Семашко быстро смекнул, в чем дело, и очень ему это умыкание понравилось. С того времени и завязалось у них знакомство.

Историю похищения наркома Зубр любил рассказывать, но выглядела она у него как очередное озорство, ничем серьезным, никакими оправданиями он не нагружал ее. Это потом Н. Н. Воронцов докопался до причин. В похищении было нечто от предков. В крови у Зубра играло что-то разбойное, натура была сильнее ученых пристрастий, натура то и дело опрокидывала его планы. Ни с того ни с сего он отмачивал какой-то очередной номер. Он, например, уговорил товарищей похищать девиц аниковских. Умыкать к себе на биостанцию для ухода за ними, танцев и игр, поскольку своих барышень не хватало. Кончилось это плохо. Похитили одну девицу, сунули ее в мешок. Лежит она себе тихонько, удобно тащить — толстая, мягкая. Принесли, вытряхнули, а она не дышит! Оказывается, она в этом мешке в обморок скатилась. Лежит белая, глаза закрыты. Колюша с Астауровым перепугались. Хорошо, что их сотрудница Минна Савич не растерялась, привела ее в чувство, водой опрыскала, успокоила. После этого похищение дев прекратилось. Оля Чернова была тогда самой молоденькой сотрудницей на станции, но спустя шестьдесят лет она помнит все подробности той летней их жизни и слово в слово повторяет рассказы Зубра. Прирожденный верховод, он верховодство свое закрепил игрой, которую ввел в моду в университете. Волейбола тогда не было, в футбол он уже отгонял в гимназии, остались городки. С его азартом вскоре он стал чемпионом. Впрочем, он не мог быть просто игроком. Он должен был стать чемпионом. В любом деле он добирался до вершины, иначе не стоило браться. В университетском дворе он устраивал сражения зоологов с химиками. У химиков главным городошником был Несмеянов, у зоологов Колюша. На станции играли дотемна. Клали белые бумажки к рюхам.

Он вспоминает, как на звенигородскую станцию к ним Кольцов привез Германа Мёллера, знаменитого американского генетика. А Мёллер привез им мушек дрозофил. После него у Четверикова появились пробирки с агаром, мушки, всякие красноглазые мутации, кроссинговеры, и наконец образовался Дрозсоор.

Что такое Дрозсоор, никто из непосвященных долго не мог мне расшифровать. Нечто вроде семинара или кружка, где обсуждали работы с этой мушкой.

Вначале было слово или вначале было дело? Вот перед чем всегда встаешь в тупик. Вот о чем спорили философы. И будут спорить и дальше. Потому что даже в том, что происходит на наших глазах, мы не всегда улавливаем, что же было вначале — слово или дело.

С чего начался Дрозсоор, творение Четверикова, столь любезное его сердцу, этот вопящий, кипящий ералаш, из которого один за другим выходили, как тридцать три богатыря, зачинатели оригинальных направлений в генетике?

А начался он, судя по всему, из жажды общения. Но так, чтобы общаться, не стесняясь никакими принятыми формами заседаний. Предлагать, обсуждать без оглядки на мыслимое и немислимое...

Все же что-то этому предшествовало.

После окончания университета полагалось заниматься наукой. Но университета, как известно, Зубр не кончал и госэкзаменов не сдавал. Не кончив учебы, он взялся за науку. Все это знали, и в университете знали, и этого было достаточно. Тогда, в первой половине двадцатых годов, писчебумажная жизнь в науку еще не проникла. Человек расценивался по делам, ученый — по работам, студент — по тому, как он понимает и на что способен. Райское время, когда все ходили нагишом, не прикрываясь дипломами и званиями. Когда Колюша уезжал за границу работать, его учитель Н. К. Кольцов дал ему письмо, в котором удостоверял, кто он такой. Это заменяло все справки и мандаты. Главное, что он его ученик и обучен.

И когда он, Колюша, организовал в Москве Практический институт, у него тоже на это не было никаких особых бумаг, было желание на основе биологии создать нечто необходимое, практическое.

Счастливая пора! Он вспоминал о ней с блаженной улыбкой: все враги, окружавшие Россию, разгромлены, и можно было заняться любимым делом. Один из рассказов своих о тех годах он начал так:

— Как хорошо ко мне господь бог относился! И, убедившись в этом, я занялся экспериментальной биологией.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Оскар Фогт был невролог, невропатолог, он много сделал для учения об архитектонике полушарий мозга, кроме того, был крупный специалист по шмелям, по их изменчивости. Он собрал крупнейшую в мире коллекцию шмелей. Короче говоря, его можно было считать зоологом, то есть, по рассуждению Колюши, можно отнести к лучшей части человечества. Фогт, обожающий своих шмелей, хотел генетически подойти к их изменчивости. В Германии подходящего генетика не было. То есть были, конечно, знаменитые Баур, Гольдшмидт, Штерн, но они занимались другими темами. Так что работа у Фогта обещала быть интересной. Однако Колюша категорически от нее отказался и к Семашко являться не стал, не имело смысла. Никаких уговоров не желал слушать. Зачем ехать в Берлин, когда ему и здесь хорошо? Кольцов настаивал. Надо отдать ему должное: он умел управлять своими строптивцами.

Почему Кольцов выбрал Колюшу? Способных, талантливых у него хватало. И годы показали, что все, буквально все ученики Кольцова стали выдающимися генетиками. И Астауров, и Николай Беляев, и Ромашов, и Гершензон... Но Колюшу он выделил как наиболее самостоятельного из молодых. Затем у Колюши уже было пять печатных работ. Из них одна большая. Когда он успел? Насчет этого тоже следует сказать особо. Работоспособность у него была ни с чем не сравнимая. Известно, что он продолжал преподавать, чтобы кормиться и кормить родных и свою семью, потому как Лелька к тому времени

уже родила здорового, орущего благим матом сына Дмитрия, которого почему-то все звали Фомой. Новоявленный папаша приговаривал ему: «Ори, ори, морда шире будет».

Когда он мог это приговаривать, не известно, так же как не известно, когда он мог дуться в городки. Расклад времени не сходится. Если, конечно, считать, что в сутках и тогда было двадцать четыре часа. Преподавание занимало у него до пятидесяти восьми часов в неделю. То есть побольше девяти часов в день одного говорения. Из месяца в месяц. Такой нагрузки не выдерживал ни один преподаватель. Кое-кто пробовал за ним угнаться и быстро скисал. Он дразнил их: слабаки! Недоноски!

Разумеется, в хоре он уже не пел. Фронтовые пайки за пение кончились, так что расчета не было. Всклакивал от грохота огромного будильника. Будильник был куплен в седьмом классе гимназии, когда выяснилось, что времени не хватает. Единственным запасом, откуда его можно было брать, стал сон. Глупо тратить на сон восемь часов, треть жизни. Раз навсегда он поставил будильник на семь и стал ложиться все позже и позже, пока — уже студентом — не дошел до двух с половиной часов ночи. Поначалу было трудно. Чтобы сразу засыпать, он перед сном обегал несколько раз свой квартал и тогда уже засыпал мгновенно, намертво. Никаких сновидений и прочих глупостей не видел. Некогда было, надо было высыпаться. Постепенно сон утрамбовался, да так, что никакой сонливости не оставалось. Во времена кольцовского института нормальный сон его составлял четыре с половиной — пять часов. На этом он, к счастью, остановился. Всю остальную жизнь так и спал. Некоторые могут считать, что он лишил себя удовольствия поспать, но он считал, что жить — удовольствие большее, чем спать. Ему помогало правило, которое у них в семье усваивалось детьми строго-настрого: проснулся — вставай! Валянье в постели не разрешалось. (Были еще два правила, таких же неукоснительных: ничего на тарелке не оставляй и не ябедничай!)

Будильник трясся, подпрыгивал над головой. Через полчаса Колюша уже бежал к трамвайной остановке. В девять начиналось преподавание на Пречистенском рабфаке — с перерывами, чтобы перебежать, доехать с рабфака в медико-педагогический институт и обратно. Девять-десять часов на говорение, два часа на переезды-переходы. В девять вечера являлся домой, нажирался, как австралиец, раз в сутки, всем, чем можно было, и отправлялся в кольцовский институт, который, к счастью, был рядом. До часу ночи тешился там со своими обожаемыми пресноводными, а затем, с 1922 года, с дрозofiлами.

С той поры у него образовалось свое фирменное блюдо: вбухать в кастрюлю все, что есть в шкафу, в холодильнике, — мясо, колбасу, кефир, вареную картошку, яйца, можно туда же сыр, помидоры, и все это — на огонь и по тарелкам, чтобы не тратить время на первое, второе да еще закуску.

Вернувшись домой, еще читал. Поглощал модную у студентов русскую философию — Федорова, Соловьева, Константина Леонтьева, Шестова.

Его пугали: от такой жизни неминуемо мозговое истощение и ги-

бель. Он отмахивался: это у обыкновенных интеллигентов. Похоже, что он не истощался. Ни головой, ни телом. Гибели тоже не происходило. Бегал неустойчиво и успокаивал всех, что голова по сравнению с ногами малоценный орган. Голова нужна бывает редко, а для каждодневной жизни ноги и руки много нужнее. Так и жил: ногами и изредка головой.

К 1923 году Кольцов взял Колюшу к себе в медико-педагогический институт вести малый практикум, подбросил какое-то жалованьишко, деньги эти были удивительные — впервые Колюша стал получать за науку.

Практический институт по-прежнему тянул его к себе. Интересное студенчество собралось там — те, кто в военные годы прервал учение, а тяга не пропала. Они подались в институт, где давали ясную специальность, читались циклы: лесная промышленность, зверобойная, водная — то, что добывают из запасов природы, но запасов возобновляющихся. В этом была суть. Изучали теорию эксплуатации и восстановления. Профессор зоологии М. Н. Римский-Корсаков, сын композитора, втянул его в создание новой биостанции, доказывал, что Колюша замечательный лектор, талантливый педагог-организатор.

Однако Кольцов и друзья Колюши всерьез опасались за его здоровье. Перегрузка, да еще такая, могла кончиться печально.

Я еще не рассказал толком про Дрозсоор — главную душевную страсть всех участников. В Дрозсооре зародилась и выросла новая идея в эволюционном учении — воссоединить современную генетику с классическим дарвинизмом. Идея увлекла всех дрозофилистов. Кольцов Дрозсоора не посещал, чтобы не давить своим авторитетом, не стеснять. Он пребывал как бы рядом, но наверху, на своей вершине, а они орали у подножья горы.

Дрозсоор расшифровывается как совместное о р а н и е о д р о з о ф и л е. Над совместным ором взмывал мощный бас Колюши. Несомненно, слово «орание» обязано его голосу, он орал громче всех, он был оратор, крикун, вопило, басило и прочее. Вполне вероятно, что это он придумал название «Дрозсоор», хотя в этом не признавался. Ор, орание имело для них и второй смысл — пахать, вкалывать, ишачить, словом, работать... Название прижилось и вошло даже в официальную историю мировой генетики.

В орании сохранялся своеобразный порядок, состоял он, пожалуй, в единственном правиле «красной ниточки»: прерывай, неси любую чушь, а докладчик все же свою красную ниточку тяни!

Кольцов не понукал и не давал поблажек. Он был из тех людей, любовь которых распознать не просто. Со всеми одинаково вежлив и никаких любезностей. Они гордились им. В самое тяжелое время никто из них не отвернулся от него. Он не учил их порядочности, но так получилось, что всех его учеников, от старших и до младших — Рапопорта, Сахарова, Фризена, — отличает щепетильная порядочность.

Теперь понятно, почему Колюша не хотел ехать в Берлин. На кой ему этот Берлин, когда здесь работы по горло, самый ее смак, когда генетика в Советской стране на подъеме, когда такой известный ученый, как Герман Мёллер, поговаривает о том, чтобы переехать из Со-

единенных Штатов работать в Москву. Нет, не поедет он к басурманам в Берлин, к Фогту, в этот клистирный институт, где больше медицины, чем биологии.

Кольцов все же привел его к наркому. Семашко говорил о необходимости укреплять, поднимать авторитет молодой Советской Республики. Тут такой выгодный случай: есть возможность организовать в Европе совместный германо-советский научный центр. Грех не воспользоваться.

— Да, да, надо думать не только о своем научном интересе, — поддержал его Кольцов.

— Обыкновенно русские ученые ездили за границу учиться, — доказывал Семашко, — либо к какому-то корифею, либо методику осваивать, с аппаратурой знакомиться, а тут просят русского генетика поехать, чтобы создать генетическую лабораторию, фактически учить — не зулусов, а немцев.

Ситуация была, конечно, обольстительно редкая: молодой русский ученый двадцати пяти лет едет в Германию, откуда всегда везли «учености плоды», везет туда русские плоды.

А у Кольцова был и другой мотив.

— Там гоняться по лекциям не надо, жалованье обеспеченное, можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть наукой и ничем другим. А организационный период? Так это же немцы, у них будет Ordnung — полный порядок. Сказано — сделано, сделано — переделывать не надо. Новая работа избавит от перегрузок, от отвлекающих забот. Ну и что ж, что басурманы, — немецкий-то язык вы знаете.

Немецкий он знал хорошо, немецкий и французский. И гимназия и домашние учителя сделали свое. Что же касается обучения «басурман», то тут Семашко был не совсем прав — бывало и раньше, что русские ездили за границу учить. Взять хотя бы отца Колюши Владимира Николаевича Тимофеева-Ресовского. Отец окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Поехал в Среднюю Азию в 1871 году наблюдать какое-то затмение. Но вместо затмения посмотрел окрест и ужаснулся состоянию земной поверхности отечества нашего. Подобно Радищеву, «душа его уязвлена стала», но не страданиями человеческими, а состоянием дорог, первобытной беспутицей, от которой происходила тьма, глухомань, бескультурье и бесправность. Никаких средств сообщения на тысячи километров! И так это его пронзило, что махнул он рукой на ученую свою карьеру, на астрономию. Диссертацию-то он защитил блестяще, а затем, приведя в изумление и печаль окружающих, поступил в только что реорганизованный Институт инженеров путей сообщения. Изучал он там чисто инженерные предметы, покончил с институтом за два года и немедленно отправился на строительство дорог. С тех пор строил и строил железные дороги. Прокладывал версту за верстой, как дорогу к будущему России. Железная дорога была для него средством одолеть отсталость российскую, невежество и бедность народа. Первая его самостоятельная дорога была в Сибири, северное начало великого сибирского пути: Екатеринбург — Тюмень. А последняя его дорога была Одесса —

Бахмач со знаменитым для того времени инженерным сооружением — мостом через Днепр. После этого он помер на рождество 1913 года. Всего он настроил около шестнадцати тысяч верст железных дорог. В том числе была дорога Эльтон — Баскунчак с выходом к волжской пристани. Дорога небольшая, но особая: шла она через засоленную пустыню, и ему пришлось решать связанные с этим строительные проблемы. После этого отца пригласила англо-французская смешанная компания в Северную Африку. Там хотели строить дорогу от Марокко к границе Сахары. Старший Тимофеев-Ресовский отправился «учить басурман», как и что делать в условиях пустыни. Не часто русского инженера англичане и французы приглашали руководить строительством. От руководства Владимир Николаевич отказался, согласился быть консультантом. Он говорил: к своим жуликам я уже привык, знаю, как с ними обходиться, а басурманских жуликов изучать не хочу. Жаль, что Колюшу мало интересовали тогда отцовские дела, может, оттого, что жизнь отца проходила в разъездах, отлучках, видел он его не часто. Колюша родился, когда отцу было пятьдесят лет. Что он хорошо помнил, так это рассказы отца про охоту в Африке на слонов, антилоп и гепардов.

Выходило, что ехать за границу «учить басурман», можно сказать, была потомственная тимофеевская традиция. Лелька тоже присоединилась к уговорам Кольцова и Семашко.

«Если до двадцати восьми лет ничего существенного в науке не сделал, то и не сделаешь» — фразу эту он будет потом повторять молодым, не жалея их. Беспощадная фраза. В 1925 году у него вроде бы еще оставалось какое-то время в запасе. Да кроме того, он уже и сделал кое-что путное. Но существенное ли? Он знал, что должен вот-вот что-то такое ухватить, это был самый азарт, самая горячка работы... И то, что в Германии можно будет не отвлекаться на преподавание ради заработка, решило дело. Он согласился.

Командировка, почетная командировка, ему завидовали, а он вздыхал. Более всего он сожалел, что лишился четвериковского Дрозсоора.

Рассказывая про те годы, он снова и снова возвращался к Дрозсоору.

— Вы знаете, я вам прошлый раз не рассказал про Александра Николаевича Промптова. Он тоже входил в Дрозсоор...

— Вы упоминали его.

— Да разве в упоминании дело? Он же был не только генетик, он был еще орнитолог и любитель пения птиц. Птичье пение заслуживает отдельной науки. Промптов мог подражать всем воробьиным птицам Средней России. Тогда магнитофонов и прочих хитростей не было, записать пение и чириканье было не на чем. Он запоминал. Все свободное время он проводил в полях и рощах, наблюдая птиц. По чести говоря, он наверняка умел говорить с птицами, во всяком случае, с воробьиными. Был он горбатенький, хроменький, на вид убогий, а король птичий! К тому же он сделал еще несколько первоклассных работ по генетике скелетов птиц... А про Астаурова я вам рассказывал?..

Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как рассказывать про талантливых людей. Восхищение талантами других — редкое явле-

ние и в науке и в искусстве. Похоже, он начисто был лишен зависти. Рассказывая о С. С. Четверикове, Н. И. Вавилове, В. И. Вернадском, он, сняв шляпу, раскланивался перед ними со всем почтением. Они принадлежали к его ордену, где требуются три качества: талант, порядочность и трудолюбие. Он чтит не только ученых первого ряда. Заботливо вытаскивал он из забвения зоологов, ихтиологов, какого-нибудь ботаника Зверева, отдавал должное их работам, их человеческим качествам. Похоже, что он знал весомость своего слова. Своей похвалой он как бы награждал. Его характеристики расставляли все по своим истинным местам, отбрасывая казенную славу. Если он называл, например, Тахтаджяна лучшим нашим ботаником, то, значит, так оно и было, и никого не смущало, что Тахтаджяна еще не скоро выбрали академиком. Но признали, дошло до всех, во всем мире признали. Если он говорил, что Блюменфельд самый умный человек, то все принимали это как должное.

Но так же безжалостно и бесстрашно он умел разделять бездарность всех рангов, особенно претендующую. Во времена Дрозсоора был такой Вендровский. Он ходил в портупее и полувоенной форме. Колюша пел ему вслед: «Когда легковерен и молод я был, военную форму я страстно любил». Вендровский кипятился, обижался и в конце концов написал на Колюшу жалобу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Противиться Кольцову было трудно. Он был беспощаден ко всякого рода глупости — сентиментальной, романтической, беспечной.

— Многие его не любили, считали хмурым, нелюбезным. Боялись, потому что всякую глупость он высмеивал, подчеркивая разницу уровней. То есть если ты плохо соображаешь, то он тебе показывал, как ты плохо соображаешь. Но к тем, кого любил и ценил, он относился просто и сердечно.

В Дрозсооре считали, что нет никакого смысла принимать во внимание возраст участников, когда обсуждается научная проблема. Со времен древних греков ни возраст, ни положение, ни дружба не являются защитой. Мог же семнадцатилетний Аристотель сказать о шестидесятилетнем своем учителе: «Платон мне друг, но истина дороже!»

Для Кольцова тоже не существовало разницы возрастов и положений. Брак Колюшин он одобрил и обоих новобрачных принял в свои друзья.

Кольцов воспринимался одновременно и как большой начальник и как большой ученый. В те годы считалось нормальным, что авторитет ученого и руководителя совпадает. Руководителю никто не писал диссертации. При нем подчиненные боялись обнаружить свою бездарность. Бездарный не мог получить особых преимуществ перед способным. После революции было неприветливое, невыгодное время для посредственностей и проходимцев, не вышло им льгот, поэтому они не стремились в науку. Не директоров избирали в академию, а академиков назначали директорами.

Наука была тощей, с пустым кошельком. Монографии печатались

на оберточной бумаге, академических пайков не было. И тем не менее наука чувствовала себя неплохо. Голодная диета не мешала энтузиазму. В то время совершалось немало глупостей, но было и немало умнейших, мудрых акций.

Нарком просвещения А. В. Луначарский пригласил Владимира Михайловича Шимкевича стать ректором Ленинградского университета. Крупнейший специалист по беспозвоночным, академик Шимкевич был убежденным дарвинистом, материалистом и при этом членом кадетской партии. Луначарского это не смущало. Профессура была поражена: большевики доверяют кадету университет! Луначарский знал, что делал: во-первых, Шимкевич был человек неподкупной честности, во-вторых, акт этот удержал в университете многих ученых, привлек их симпатии к новой власти. В длинном коридоре университета, по которому шутники устраивали гонки на роликах, стояли столики с надписями: «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинговали, партии вербовали молодежь. Шимкевич, да и власть, относились к этому спокойно, и до самой смерти он добросовестно руководил университетом. Студентов он увлек созданием естественнонаучного института в Петергофе; в имении герцога Лихтенбергского организовывались новые лаборатории — гидробиологии Дерюгина, лаборатории Насонова, Костычева, Догеля, Филипченко. Золотая пора! Юрий Иванович Полянский, студент-дипломник тех лет, вспоминает о ней как о самом счастливом времени своей ученой жизни. До революции подобного настроения не было, тут же все вдруг убедились, что новая власть за науку не на словах, а на деле.

Бедность, в которой жили и профессора и студенты, была экономически оправданной, всем понятной, а кроме того, в ней было равенство, то самое, что, казалось, шло от священных заветов Великой французской революции, — свобода, равенство и братство!

Тимофеевы заметили свою бедность, лишь когда стали собираться в Германию. Выяснилось, что ехать-то не в чем. Ни обуви, ни одежды нет. У Колюши имелось бывшее полугалифе, некогда синее, ныне же, по случаю полной заношенности, неровного цвета: где темно-серого, где светло-невывразимого. Зато имелись «танки» — выходные английские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнурки давно порвались, их заменила пеньковая бечева, окрашенная тушью. Свои «танки» Колюша еженедельно мазал касторкой, поскольку он знал, что она токсична для гнилостных бактерий. «Танки» не гнили и стали абсолютно водонепроницаемыми. Были остатки солдатской гимнастерки, летние штаны из посконной холстины, имелось пять рубаш. Летом он ходил босиком, к зиме надевал шерстяные лапти: рабочая обувь. Старушки плели такие лапотки, подошву — из шпата. Ехать во всем этом за границу, где штучки-брючки, пиджаки-котелки, было невозможно. Купить? Фогт предложил оплатить переезд, дать нечто вроде подъемных. Но Колюша высокомерно отказался. С какой стати брать у немцев незаработанные деньги, одалживаться? Вел он себя барственно. Всю жизнь вел себя так. От того, чтобы ему наняли в Берлине меблированные комнаты, тоже отказался. Сами найдем! Никаких услуг задарма не принимал. Само-

любие не позволяло, точнее — гонор. Чтобы не подумали, что по бедности подачки принимает.

Лельке тетка сшила нарядные платья из каких-то шелковых штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом пристежных воротничков, двое трусов, и был найден портной, который согласился из огромного старого плаща Лелькиного дядюшки сшить костюм-тройку. Все промерил, и выходило как раз — пиджак, брюки и жилетка. Никаких других возможностей не было, ибо весь дореволюционный гардероб проели. Правда, нашелся студенческий парадный китель отца — белый с золотыми пуговицами, со стоячим воротником, в кителе были прорези для шпаги. Но все решили, что это — не костюм двадцатого века, и переделать его не было никакой возможности. Назанимав денег у друзей, приобрели полуботинки и две пары запасных шнурков. С костюмом уже в дороге начались неприятности: на локтях и на коленях стали вздуваться пузыри. Никакой утюжкой разгладить их не удавалось. Материал плащевой, что ли, был такой — леший его знает. Одно выручало: врожденная стать Колюши. Ни в какой одежде он не выглядел смешным, тем более провинциальным вахлаком. Украсить его эти пузыри не могли, но он их не чувствовал, поэтому существовал и воспринимался независимо от них. Тем более что бедности в то время интеллигенция не стыдилась.

Поезд нес их сквозь знойное июльское марево. Зреющие поля, деревни, пестрые от белого теса новых домов... Шел 1925 год. Разгар нэпа. На станциях бойко торговали жареными курами, топленым молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной. Колюша всю дорогу отъедался и пел. Вдоль обочин высились груды ржавого железа. Ломовые лошади тащили на телегах к станциям остатки самолетов, броневигов, орудий — мусор знаменитых сражений; чертыхаясь, его убирали с полей. На что пойдет этот лом? Никто не предполагал, что когда-нибудь его переплавят на новые пушки. Германия, во всяком случае, воевать больше не будет. Потянулись разоренные, нищие польские селения, разбитые костелы, каменные распятия на перекрестках. Кто выиграл эту войну? Сорняки, которые заполонили поля? Пузырь имперского тщеславия лопнул смрадно и кроваво.

Смешно вспоминать — он ехал в Германию без всякого трепета, чуть ли не с миссионерской самонадеянностью — обучать, насаждать генетику, создавать кадры, просвещать бедных тевтонов. Про себя опасался, знал, что не такими уж безнадежно темными они были, но чувство превосходства в нем играло.

Никаких удостоверений, бумаг он не взял, диплома тоже не было, было лишь то самое письмо Н. К. Кольцова, в котором говорилось, что Тимофеев-Ресовский его ученик, обучен и рекомендуется им.

Хмуро посапывая в усы, Кольцов сказал, прощаясь: «Перевернуть жизнь, не дать ей залежаться — уже хорошо».

Можно было подумать, что он завидовал Колюше. Во всяком случае, нужды Фогта его заботили куда меньше, чем счастливый случай, который он хотел во что бы то ни стало использовать для своего ученика.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Институт помещался в Бухе, берлинском пригороде. Тут же и поселились. И первым делом Колюша затеял лабораторный треп наподобие московского Дрозсоора. Собирались у Тимофеевых дома. В лаборатории чем неудобно? Надо ждать, пока уйдут уборщицы. А дома хорошо. Чаек попивают и треплются. Немцы к такому домашнему сборсоору непривычные. Они больше по пивным собираются.

— Ну, мы их приохочивали к самоварному застолью на свой манер. Хошь не хошь — ходили. В генетике они невинные были, приходилось приучать их размышлять. А это куда как трудно. Чтобы взрослого человека, да еще считающего себя ученым, заставить думать — легче кошку выдрессировать.

Все делалось по испытанному московскому образцу. В Москве собирались у Четверикова, у Ромашовых или у Тимофеевых — на квартирах треп шел свободнее, чем в лаборатории. Немцы к себе домой не звали, все трепы происходили у Тимофеевых в их тесной квартирке.

Бух находился в двадцати пяти километрах от центра Берлина. Сейчас Бух — это Берлин, а тогда между Бухом и собственно началом Берлина было примерно десять километров. Так что жили и работали как бы на отшибе, что во всех смыслах было удобно. В Бухе были выстроены огромные больничные корпуса на четыре с половиной тысячи коек, туберкулезная клиника на две с половиной тысячи коек, многие другие клиники, всего на пятнадцать тысяч коек с обслуживающим персоналом и институтами.

Какое счастье было работать, ни на что не отвлекаясь. Работать с утра до ночи — ничего слаще быть не могло.

Во-первых, он закончил работу по фенотипике — действие генов и их совокупности в ходе развития особи, — отличную работу; затем в 1927 году вместе с Лелькой — две хорошие работы по популяционной генетике. Это обосновало ранее выдвинутые Четвериковым идеи.

Он расширил фронт своих исследований, чувствуя в себе все растущие силы. Он привлекает к своим работам физиков Макса Дельбрюка и Карла Гюнтера Циммера. Сокращенно его звали Ка-Ге. Все имели прозвища или клички. Колюша, кроме Колюши, получил еще короткое и легкое имя — Тим. Ка-Ге был флегматично нетороплив, невозмутим, работал методично, не спеша и поэтому успевал сконструировать все необходимые установки для облучения разными видами лучей, создал методику измерения доз облучения, которой пользуются и поныне. Как рассказывает Николай Викторович Лучник, они прекрасно дополняли друг друга, Тим и Ка-Ге, — горячий, нетерпеливый, шумный и медлительный, попыхивающий трубочкой над чашкой черного кофе... Казалось бы, несхожесть, казалось бы, противоположность. Тем не менее сошлись, и на многие годы. Противоположны — не значит противопоказаны. «Ка-Ге был экспериментатором, — рассказывает Лучник. — Для обсуждения безумных идей у Тимофеева были другие друзья — физик-теоретик Макс Дельбрюк, Паскуаль Йордан, Джон Бернал». (Тут Зубр неизменно басил: «Голубь мира».)

В данном случае «Зубр» означает уже другое время — пятиде-

сятые — шестидесятые годы. Для многих, прежде всего для сверстников, он оставался Колюшей, для тех, кто знакомился с ним в зрелости, он был Тим. Прозвищ ему хватало, он и сам раздавал их достаточно щедро.

— Что это за человек, — удивлялся он, — если ему нельзя дать никакого прозвища, это совершенно невыразительный человек.

С Германией у Советской страны в двадцатые годы были наиболее дружественные отношения. После Рапалльского договора 1922 года Германия первая устанавливает дипломатические отношения с молодой Советской страной, налаживает торговлю, позже заключает договор о дружбе и нейтралитете. Создаются совместные издательства, акционерные компании. Проводятся встречи советских и немецких физиков, электротехников, химиков. Выходят немецко-русские журналы.

Поразительно быстро завоевал он авторитет, этот русский, командированный из Советской России. Надо отдать должное и немцам и всей тогдашней научной среде: русский, советский — их это нисколько не смущало, так же как и его молодость и самоуверенность.

Кроме того, наше мнение о нас самих влияет на мнение других о нас, а мнения о себе Колюша был высокого.

В 1926 году С. С. Четвериков напечатал теоретическую работу, которая стала классикой: «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики». Он показал, что природные популяции не обходятся без внешнего давления. Поэтому надо ожидать, что популяции содержат много разных мутаций. Они впитывают их в себя, как губки. Колюша экспериментально подтвердил этот вывод. Наловив несколько сотен мух, он получает потомство и выуживает оттуда двадцать пять разных мутаций. В 1927 году он публикует «Генетический анализ природных популяций дрозофилы». В том же году С. С. Четвериков приезжает в Берлин на V Международный генетический конгресс и делает доклад на эту тему. Самое желанное, самое душеласкательное, что может быть в науке: когда найденное на кончике пера предстает в эксперименте зримой — в красках, в подробностях — явью. Сон, который вдруг сбывается, даже не сон, а сладкое виденье!

Публикация произвела впечатление в разных странах. Генетики бросились проверять открытие на других объектах. Сам же Колюша продолжал эти работы уже вполсилы. Почему? Имелась же замечательная перспектива! Можно было пожинать и пожинать...

— Ученый должен быть достаточно ленив, — объяснял мне Зубр. — На этот счет у англичан есть прекрасное правило: не стоит делать того, что все равно сделают немцы.

Он занялся обратными мутациями: не появится ли у дрозофил-мутантов возврат к норме? Тогда была гипотеза, что всякая мутация разрушает ген. Ему не верилось в это. Если разрушает, тогда не должно быть обратных мутаций, а их удалось получить. Можно надеть перчатку и выбить стекло в окне, но таким же ударом стекла не вставишь. Есть примеры и сравнения, которые действовали сильнее научных доводов.

Одновременно он выясняет, как влияет отбор и внешние условия на разные проявления определенной мутации. Год за годом уходил на обработку тысяч, десятков тысяч мушек. Поколение за поколением, воздействие, проверка, подсчеты. Семь лет потребовала эта работа. В 1934 году удалось наконец опубликовать итоги. Сперва он публиковал большую статью или даже книгу, затем, после того как проблема прояснялась, устаивалась, печатал краткую статью, которая итожила и оставалась надолго. Потому что любую работу можно изложить кратко, ежели, конечно, сам до конца ее понял. Довести до самой что ни на есть простоты — это и есть настоящая наука.

Он пришел к выводу, который многое определил: все исходное должно быть просто.

Однажды он услышал от Нильса Бора и усвоил на всю жизнь: если человек не понимает проблемы, он пишет много формул, а когда поймет в чем дело, их остается в лучшем случае две.

Одновременно он занимается радиационной генетикой — мощные дозы, жесткое излучение и тому подобное. В результате в Геттингене была опубликована знаменитая «Зеленая тетрадь», написанная им вместе с Максом Дельбрюком и К.-Г. Циммером.

— Вы не слыхали про «Зеленую тетрадь»? — спрашивает он меня.

— Не слыхал, — признаюсь я.

Чем меньше я знаю, тем лучше и обстоятельнее он рассказывает, не проскакивая, вдавливая в мою пустую голову элементарные сведения. Иногда я провоцирую его ради удовольствия послушать, но про «Зеленую тетрадь» я действительно ничего не знаю. Его удручает мое невежество, как если бы я не знал про «Зеленую лампу» декабристов, про зеленую революцию...

Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу, я рассказываю про одну человеческую жизнь, которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений.

Он бранит мою серость, ему стыдно, что я не в курсе вещей, необходимых каждому культурному человеку, а я сетую про себя на сомнение ученых. Им кажется, что гром открытия ДНК, хромосом, двойной спирали отдается во всех сердцах. Человечество ликует — еще одна тайна устройства жизни приоткрылась! Всемирный праздник отмечен салютами, ибо нет ничего важнее этих событий, все остальное постольку поскольку.

Вместо этого неблагодарный обыватель ставит памятник Черчиллю, зачитывается книгами о Мэрилин Монро, киоскеры продают открытки с портретами «Битлз», толпы любителей выпрашивают автографы у Карпова. Что это за мир, где прыгунов и генералов знают лучше, чем гениев, разгадывающих шифры Природы!

За открытием следовали будни, когда вперед удавалось продвигаться еле-еле, маленькими шажками. Это было скучно. Он решил заняться эволюцией на материале чаек и дубровника, их систематикой. Ставил опыты по жизнеспособности определенных мутаций. Постепенно формировалось количественное изучение пусковых механизмов эволюции. Ему удалось определить минимум популяции и максимум популяции. Разница бывает колоссальная. Бывает, что в какой-то год

отдельная популяция размножается вдруг до гигантских размеров. Например, гнус на Севере. Даже суточные колебания гнуса достигают от единиц до десятка миллионов. Сезонные размахи могут оказаться мириадными, вообще невообразимыми. Или столько дубовых шелкопрядов разведется, что деревья голыми стоят. И тогда незамеченная мутация получает вдруг гигантское распространение, перепрыгивает этапы, на которые потребовались бы тысячи лет. Развивая давние идеи Четверикова, Колюша искал механизм волн жизни. В чем их смысл? Какую роль эти волны жизни играют в эволюции? Много лет он обдумывает, изучает эти явления. В 1938 году он делает сенсационный доклад на годичном собрании генетического общества «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога», в 1940 году участвует в книге, которую составляет Джулиан Хаксли, «Новая систематика», книге, посвященной генетике и эволюции. Там крупнейшие биологи мира пишут по главе, Зубр писал третью, а Вавилов заключительную. Джулиан Хаксли был братом замечательного английского писателя Олдоса Хаксли. Хотя Зубр считал наоборот — Олдоса братом знаменитых биологов Джулиана и Эндрю, внуков Томаса Хаксли, которого называли «бульдогом Дарвина» за пропаганду и защиту дарвиновской теории.

К тому времени его дружба с физиками окрепла. Бывая в Копенгагене на боровских коллоквиумах, он стал переманивать физиков, желающих заняться проблемами биологии. Они решили отделиться от Бора, создать свой собственный международный биотреп.

Но до этого, в конце двадцатых — начале тридцатых годов, произошло прозрение.

— Мы с Максом Дельбрюком, потом и Полем Дираком увидели, что всюду, где какие-то элементарные существа размножаются, строят себе подобных рядом, — всюду имеется удвоение молекул, репликация... Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что нарастает масса живого, а в том, что множится число элементарных особей. Некое элементарное существо строит себе подобное и отталкивает его от себя, давая начало новому индивиду.

Денег на треп добились у Рокфеллеровского фонда. Собралось четырнадцать человек, все — звезды первой величины. Генетик Дельбрюк; цитолог Касперсон; биологи: Баур, Штуббе, Эфрусси, Дарлингтон; физики: Гейзенберг, Йордан, Дирак, Бернал, Ли, Оже, Иеррен, Астон. Съезжались они на каком-нибудь шикарном курорте в несезон, когда номера дешевы.

На всех семинарах, коллоквиумах, встречах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверикова, Вернадского и других русских. Если Томас Хаксли заслужил прозвище «бульдог Дарвина», то Колюшу можно было назвать «бульдогом русских». Во многом благодаря ему вклад русских ученых в биологию стал вырисовываться перед мировой наукой. Вклад этот оказался — неожиданно для Запада — велик, а главное, плодоносен: давал множество новых идей.

Молодые ученые, которых он соблазнил, и тогда уже совсем не напоминали кабинетных затворников. Их можно сравнить с нынешними

молодыми физиками, кибернетиками — с этими аквалангистами, альпинистами, танцорами, ловеласами, знатоками поэзии и буддизма. Просто тогда их было мало, об их времяпрепровождении, об их облике мало кто знал. А между тем они умели жить весело, ничуть не заботясь о своей репутации.

На этих биотрепах надумали вычерчивать изолинии. Вайскопф и Гамов разработали так называемые изокалы, кривые женской красоты, наподобие изотерм, температурных кривых. Вычерчивали их на карте Европы. Каждый научный сотрудник, куда бы он ни приезжал, должен был выставлять отметки местным красавицам. Задача была выявить, как по Европе распределяются красивые женщины, где их больше, где меньше. Сбор сведений шел повсюду. Розетти присылал их из Италии, Чедвик — из Англии, Оже — из Франции. Большей частью наблюдения велись на улицах. Встреченным женщинам выставляли отметки по пятибалльной системе. Наблюдатель прогуливался с друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объективности. Отметку «четыре» ставили тем, на кого наблюдатель обращал внимание приятелей; отметку «пять» — тем, на кого он не обращал внимание приятелей; отметку «три» — тем женщинам, которые обращали внимание на них. Собирались данные, допустим, на тысячу встреченных женщин, обрабатывались статистически и наносились изокалы. Максимум красавиц приходился на Далмацию, Сербию, в Италии — на Болонью, Тоскану. В Средней Европе особых пиков не было. У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были изокалы за несколько лет энергичных наблюдений.

На буховский треп стали приезжать из других городов. Пришлось перенести из-за этого треп на субботы. Отдел стал расти, достиг восьмидесяти человек, большущий по тем временам для европейской науки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной новизной.

Макс Дельбрюк, ученик Бора и Борна, внук одного из создателей органической химии, был молод, самоуверен, нагл.

— Мы с ним тоже нагло обращались. Это его быстро отрезвило!

Дельбрюк работал у Бора в Копенгагене с Гамовым, а в 1932 году вернулся в Берлин и стал ассистентом у Отто Гана и Лизы Мейтнер в Кайзер-Вильгельм-Институте. Один из главных его интересов сосредоточился на тайне природы гена. К тому времени генетический анализ дрозофил позволил Зубру измерить ген, величина которого оказалась сравнима с размером молекулы. Сходные данные получили и в вавилонском институте в Москве.

Ген есть особый вид молекулы, но стало ясно, что это уже элемент жизни. Наконец-то они его ощутили, ухватили...

Все это было в их совместной статье. Внимания она особого в то время не привлекла. Почва для нее не была готова. Она появилась чуть раньше положенного. Открытие должно появляться вовремя, иначе о нем забудут. Небольшое упреждение необходимо, но именно — небольшое, как в стрельбе по летящей цели.

Позже, однако, на эту статью сослался Шредингер в своей нашумевшей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики», и тогда открытие Зубра стало сенсацией.

Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во всех европейских странах и в США, через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, России, Италии, но участок в Бухе заметно выдавался вперед. Почему? В чем состояло преимущество этого русского? Да в том, что кроме бурного его таланта он сумел собрать подле себя дружину, он действовал не один, в окружении не лаборантов и помощников, а скорее — соратников, сомысленников. Он был не одинокий охотник в заповедных лесах, он атаманил со своими молодцами, его дар соединился с дарованиями тоже ярких и самобытных ученых. Он умел как никто другой воодушевлять, поджигать самые негорючие натуры. Сложившийся в России Дроздоор был тоже открытием, и он, Колюша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него да к тому же и полюбил эту форму работы — шумную, веселую, компанейскую.

Младший сын Тимофеевых Андрей Николаевич вспоминает: «Мебель у нас в доме была вся сборная: покрашенный в черный цвет дубовый шкаф, маленький письменный столик отца. Бедно было, беднее, чем у любого немецкого бюргера. Я однажды зашел к садовнику в Бухе, который жил напротив, помню, как меня поразили зеркала, кресла. Зато народу у нас по субботам-воскресеньям собиралось много. Ходили за грибами. Это отец приучил всех. В субботу многие оставались ночевать. Раскладушки деревянные устанавливались во всех комнатах. Окна у нас выходили в парк. Жили мы на первом этаже. Утром в воскресенье многие вылезали в окна, а не через дверь. Такой стиль был. Русские наезжали сами, немцев приглашали. Кто-то что-то привезет, помогали маме готовить. Мы с отцом варили оксеншванцензуппе (суп из бычьих хвостов)...)»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Прежде всего меня, конечно, интересовали русские друзья Зубра. Кто они такие? Берлин в двадцатые — тридцатые годы был центром русского зарубежья. С кем из русских общались? Кое-что мне рассказывал сам Зубр, кое-что было в рассказах Андрея. Жизнь русской послереволюционной эмиграции интересовала меня давно, приходилось с этими людьми сталкиваться за границей, встречи оставляли сильное впечатление, особой, ни с чем не сравнимой горечью, которой была пропитана жизнь этих людей, а еще тем, что русская эмиграция удивительно много дала европейской культуре, науке. Вклад этот у нас мало известен, недооценивается, как, впрочем, и на Западе. Можно назвать сотни имен в физике, химии, философии, литературе, биологии, живописи, скульптуре, имен людей, которые создали целые направления, школы, сами явили миру великие примеры народного гения.

С русской эмиграцией Тимофеевы общались мало, они были слишком поглощены работой, а кроме того, к ним как к советским людям, советским подданным белогвардейские круги относились подозрительно, чурались их.

Дружба была с Сергеем Жаровым. Жаров, дружок его, как раз к революции окончил Синодальное училище. С какими-то казачьими частями мальчишкой эвакуировался за границу. Ткнулся туда-сюда,

назад ходу не было. Мыкался он на разных работах, потом в Вене в 1922 году организовал мужской хор. Был он исключительно одаренным музыкантом и оказался к тому же великолепным организатором. В хоре он держал тридцать шесть человек. Из них тридцать певцов, четыре плясуна, завхоз и он, Жаров. Никаких солистов. И он и остальные хористы получали одинаково. Этим самым исключалась зависть — беда всякого художественного коллектива. Обосновал он это так: если у тебя хороший голос и ты можешь солировать, так кому я буду платить за это, господу богу? Он же, голос, у тебя от бога, бесплатно, божий дар. Дисциплину держал железную. Если кто на спевку придет выпивши, иди прочь.

О Жарове Зубр очень любил рассказывать. И мы любили слушать, потому что ничего не знали о таком явлении, между прочим примечательном в истории русского искусства. К тому же у Зубра имелось несколько пластинок с записями жаровского хора, и он демонстрировал их, подпевая.

— Они год репетировали программу, а с девятьсот двадцать третьего стали концерттировать и сорок пять лет концерттируют. К концу двадцатых годов стали зарабатывать сколько хотели. Больше немецкого профессора получали. И сверх того получали много, и это «сверх того» шло на стипендии русской молодежи. Помогали детям русских получать образование, становиться на ноги. Сережка Жаров и лады знал и гласы и сам аранжировал. Программа у него из трех частей была: первая — казацкие песни, вторая — военные, третья — хоровые переложения. Рахманинова прелюды перекладывал, да так, что сам Рахманинов благодарил его. Я вообще против переложений, но тут они меня покорили. Когда они жили в Берлине, там у них была штабквартира, каждую субботу устраивали коллоквиум. Музыковеды делали доклады, все крупные музыканты, дирижеры, бывая в Берлине, бывали у них. Писатели их посещали, ученые. Русские, конечно, в первую очередь. Метальников при мне рассказывал им про бессмертие простейших... Ох ты господи, да Метальников, к вашему сведению, еще до революции во Францию уехал и заведовал в Институте Пастера отделом. До него заведовали Мечников, потом Безредка, потом Гамалея и уже потом Метальников. Это же наши корифеи, гордость, полагалось бы знать их... Габричевский у жаровцев на коллоквиумах выступал, Евреинов, Мозжухин, кроме Рахманинова еще такой композитор, как Глазунов. Гречанинова я там слушал... Эти хористы высококультурные люди были. Стравинский к ним наезжал, Роберт Энгель сделал доклад о русском колокольном звоне и о производстве колоколов. Борис Зайцев читал свои рассказы, Ремизов читал, очень занятный писатель Осоргин бывал у них. Ну, натурально, певцы — Держинская, Петров. Был у них Ершов...

Его перебивает один доктор наук, филолог, которому давно уже невтерпех:

— А Осоргин, это что же за писатель? Фельетонист?

— Осоргин, к вашему сведению, романист, отличный писатель, роман «Сивцев Вражек» не читали?

Доктору кажется, что он знает литературу, искусство, уж это по его

части, и всякий раз убеждается, что о многом понятия не имеет. Он злится. Впервые он слышит о Жарове, впервые о Гречанинове, то есть слышал что-то, вроде как о «Могучей кучке», но вот перед ним сидит человек, который прогуливался с Александром Тихоновичем Гречаниновым по Унтер-ден-Линден. Всякий раз доктор попадает впросак. Никак он не может примириться с превосходством Зубра в разных искусствах, не понимает, что это несоответствие не знаний, а жизни, аналогичное тому, как если бы он пришел на спектакль со второго действия и поэтому не понимает, путается.

Сам Колюша рассказывал жаровцам о боровской методологии естествознания, о популяционной генетике, о том, как помогал Грабарю реставрировать фрески. В 1919 году он расчищал целых три недели каких-то ангелов, трубящих в Дмитриевском соборе во Владимире.

Потом у Жарова произошла катастрофа. Переезжал хор на двух автобусах из города в город по горной дороге Америки, первый автобус сорвался в пропасть. Все погибли. Там была жена Жарова и половина хора. После этого они год не выступали... Потом пополнили состав. Конкурс к ним был огромный, со всего мира. Попасть в хор к Жарову было не менее трудно, чем в «Ла Скала». Вакансия у них открывалась только за смертью или выбытием, как в Английском королевском обществе.

Зубр, рассказывая о жаровцах, и восхищался ими и завидовал возможности попеть в хоре во всю силу своего голоса, который уставлял умерять. Широкая грудь его расправлялась, плечи раздвигались, и непривычное мечтательно-счастливое выражение смягчало его черты...

Дружба была и с Олегом Цингером, сыном замечательного русского физика, автора учебника «Начальная физика». Эта книга и задачник А. В. Цингера много лет служили русской и советской школе. Поэтому Александра Васильевича Цингера считают физиком, и сам он так себя считал, а знаменитую книгу «Занимательная ботаника» приписывали его брату Николаю Васильевичу, выдающемуся русскому ботанику. На самом деле «Занимательную ботанику» написал физик Александр Васильевич Цингер. В двадцатые годы он поехал лечиться за границу и там, будучи больным, занялся любимым делом — ботаникой. Мне уже несколько раз встречались случаи подобного рода. Владимир Иванович Смирнов, академик-математик, причем блестящий математик, говорил мне, что тайная его страсть — музыка, что всю жизнь он мечтал стать музыкантом. Примерно то же было и с Александром Васильевичем Цингером — любовь к ботанике жила в нем с детства. Можно подумать, что любовь — это одно, а способности — другое и им необязательно совпадать. Возможно, двойственное это чувство перешло к нему от отца — математика и почетного доктора ботаники.

С Олегом Цингером, точнее с его письмами, меня познакомил Зубр. Это были необычные письма — письма с рисунками гуашью. Олег Цингер был художник-анималист, он рисовал животных для разного рода изданий. Рисовал их в зоопарках, в аквариумах, в музеях. Прямо

посреди текста письма появлялись великолепные акварельки какого-нибудь зоопарка с индийскими носорогами, неподалеку от которых на стульях сидят посетители. Райская идиллия. Письма писались по-русски на плотной бумаге, годной для краски, писались тушью четким, почти печатным почерком:

«Самый лучший аквариум, который я видел, это был в Stuttgart'e «Wilhelma». Там огромные витрины для пресноводных, экзотических рыб. Устроены они так, что вы сразу видите сушу, поверхность воды, растения и жизнь под водой. Все эти коралловые рыбы, морские звезды, морские ежи и актинии производят на меня большое впечатление. Особенно рыбы! Меня восхищает утонченный, я бы сказал, рафинированный вкус этих различных форм и окраски. Никак нельзя обвинить рыб в декадентстве и упадничестве. В то же время сочетание цветов, форм, все их «выполнение» создано как бы для знатоков Пикассо, Дягилева, Пьеро делла Франчески, Миро и прочих. Но еще лучше, тоньше и к тому же живые. Не могу оторваться от этих морских рыб. Когда я смотрю на эти новые устройства в аквариумах и в зоопарках, мне становится печально, что этого не было, пока жили мои родители и жил мой друг В. А. Ватагин».

Василий Ватагин, известный художник-анималист, график и скульптор, был учителем Олега Цингера. Ватагин, как и Олег, был влюблен в животных и, соответственно, любил и ценил лучшие зоосады и заповедники, где животные не только выставлялись, но и могли жить хоть более или менее естественно.

«Еще очень хороший зоосад в Антверпене. Он расположен рядом с вокзалом, но там так умно посажены кусты и деревья, что близость вокзала и неприятной части города не чувствуется. Так же, как в Лондоне, имеется Moonlight World, то есть дом для ночных животных. Тут можно наблюдать всяких лори, трубкозубов, древолазных динобрагов, ящуров, ехидн. Вы идете в полной темноте по коридорам, а перед вами витрина с животными, которые оживают только с наступлением ночи».

Тут же нарисован ночной дом в Антверпенском зоопарке. Олег Цингер описывает зоосады Лондона, Франкфурта, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Буффало и другие, описывает с таким увлечением, что невозможно оторваться:

«...хорошие звери очень хорошо устроены в своих витринах и сильно отдалены от нью-йоркской публики. Здесь, в Бронксе, чувствуется, что всех этих кинкажу, куэнду, фосс и сумчатых крыс надо оберегать от публики. Я это очень хорошо понял, когда увидел три десятка негритят, которые барабанили палками по металлическому барьеру и гонялись по всему помещению друг за другом».

Олег Цингер не только анималист, он пишет пейзажи, делает иллюстрации (маслом!) к Гоголю, работает в довольно широком диапазоне. С ним я списался уже после смерти Зубра, и он многое рассказал о жизни Тимофеевых в Берлине.

Они познакомились в Берлине в 1927 году. Их познакомил тот самый художник Василий Алексеевич Ватагин, к которому еще мальчиком привязался Олег Цингер и который приехал специально из Моск-

вы в Берлин, чтобы поработать в Берлинском зоологическом саду. Тогда это было просто. Поселился Ватагин у Тимофеевых, хотя квартирка их была маленькая. С утра Тимофеевы уходили в институт, маленький Митя, то есть Фомка, оставался на попечении некоего Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, который зарабатывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы для русских папирос. Прокормиться на такой заработок было нельзя, и Тимофеевы, чтобы ему помочь, взяли его нянькой к сыну и поваром.

Тимофеевы не могли жить, чтобы кому-то не помогать. Селинов стряпать не умел, мог готовить нечто вроде котлет, которыми он кормил всех из месяца в месяц. Но гости приезжали и уезжали, а Тимофеевым деваться от котлет было некуда. Кончилось дело тем, что они заболели от однообразного питания. Зато Селинов хорошо знал русскую поэзию. С Олегом Тимофеевы скоро перешли на «ты», Елена Александровна превратилась в Лельку, а Николай Владимирович — в Колюшу.

Целыми днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя зверей, в субботы за ними заезжал Колюша, и втроем они отправлялись в балаган. За небольшую цену там можно было смотреть борьбу, бокс и катч. Три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане публика преображалась. До этого приличные, воспитанные люди начинали орать, ругаться, толкали друг друга, плевались, подбадривали атлетов, кидали на арену всякую всячину. «Атлеты» были татуированные верзилы, имевшие тем больший успех, чем грубее, хамее они на арене себя вели. Устраивали из борьбы целое представление, особенно в катче, где позволялось все. Терли противника мордой об пол, вывертывали ноги, топтались на спине, кусались, выдирали волосы, и все это с криками, воплями и руганью. Публика приходила в восторг.

«Все это было для меня ново, а особенно нов был Колюша! Я до тех пор такого человека не встречал. У него было какое-то обаяние дикости, под которое я сейчас же попадал. Он орал громче всех: «Пифик, перевернись, дурак!» — он в отчаянье обращался к нам: «Ну и идиот, глуп, туп, неразвит, кривоног, соплив и богу противен!» Все эти выражения были тоже для меня новы. Он впадал в раж и все воспринимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, и Лелька упрекала Колюшу: «Наверное, опять на рундике были!» К ужину подходили гости. Вспоминаю испанского биолога Рафаэля Лоренцо де Но. Колюше он нравился, и поэтому все испанское вызывало у него восторг. Немцев в тот период за что-то не уважал и называл их туземцами. К ужину была всегда самодельная водка, конечно, селиновские котлеты и его же папиросы. Колюша был еще молод, темперамент в нем бурлил. Когда Колюша начинал ходить по комнате и что-либо рассказывать, то новый человек в доме просто обалдевал. На какую тему велись беседы, в конце концов было безразлично. Помню и то, как я был в восторге от него и старался Колюше подражать. Когда Колюша рассказывал о себе, получалось впечатление, что перед вами человек, проживший не одну жизнь. Рассказывал, как он был студентом, казаком, как был где-то ранен, но верная лошадь его спасла.

Где-то он голодал и питался в сарае воробьями, которых убивал снежками! Где-то на Украине он отбивался от бешеных собак. Один раз, прыгнув с дерева, босой упал на гадюку... Все рассказы были красочны, нельзя было ими не восторгаться... Было в них что-то гоголевское, смесь Ноздрева, Хлестакова, да еще с примесью Лескова. Так зарождались вечера у Тимофеевых».

Судя по всему, вечера эти получили известность. Характер Колюши, его нрав, манера разговора, его крик, его фонтанирующий талант — все это невероятно будоражило довольно-таки чинную немецкую научную среду почетнейшего учреждения. Этот неистовый русский втягивал всех в кипучий водоворот своих увлечений. Им угощали как диковинкой, на него приглашали, знакомые зазывали знакомых подивиться, и почти все на этом попадались. Тот, кто хоть раз побывал у Тимофеевых, стремился к ним еще и еще. Пленительно раскованно здесь чувствовали себя все, без различия должностей и возраста. Процветала, разумеется, игра в городки, неведомая прежде в немецких краях. Игра шла под выкрики Колюши, который накачивал азарт. Мазилам он кричал: «Мислюнген! Три раза «почти» — это только у китайцев считается за целое!» Вскоре респектабельные профессора обнаруживали, что и они выкрикивают что-то несусветное.

Со временем Тимофеевы получили при институте квартиру побольше, и немедленно прибавилось гостей. Всем было приятно приехать в субботу за город. Олег Цингер вспоминает, как он привозил к Тимофеевым сына художника Добужинского, библиотекарей Андрея и Дину Вольф, Мамонтова, Ломана, Всеволожского... Затем каждый из них привозил своих друзей. К тому времени в Бухе жил биолог С. Р. Царапкин с семьей, которого тоже откомандировали из Советского Союза в Германию для работы в этом институте. Приехал Саша Фидлер, брат Елены Александровны, были Блинов, Слепков, Кудрявцев и другие, поскольку институт числился германо-советским научным учреждением. Об этом времени рассказано в шуточной поэме «Бухиада», сочиненной Белоцветовым. Кто такой Белоцветов, установить не удалось, но поэма — одна из тех самодеятельных, какие обожают строчить даже люди с хорошим литературным вкусом для разного рода юбилеев и семейных праздников, — поэма эта чудом сохранилась до наших дней.

Вы помните, когда впервые,
Созрев для славы и побед,
Решать вопросы мировые
К нам прибыл юный муховед.
В те дни мы жили с ним бок о бок.
Слегка растерян, даже робок,
Он был на кролика похож
При виде посторонних рож.
Поденка ль, прачка ли в передней,
Тотчас Колюшенька за дверь —
И в подворотню. Но теперь
Он тоже ментор не последний,
И, окрыленному стократ,
Сам черт ему теперь не брат.

Больные из лечебниц Буха стояли за решеткой своего больничного сквера и наблюдали, как, что-то выкрикивая, вполне, казалось, нормальные люди яростно бросали палки, играя в какую-то варварскую игру. Предводителем у них был босой, волосатый, в распущенной рубахе русский, похожий на атамана шайки. Грива его развевалась, орал он нечто немыслимое.

Каждая фигура в городках имела свое название: «бабушка в окошке», «покойник», «паровоз», — и битье их сопровождалось соответственно сочными комментариями, которые и придавали самый жар игре.

Зимой или в непогоду с таким же азартом играли в блошки. И тут, в этой ерундовой игре, Колюша выкладывался весь. Лежа на столе под лампой, он целился фишкой, нижняя губа его вздрагивала, глаза сверкали, он рычал: «Так ему и надо, сучку! Мислюнген!» Его азарт возбуждал окружающих. Есть люди, которые вселяют спокойствие, он же обладал обратным даром — будоражил, флегматичные натуры вдруг приходили в волнение, его присутствие раскачивало самые инертные, вялые души.

В новой квартире была столовая и просторный кабинет у Колюши. Сюда обычно набивались гости. Колюша ходил из угла в угол и проповедовал, спорил, возглашал. В углах кабинета, там, где он резко поворачивался, скоро протерся ковер.

Точно так же он ходил спустя годы в Обнинске, а до того — на Урале. По этим знакомым мне квартирам я мог представить себе и обстановку его дома в Германии. Хотя ничего толком про обстановку, допустим, в Обнинске я бы рассказать не мог. Помню только стеллажи с папками, куда раскладывались оттиски. И все. Остальное было как-то стерто, обезличено. Дом Тимофеевых отпечатывался людьми, тем, что там делалось, что говорилось.

Мебель, какие-то картины на стенах, обои — все отходило в тень, становилось невидимым. Это был стиль Тимофеевых — безбытность, равнодушие к моде. Никто здесь не интересовался коврами, вазами, посудой, диванами. В квартире было необходимое, чтобы чувствовать себя удобно. Никому в голову не приходило искать стильную мебель, обновлять ее, загромождать жизнь какими-нибудь подсвечниками, креслами, торшерами. И многочисленные гости не видели отсутствия гарнитуров. Это не была бедность, которая бросалась бы в глаза несоответствием положению. Не было ни богатства, ни шика, ни художественного вкуса — ничего, что отвлекало бы или существовало самодовлеюще. Стул был всего лишь предметом, на котором сидели, не более того. Обит ли он тисненой кожей или дерматином — никто не различал. И прежде всего не различал сам Колюша. Так было и в Германии и в России, так было всегда. В сущности, он не менялся...

Однажды я спросил его:

— Какую эволюцию вы претерпели?

— Эволюцию? Боюсь, никакой эволюции у меня не было. Однажды я сам стал искать эволюцию в себе и не нашел. Даже неприлично как-то. Что ж я так живу неинтересно, что это за человек без эволю-

ции? Между тем после восемнадцати лет у меня никакой эволюции не происходило. А потом подумал: что делать, нет так нет, и хрен с ней, проживу без эволюции.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Родился еще один сын, Андрей, которого Колюша называл «личность чрезвычайно малозначащая», но произносил это с необычной для него нежностью. Фому между тем бранил нещадно за школьные промахи. «Глуп, туп, неразвит, разве это учеба, одна грусть и тоска безысходная!» — приговаривал он, ходя из угла в угол кабинета.

«Сколько вечеров провел я в этом кабинете, — вспоминает Олег Цингер, — и что за люди там только не перебывали! Старые друзья, малознакомые ученые, какие-то дамы, юноши, важные немцы, а под конец советские военные. Колюша то впадал в чрезвычайный шовинизм и чрезмерное православие, провозглашал, что самый вшивый русский мужичонка лучше Леонардо да Винчи и этого треклятого Гете (Гёте он всегда произносил как «Гоете»). То он доказывал, что немцы после русских самые лучшие, что на немца можно положиться, а что русский все проспит или пропьет. Из русских художников он более других любил Нестерова и Сурикова. Я предпочитал с ним на эту тему не спорить».

Спорить с ним боялись. И ученики и друзья. Он буквально сминал их. А между тем чего он жаждал, чего ему не хватало, так это оппонентов, сведущих, достойных противников.

В Советском Союзе на биологических школах, когда сходились вечером у костра просто так покалякать и начинались всевозможные его рассказы, рано или поздно раздавался вопрос про них, русских за рубежом, — как они там, кто они? Огромная эта первая волна русских людей — а было их около трех миллионов, оказавшихся за рубежом, — издавна привлекала, возбуждала особый интерес, были в нем тайная жалость и неосознанное родственное чувство — наши! Может быть, потому, что большей частью люди эти уезжали не по обдуманному собственному решению — их вытолкнули обстоятельства трагические, запутанные, о которых и знаем-то мы плохо. В эмиграции оказалось немало имен блистательных. Когда-то они составляли славу русской мысли, искусства, но и там, на Западе, таланты их большей частью не затерялись. Смутные слухи об их успехах доходили до нас редко, обрывками. Имена их вычеркивались, отношение ко всему русскому, что действовало за рубежом, было исполнено подозрительности.

Зубр рассказывал о них почему-то без охоты, хотя и благожелательно:

— Большинство никакой политикой не занималось и заниматься не желало. На всю жизнь они были напуганы всяческой политикой. Одно слово «политика» вызывало у них тошноту. Они старались где-нибудь пристроиться и вести незаметную, сытую, спокойную жизнь. Среди трех миллионов эмигрантов политиков было меньшинство. Более же всего было беженцев-трудяг...

Однажды он рассказал то, о чем мы знали совсем мало, а многие и вовсе слышали впервые:

— В девятьсот двадцать втором году — это неоднократно обвинялось — утверждали, что Ленин выгнал из России многих интеллектуалов. А Ленин — интереснейшая акция! — группе лиц, гуманитариев преимущественно, лично предложил: если вы отвергаете революции, можете уезжать. Понятно, что, скажем, философу-мистику, идеалисту в условиях диктатуры пролетариата и марксизма делать нечего... И многие уехали. Тем более голод, разруха...

Зубр называл Питирима Сорокина, Бердяева, Франка, Шестова, Лосского, Степуна, литературоведов, античников, журналистов... Это была группа человек в двести. Причем большинство из них вплоть до второй мировой войны жили в Европе на любопытном положении: они имели советские паспорта, числились формально советскими подданными без права въезда в СССР. Были три главных центра, где осели эти выехавшие: Берлин, Прага, Париж. В Праге большую роль сыграл так называемый Русский вольный университет, где однажды Зубр читал лекцию. Создали его вокруг кондаковского семинара. И он изложил целую повесть о Кондакове — академике, историке, блестящем специалисте по старой русской живописи, иконам и фрескам. Был он старик, умер в 1925 году, но успел при жизни наладить семинар, в который привлек лучших русских ученых за границей. Из этого семинара и организовали университет.

Вспоминал он о русских писателях, с которыми встречался или которых слушал, — Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тэффи, Алданове, далее шли уже совершенно незнакомые мне имена; также об ученых — Тимошенко, Зворыкине, Бахметьеве, Сикорском, Чекрыгине, Костицыне, художниках — Чехонине, Ларионове, Цадкине, Судейкине...

Называл он, например, Леву Ботаса, который был главным декоратором в берлинской опере, еще каких-то балетмейстеров, музыкантов, химиков, которых мы по невежеству своему и по скудости информации знать не знали.

Несколько лет назад я побывал на русском кладбище святой Жевьевы под Парижем. Выдался солнечный день теплой осени. Дорожки кладбища были аккуратно посыпаны красным песком. По дорожкам прогуливались аккуратные старички и старушки, тихо разговаривали. Впрочем, людей было мало, а вот знакомых имен вокруг было много. Я нашел могилу Бунина и его жены, затем Бориса Зайцева, артиста Ивана Мозжухина, писателя А. Ремизова, под деревянным крестом — художника Дмитрия Стеллецкого. Вместе с Иваном Шмелевым под одной плитой похоронена его жена Ольга. Стоял белого мрамора крест у искусствоведа Сергея Маковского — из семьи художников Маковских. Над могилой химика Алексея Чичибабина водружен его бюст из черного камня, у подножья в ведерке стояли свежие цветы. Здесь и мой любимый художник М. Добужинский. Над могилой Евреинова — медальон с его изображением, рядом — биолог К. Давыдов, художник К. Коровин... Вот где удалось свидеться с теми, о ком рассказывал Зубр. В маленькой прикладбищенской церкви, расписанной Альбертом Бенуа, кого-то отпевали. Рыжие листья бесшумно

кружились в токах солнечного тепла. Трава еще была полна жизни. Черные дрозды, опустив желтые клювы, семенили среди кустов. На этом кладбище примиренно сошлись обманутые и обманщики, беженцы и беглецы, те, кто мечтал вернуться на родину, и те, кто вспомнил о ней лишь перед смертью, люди разных убеждений, разной славы, но все они считали себя русскими.

Чичибабин в 1930 году, уехав за границу, там и остался. Несколько ранее другой замечательный химик, Ипатьев, послан был в заграничную командировку и не вернулся. Появился термин «невозвращенец». Уехал и не вернулся Феодосий Добржанский — один из создателей синтетической теории эволюции; уехал и не вернулся известный физик-теоретик Георгий Гамов, который, кстати говоря, предложил первую модель генетического кода. Таких случаев хватало, и относились к этому в те годы спокойно. Ныне эти невозвращенцы возвращаются — входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, о них пишут...

В Берлине белоэмигрантов и невозвращенцев жило много, и изолироваться от них Тимофеевы не могли. С годами русские стали стремиться в тимофеевский дом, прямо-таки льнули к Колюше со всей его и показной и внутренней русскостью. Вскоре это сыграло свою роль, обернулось непредвиденно драматично.

А пока жизнь в Бухе наполнилась. Олег Цингер видел домашнюю часть этой жизни, лишь догадываясь, как там, в лаборатории, бушует, клокочет темперамент его друга.

Бесполезно было уличать Зубра в противоречиях. Ругая все немецкое, он облеплен был немецкими друзьями. Ругая немецкую нацию, он защищал немецкую точность, порядочность, немецкую философию, почту, немецких инженеров, немецкие карандаши и еще множество немецкого. Правда, продолжал настаивать на том, что отдельно взятый немец хорош и годен к пользованию, вместе же собранные — ужасны, в большом количестве — невыносимы.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Наступил 1933 год, власть захватил Гитлер, и довольно быстро обстановка в Германии стала зловеще меняться. Однако менялась она прежде всего для самих немцев. Наверное, Тимофеевы пока еще ничего особенного не замечали. Бух был в стороне от событий, политикой Зубр не интересовался, а главное — ни его самого, ни его работ все происходящее ничем практически не коснулось. Он был советским гражданином и чувствовал себя независимо и непричастно.

«Летом мы вместе поехали в отпуск на Балтику, в Померанию, — вспоминает Олег Цингер. — Там мы сняли большой крестьянский дом с соломенной крышей. В одной половине поселились Тимофеевы, в другой — я с женой и малышом. Колюша вставал рано. Загорелый до черноты, в трусиках, с палкой, с детективным романом под мышкой, он отправлялся каждый день лежать голым в дюны. Сопровождать его было не принято. Иногда Колюша готовил для всех суп, кидал в огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса, томаты, все, что

было в доме. Кастрюля заворачивалась в одеяло до самого вечера. Вечером он сам разворачивал одеяло, разливал суп, все это молча, потом все с глубоким вздохом говорили: «Гениально!»

Иногда мы вместе «учиняли шпацир», как выражался Колюша. В один такой шпацир мы наткнулись на берегу моря на труп дельфина. Я захотел получить дельфиний череп. У нас был дорожный нож, и Колюша, присев на корточки, объявил: «Ну, вспомнянем анатомию» — и действительно очень ловко отделил от туловища голову дельфина. Потом мы ее выварили, и я получил чудесный дельфиний череп».

Немецкая интеллигенция далеко не сразу сумела понять бесчеловечную суть фашизма. Тимофеевы — тем более. Их куда больше беспокоили вести из Союза. С 1929 года там начались неприятности для биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четверикова, сам он был выслан в Свердловск. Передавали, что в вину ему, в частности, ставили Дрозсоор. Участились нападки на Н. К. Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и свои же биологи, подводя, разумеется, под критику идеологическую базу. Семашко был отстранен и послан на кафедру санитарной гигиены в МГУ. Кроме биологов доставалось и физикам, особенно теоретикам, которых винили в том, что они занимаются неизвестно чем, не помогают народному хозяйству.

В советских газетах и журналах сообщали, что известные заслуженные профессора поддались буржуазным влияниям, не тому учат молодежь, преподают оторванно от практики. Ученики отрекались от них. Передавали, что племянник энтомолога М. Н. Римского-Корсакова заявил, что с такого-то числа он не считает себя больше его племянником. Сперва громил Деборин, потом громили Деборина. Дискуссии заканчивались увольнениями. В письмах друзей из Москвы обо всем этом говорилось глухо, намеками. Появлялись проработочные статьи, фельетоны в газетах. Месяц за месяцем проработки ожесточались. Начались аресты. Разоблачали — слова-то какие появились! — механицистов, органистов. Отозвали из Буха Слепкова, в Москве его арестовали.

Приходили журналы с материалами дискуссий, там красовались бредовые выступления Презента и прочих. Печатали покаянные письма авторитетных ученых... Творилось черт знает что, и все это зловеще нарастало.

Примерно в это время Колюша стал получать предложения вернуться — то в Белую Церковь возглавить Институт генетики сахарной свеклы, то в Пушкин под Ленинградом. Он сообщал обо всех предложениях своему учителю Кольцову, спрашивал совета. Тот через друзей — шведа Кюна, физиолога растений Макса Хартмана — отвечал: неужели вам не известно, что у нас делается? Сидите там и работайте. Командировка у вас на неопределенное время. Что вам неймется?

В другой раз он предупредил еще яснее: по приезде вы наверняка с вашим характером вляпаетесь в какую-нибудь скандальную историю и угодите на Север. И всем вашим друзьям достанется.

Существует легенда: когда Н. К. Кольцов, будучи в последней своей

заграничной командировке, встретился с Тимофеевым и посоветовал ему то же самое — наберитесь терпения, пока страсти у нас улягутся, не суйтесь под горячую руку,— то Колюша очень сетовал на то, что охота домой, в Москву, к тому же там зимние вещи остались, а здесь денег нет купить. На это Кольцов снял с себя шубу и отдал ему.

Сам я от Зубра ничего подобного не слыхал, думаю, что это одна из сказок, какие о нем сочинялись. Разные люди повторяли мне эту историю в разных вариантах — шуба была лисья, воротник, конечно, бобровый, старорежимная шуба, хорьковая... Легенда, самая невероятная, многое говорит внимательной душе. «Хорошая история необязательно должна быть истинной, достаточно правдоподобия,— повторял Зубр слова Нильса Бора.— Нужно ли слишком строго следовать за фактами?»

Официально он имел право оставаться за границей. По-прежнему он считался в командировке вместе со своей семьей, у них были советские паспорта. Институт числился германо-советским. Он мог переждать.

В 1935 году пришло известие, что президентом ВАСХНИЛ вместо Н. И. Вавилова назначили неведомого Зубру А. И. Муралова (замнаркома земледелия, спустя два года, в 1937-м, его расстреляли как врага народа).

И до этого нападки на Н. И. Вавилова были не редки, после же снятия гонения на него усилились.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Всякий раз, приезжая в Германию, Николай Иванович Вавилов останавливался у Тимофеевых. И в Америку, и в Италию, и в прочие страны Европы путь тогда лежал через Берлин. Оба Николая — Николай Иванович и Николай Владимирович — имели здоровье богатырское, кроме того, выработали в себе одинаковую способность мало спать, так что могли трепаться ночи напролет. Под утро заснут часа на три-четыре и встанут в восемь свеженькие, готовые к работе.

— Я бывал полезен Николаю Ивановичу в смысле корректуры его немецких докладов. Из Берлина ему приходилось ездить в Халле — крупный центр прикладной ботаники, сортоводства. Там он выступал, доклады писал по-немецки, и их приходилось малость подправлять.

Тут Зубр отвлекался, вспоминал дом Генделя в Халле, собор, узорчатые его своды и отлитую из металла фигурку Христа, падающего с распятия...

Дружба с Вавиловым, начатая в Москве, не прервалась с отъездом Колюши, разлука укрепила ее. Издалека как бы лучше виделось и ценилось. Н. И. Вавилов предстал перед Тимофеевым уже не в российском, а в европейском масштабе. Оказалось, это гигантская фигура. Через четыре года, на VII генетическом конгрессе в Эдинбурге, куда Вавилову не разрешено было поехать, хотя он был избран президентом конгресса, профессор Крю вышел на сцену и, прежде чем на него надели мантию президента, сказал: «Вы пригласили меня играть роль, которую

так украсил бы Вавилов. Эта мантия мне не по плечу. Я буду выглядеть в ней неуклюже. Вы не должны забывать, она сшита на Вавилова, куда более крупного человека».

Эта мантия не была никому по плечу в том, 1939 году, кроме Вавилова.

Тимофеев тянулся к нему по-детски, с несвойственной ему нежностью, как к старшему брату. С Вавиловым его сближало многое: Москва, генетика, друзья, вплоть до любви к живописи. Вавилов обходил все крупные музеи Европы, знал классику и, что самое дорогое для Тимофеева, имел личные пристрастия и личное отношение ко многим картинам и художникам: одни волновали душу, другие — ум, третьи отвращали. Такое же пылкое отношение было и у Колюши. Они то и дело схватывались, не уступая друг другу. Несмотря на трепет перед Вавиловым, Колюша бушевал, вопил, но того никаким голосищем не проймешь. Они были представителями исчезнувшего слоя русской интеллигенции, из тех, кто умел вырабатывать собственное, не экскурсионное отношение к искусству. Их не водили по музеям. Сами бродили по картинным галереям, отыскивая интересное для себя, часами разглядывали и так и этак, определяя силу, мастерство, тайну художника. Они листали книги искусствоведов, проверяя себя, всерьез переживали, обнаружив свою слепоту. Суждения их часто бывали наивны, грубы, вкусы дурны. Олег Цингер возмущался высказываниями Зубра о некоторых картинах. Другой сотрудник Зубра, Гребенщиков, морщась, рассказывал мне, как залихватски судил шеф о французской опере, хоть уши затыкай. Нелепо, зато по-своему, незаемно. И книги читали, классику — опять-таки для себя. Читали, вчитывались, запоминали, цитировали. В их речи то и дело звучали строки, фразы, стихи.

Зубр подмигивал:

Нынче я все понимаю,
Все объяснить я хочу,
Все так охотно прощаю,
Лишь неохотно молчу.

И вдруг опасно щурился, заметив на моем лице неуверенное движение.

— Чьи стихи?

Он не понимал, как можно не знать Некрасова, Лермонтова, как можно не помнить Грибоедова, Гоголя, не говоря уж о Пушкине.

К тому же они владели латынью. А латынь давала знание корней большинства европейских языков. Поэтому, не тратя особо времени на грамматику, они говорили по-французски, по-английски, понимали кое-как по-итальянски.

— ...Вавилов отличался большой простотой, он не любил генеральничать,— продолжал Зубр.— Относился к людям без всякого чинопочитания, одинаково разговаривал и с министром, и с академиком, и со студентом.

Вдруг он расхохотался, вспомнив интересный случай. Когда Герман Мёллер, один из основателей радиационной генетики, приехал в Со-

ветский Союз, Вавилов решил его и кого-то еще из иностранцев прокатить по разным республикам. Летели они из Баку в Тифлис. Что-то их задержало в пути, грозу, что ли, пришлось обходить, только летчик шепотком сообщает Николаю Ивановичу: «У меня бензина не хватит. Мы погибнем, сесть-то негде — горы. В Баку обратно тоже не долетим». Вавилов сообщил об этом Мёллеру. Тот вытащил записную книжку, последние распоряжения записывает. А Николай Иванович сел поудобнее, ноги вытянул: «Ничего не поделаешь, самое время отдохнуть и подремать!» Взял и задремал. Оказалось, что бензина тютелька в тютельку хватило до какого-то предтифлисского аэродрома. Вот тогда-то родилась у них формула: жизнь тяжела, но к счастью, коротка!

— ...Не тонуть в многообразии — вот его редкий дар. Вы, специалисты, не представляете себе того огромного материала по изменчивости, которым владел Николай Иванович. И вот не тонуть в этом огромном материале, найти какие-то генетические закономерности за этим многообразием — дар особый, им он владел в совершенстве. Я могу об этом судить потому, что мне пришлось заниматься системной изменчивостью и я представляю способности, какие надо было иметь молодому Вавилову, чтобы не захлебнуться, как захлебывается большинство. На многих миллионах экземпляров культурных растений — миллионах! — увидеть закономерность...

Это отрывок из его лекции о Вавилове. Читал он ее на какой-то биошколе, и кто-то, к счастью, записал ее на пленку.

К счастью потому, что свои лекции он готовил в уме, не писал никаких тезисов. Лекция его была лекцией, доклад докладом, не рукописью будущей статьи, как это принято ныне. «Ибо не пропадать же добру», — пояснил мне молодой доктор наук, считая, очевидно, всякое свое выступление большим добром.

Жаль, что лекции его, посвященные Нильсу Бору, Макс Планку, Георгию Дмитриевичу Карпеченко — ленинградскому генетику, Хаксли, Кольцову, остались незаписанными. Жаль! Он умел как никто делать эти портреты. Кассета с лекцией о Вавилове дошла до меня, будучи передана через многие руки. Радоваться и удивляться следует тому, как много людей понимали уникальность слышанного и записывали. Среди его учеников, сотрудников, слушающих журналистов, студентов часто появлялся кто-то с магнитофоном. Благодаря стараниям С. Э. Шноля в Пущине скопилась большая коллекция записей — двадцать пять километров пленки, десятки бобин. Обнаружилось собрание рассказов, записанных специально сотрудниками МГУ. Также десятки кассет. Надеюсь, что где-то еще хранятся записи его рассказов. Если все это перевести на бумагу — получится собрание сочинений. Прослушать весь этот материал у меня не хватило сил, я почувствовал, что дурею, гибну, тону в этом обилии мыслей, воспоминаний, имен. Я не представлял, сколько может вместить тимофеевская память. Пришлось ограничить себя. Конечно, остались пробелы. Но чем больше я привлек бы материала, тем больше было бы пробелов. Биография никогда не бывает полной.

Те, кто не записывал, — запоминали. Иногда слово в слово. То есть тоже как бы включали некое запоминающее устройство.

В сборе материала для этой повести участвовали люди из разных стран, все считали себя обязанными помочь мне. Приезжали из Москвы, из Обнинска, Игорь Борисович Паншин прилетел из Норильска. До этого он прислал мне полсотни страниц писем-воспоминаний. Люди откладывали свои дела, разыскивали свидетелей, знакомых Зубра, записывали их воспоминания. Одним хотелось восстановить справедливость, другие считали себя обязанными Зубру, третьи понимали, что это История. Встреча с Зубром оказывалась для большинства самым ярким событием их жизни.

Зубр хорошо запоминался. Его необычность возбуждала память, люди ощущали значение этой фигуры, а вместе с тем — и свою включенность в Историю, чувствовали себя свидетелями.

— ...Конечно, многое Вавилов получил от Бэтсона, который был одним из самых образованных генетиков. В восьмидесятые годы он выпустил замечательную книгу «Изменчивость животных» — толстенная штука, в которой собран громадный материал по изменчивости морфологической и физиологической. Читать ее нельзя, ею можно пользоваться. Вообще читать научные книги не стоит, ими надо пользоваться. А читать надо Агату Кристи...

Он называл ее не Агатой, а Агафьей, так же как Ганса Штуббе он называл Ванечкой Штуббе, Бора — Нильсушкой.

— ...Кое о чем из бесед с Бэтсоном мне рассказывал Николай Иванович. Бэтсона я тоже знал. Мне везло в жизни: я знал всех корифеев физики, математики, создавших новое представление о картине мира: Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шредингера, Борна, Паули, Лауэ, Дирака, физика Йордана, математика Винера, Бриджеса, Мёллера, Бернала...

Он мог бы продолжать и продолжать. Насчет всех корифеев — не преувеличение. Его общительность, его слава за восемнадцать лет заграничной жизни свели его со многими учеными. К тому же он ездил по всяким семинарам, университетам, конгрессам, посещал лаборатории и институты, читал доклады. Непонятно, конечно, как это совместить с тем, что все эти годы были плотно заполнены, утиснуты научной работой — не теоретической, не размышлениями о том о сем, не вычислениями, а плотной экспериментальщиной: сидением за микроскопом, возней с посевами, потом облучением, возней с дрозофилами, подсчетами, астрономическими подсчетами, когда тысячи и тысячи мушек надо перебрать руками. Требовалось безвыходно торчать в лаборатории. Откуда же набралась эта уйма знакомств? Бесчисленные разговоры происходили не просто так, с каждым было связано что-то важное. Как это все уместилось — понять не могу, могу лишь представить себе появление его в любом обществе: сразу фокус внимания переносился на него. Он перетягивал интерес к себе. Он ошеломлял. Ему необходимо было освободиться от накопленных мыслей, идей, и он выплескивал их, не заботясь об аудитории. Этот грохочущий взлохмаченный зоолог, «мокрый зоолог», как он рекомендовался, обла-

дал той чудинкой, сумасшедшинкой, которая позволяла ему увидеть в чреве природы то, что не видели другие. Подозреваю, что не он стремился знакомиться с корифеями — они знакомились с ним. Все они воспринимали мир чуть сдвинуто, иначе, чем обычные люди. Он был из их породы. Но кроме того, он умел об этом рассказать сочно, страстно. То, над чем он бился, разумеется, было наиважнейшим, решающим во всей науке. Известный немецкий физик Роберт Ромпе вспоминал, какой сенсацией были лекции Зубра тогда, в Германии тридцатых годов.

— ...Бэтсон меня особенно не интересовал. Он был уже стар и слаб. Вот кто был до известной степени учителем Вавилова — это наш географ и биолог Лев Семенович Берг. Он был немного старше Вавилова. От Берга и Вернадского, отчасти от Докучаева он получил изумительное чувство Земли как планеты, как среды обитания, как биосферы. Практическая часть его работы состояла в том, что мы будем жрать в двадцать первом веке...

В его лекциях хороши отступления от темы. Порой его уводило бог знает куда, и в этих свободных завихрениях рождались неожиданные для него самые идеи, мысли парадоксальные, всплывали истории из его собственной жизни и жизни известных людей, исторические события, о которых нигде не написано.

Например, упомянув прославленного английского естествоиспытателя Джона Холдейна, он рассказал комическую историю о том, как Холдейн участвовал в первой мировой войне рядовым, а кончил майором, заработал крест Виктории. Холдейн так любил воевать, что просился туда, где было наступление. Сидеть в окопах было скучно, он приставал к начальству, чтобы устроили атаку: «Хоть бы вылезти из окопов, подраться без всякой стратегической надобности!» После войны кто-то из английских военных умников додумался сбрасывать с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были пробивать стальные шлемы. Для защиты были сделаны специальные металлические колпаки. Холдейн взялся испытать эти колпаки. Накрывался им, и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный, Холдейн чуть не оглох...

Ни в одной из биографий Холдейна нет этой истории, рассказанной самим Холдейном Тимофееву за каким-то обедом.

В той же лекции о Вавилоне его вдруг вынесло на биохимию:

— Биохимией называют у нас те случаи, когда скверные химики занимаются грязными и плохими работами на малоподходящем для химии материале. Не это биохимия. Биохимия — это физико-химический структурный анализ активных макромолекул. Вот что такое биохимия, а не те случаи, когда девчонка, кончившая университет, выучилась определять крахмал в картошке, мать честная!..

Его стихия — спор. Лекция, которая лишена живого диалога, меньше привлекала его. В последние десятилетия с ростом его авторитета, научного и человеческого, возможности спора и дискуссии суживались. С ним боялись схватиться.

— ...В любой эпохе взлетов имеются свои великие люди, то есть люди, по масштабу явно превышающие уровень обыкновенного. Культурные эти взлеты и накопление великих людей кажутся нам случайными. Может быть, это отражение сверхстатистической закономерности, позволяющей почти сливаться скоплениям культурных достижений и скоплениям видимой формы — трудов, которые остаются после великих людей. Русская наука — часть большого европейского комплекса, но в то же время — автономное явление внутри этого комплекса. Если строить систему культурных типов человечества, то в большом типе европейской культуры будет и русский тип. С конца восемнадцатого века началось бурное взаимодействие русского культурного типа и европейского культурного типа. Оно протекало не мирно, что сказалось и в языке. Русский язык был наводнен таким количеством иностранных слов, что русские люди понять друг друга не могли, говоря по-русски. Может, этим объясняется традиция перехода русской интеллигенции на французский... Затем русская культура пережила своеобразный ренессанс, который затронул науку. Произошло слияние русского культурного центра и европейского. Русские физики приняли активное участие в перефасонивании физической картины мира от старой, классической картины с абсолютным детерминизмом — к современной, значительно более свободной, интересной, богатой различными возможностями как теоретическими, так и практическими... Русский культурный центр создал вспышку великих русских ученых в конце девятнадцатого — начале двадцатого века. Среди них учителя Николая Ивановича Вавилова как фактически, так и теоретически. Это — основатель современного почвоведения Докучаев; основатель всей агрохимии, не только нашей — а наша агрохимия одна из великих, — Прянишников. И, наконец, непосредственный учитель, с которым Николай Иванович дружил, перед которым он преклонялся, и я преклоняюсь перед ним, один из величайших ученых нашего века — Владимир Иванович Вернадский... К сожалению, Вавилов сделал не все, что мог, — слишком мало жил. Математик за такой короткий срок жизни может сделать много, для полуописательных, полуэкспериментальных наук требуется время. В этом смысле Вавилову было дано мало времени...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Замечательных людей кругом него было много. Замечательных биологов, физиков, химиков, математиков. Он питал слабость к талантам. К талантам и красоте. Оба эти качества всегда изумляли его, в них было торжество природы. Нечто божественное, необъяснимое. Выражение «божья искра» стоило того, чтобы в него вдуматься. Частица чуда. Нечто из высшей материи, нечто таинственно-прекрасное, залетевшее в обыкновенный человеческий организм. Значит, не свойственное нормальному разуму, а постороннее, чего никак не достичь, не вырастить изнутри ни трудом, ни воспитанием. Всплеск наивысшего, вспышка, озарение, при котором мы можем увидеть что-то иное...

Восторг перед талантом, слабость к нему — да, но не преклонение. Преклонялся он всего перед одним человеком, с которым судьба сводила его дважды подолгу в Берлине. Это был Владимир Иванович Вернадский. Все связанное с Вернадским было для него свято. Никак не думалось, что он способен на такое почтительное, даже трепетное чувство. Он и рассказать-то о нем не сразу решился. Начинал с подступами, издалека и долго не мог добраться, словно бы отступая перед этой скалой. То примется за «вернадскологию» — так он назвал учение, которое развивал в последние годы, — то про сына Вернадского... Будучи в США, он уговорил Лельку, и они специально поехали в Йель, чтобы познакомиться с сыном Вернадского, который работал профессором Йельского университета.

Георгия Владимировича Вернадского они звали, как звал отец, — Гуля. Про Гулю Владимир Иванович много рассказывал Зубру, будучи в Берлине. Гуля был деканом философского факультета, читал курс русской истории и выпустил монографию по русской истории на английском языке. Зубр прочитал вышедшие тогда три тома и горячо их хвалил, заверяя, что В. И. Вернадский тут ни при чем, это не потому, что автор — его сын, а потому, что там рассматривается развитие Российского государства с IX века как наследника степных империй, в число которых входили Скифская и другие... И потому еще, что издан этот труд был «евразийцами», которых, конечно, Зубр знал, которые у него бывали — Трубецкой, Савицкий, Сувчинский — и о которых я, конечно, не имел ни малейшего понятия.

— Ну как же так, — укорял Зубр, — а еще писатель. Ведь в евразийском издательстве много занятных книг вышло. Например, жизни русских святых, история иконописи...

Оказывается, что о Трубецком он даже напечатал некролог в каком-то немецком журнале. Он знал и про Сергея Трубецкого, выборного ректора Московского университета, которого выбрали в 1905 году и он вскорости помер, и о Евгении Трубецком, интересном философе, с которым Зубр встречался еще в Москве. Был этот Трубецкой последователем Владимира Соловьева, другом его. А племянник — Николай Трубецкой, один из создателей русской фонологии, с разрешения Ленина уехал. И тут следовал новый рассказ о том, как уезжали гуманитарии, которые считали, что не могут быть полезными Советской власти. Им было разрешено в течение полугода связаться с какой-нибудь страной, которая их примет. Они получали выездные советские паспорта, долгое время жили по ним, а потом получали так называемые нансеновские паспорта, становились подопечными Фритьофа Нансена...

Все это были истории и личности прославленные, но нам неизвестные, и никто не прерывал Зубра в его отступлениях. Каким-то образом от Трубецких он перескочил на Мережковских, с которыми был знаком, от них — на Брема.

Так что к Вернадскому мы возвращались не скоро.

По словам Зубра, Владимир Иванович Вернадский — явление исключительное, чуть ли не идеальный герой. Есть люди хорошие, есть очень хорошие, и есть некоторое количество замечательных лю-

дей, редко попадаются весьма замечательные, и, наконец, среди весьма замечательных людей может попасться совершенно замечательный человек. Вернадский, конечно, был совершенно замечательным человеком. Классификация весьма туманная. Однако сделаем поправку на то, что Зубру встречалось больше замечательных и весьма замечательных людей, чем кому-либо из нас. Ему было с чем сравнить и из чего выбирать.

Зубр не понимал, почему ни в Москве, ни в Ленинграде не устанавливают памятник Вернадскому. В школах должны были проходить Вернадского, должен быть музей Вернадского, должна быть премия Вернадского.

Он никогда не мог в точности определить — за что же он преклонялся перед Вернадским:

— ...вселенский масштаб мышления, космический человек.

— ...интересовала всякая всячина: живопись, история, геохимия, минералогия.

— ...был ученым высшего типа, не лез в академики, в начальники.

— ...вокруг Вернадского никогда не было ни шума, ни крика, никто не нервничал, политикой после революции он не занимался. Его либерально-демократическая натура объединила многих порядочных людей. Сволочи вокруг него не было, не приживалась. Правда, тогда среди ученых не было столько шушеры, сколько сейчас.

— ...в Берлине выступали Ферсман, Кольцов, Луначарский, Костычев, Платонов — замечательный русский историк, были крупные медики. Немцы, однако, более всех восторгались Вернадским. Он производил какое-то умиротворяющее и возвышающее впечатление. Он заставлял думать над главными проблемами бытия Земли и Человека.

— ...принял приглашение и уехал читать лекции во Францию. Вернулся через несколько лет, когда захотел, в 1926 году. Вернулся без всяких скандалов, без покаяний, как свободный человек.

— ...за границей делал что хотел: читал лекции о чем хотел, например в Сорбонне — геохимию.

— ...в Берлине читал лекцию на хорошем немецком языке. Знал французский безупречно, английским не владел, зато хорошо говорил по-русски. Тогда это была не редкость. Сейчас в пределах обширного нашего отечества хорошо владеющие русским языком — счастливая находка. У него же был вкуснейший русский язык...

О чем они говорили? Зубр планировал тогда начало больших экспериментальных работ. Он решил применить меченые атомы для выяснения коэффициентов накопления растениями радиоизотопов: как накапливаются, как распределяются, перераспределяются, словом, каковы их судьбы в системе растение — почва. Работу эту Зубр окрестил «вернадскологией». Они обсуждали проблемы биосферы, взгляды Вернадского на роль живых организмов на планете Земля. Было у них несколько табу. Например, запрещалось всерьез разговаривать о происхождении жизни на Земле. Табу это Зубр сохранил до конца жизни. Я слышал уже в семидесятых годах, как в ответ на приставания какой-то дамочки о происхождении жизни на Земле — как, мол, это все было? — он набычился, засопел, зафыркал, а потом, пересилив себя

глуповато моргая, развел руками: «Я тогда маленький был, ничего не помню.— Потом утешающе добавил: — Спросите у Опарина, он знает точно».

Вернадскому более всего нравилась теория вечности жизни Аррениуса. Он увлеченно рисовал перед Зубром картину Вселенной, где носятся зародыши микроорганизмов и, найдя на какой-нибудь планете подходящие условия, колонизируют ее, начинают там эволюцию. Так представлял себе Сванте Аррениус, знаменитый шведский физик и химик, происхождение жизни на Земле. Она появилась из Вселенной. Жизнь во Вселенной вечна в том смысле, как вечна Вселенная. Жизнь является частицей мирового добра. По ряду философских и религиозных воззрений абсолютное добро — это вся Вселенная. Абсолютного зла нет, а есть только абсолютизированное зло какого-то падшего существа, в разных религиозных системах обозначаемого различно.

Зубр всегда жалел, что не успел встретиться с Аррениусом, ибо весьма его уважал.

Шли у них с Вернадским разговоры о пространстве и времени, об относительности времени. Тогда как раз начинались у Бора и Дирака споры о возможности квантования пространства и времени. Масса была квантована, энергия квантована, а пространство и время вроде оставались непрерывными и подчинялись классической механике, а не квантовой.

На эту тему Зубр любил потрепаться, так сказать, с общеполитической точки зрения, онтологической, а не физико-математической. Он считал, что есть кванты времени и кванты пространства.

Спустя тридцать пять лет — и каких лет! — он почти дословно воспроизводил их диалоги. Суть сводилась к тому, что известно химическое и биологическое ничто. Он пояснял мне: когда мы умираем, то как живые существа перестаем быть. Это биологическое ничто. Химическое ничто — торричеллиева пустота, можно получить пространство, в котором не останется ни одной молекулы.

Усилия, которые отражались на моей физиономии, действовали на него удручающе.

— Это, конечно, представить себе трудно,— утешал он.— Пока что это чистая фантастика.

Фантастику в литературе, жанр научной фантастики они оба дружно не любили. Детективы — другое дело, без детектива умственная жизнь зачахла бы. Сами же они фантазировали вовсю, и свою фантастику они считали Научной, Плодотворной, Законной, то есть это было Непонятное с точки зрения известной картины мира. О таких вещах порассуждать — самое милое дело.

Ноосфера в эпоху ядерной энергии требует перестройки сознания человека. Уменьшается «я», увеличивается «мы». Думать надо о «мы». Не «они» и «мы», а только «мы». Вся ноосфера — это «мы».

«Быть или не быть» Гамлета касалось его одного, принца Датского. Теперь это касается нас всех. Ядерная опасность, биологическая и прочие соединяют человечество общим страхом, зависимостью...

Хотелось бы подслушать разговор этих двоих, полюбоваться, как

гуляют они по аллеям парка в Бухе. Всегда есть что-то волнующее в свиданиях великих: Бетховен и Гёте, Толстой и Горький, Эйнштейн и Бор. Их притяжение, их отталкивание. Причем чаще — отталкивание. Необъяснимое для простых смертных нежелание общаться, даже встретиться. Помню, как, узнав, что Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой очутились однажды на лекции в одной аудитории, видели друг друга и не стали знакомиться, я долго мучился этим несостоявшимся свиданием.

Иногда я люблюсь на старую фотографию. Говорят, она была сделана в Калифорнии, в Пасадене. На ней трое — посередине Томас Гент Морган, по бокам Николай Иванович Вавилов и Зубр. Классики, великие и тому подобное. Они идут размашистым шагом, палит солнце, они ни на что не обращают внимания, занятые своим разговором, они возбуждены, почти кричат и смеются при этом, дружба и влюбленность в жизнь переполняют их. Томас Гент Морган много старше своих спутников, но тут это не чувствуется, такие они стройные, сильные все трое. Если бы можно было услышать их голоса!

Любовное содружество Зубра с Вернадским основано было на том, что Зубр, развивая взгляды Вернадского применительно к своим работам, громогласно признавал их как заповеди и печатно закрепил свое признание, называя свое направление «вернадскологией».

Опыты ставились в простейших условиях: взаимообмен меченых атомов между высеваемыми растениями и грунтом осуществлялся в дощатых ящиках и в проточных бачках. Бачки заряжались ящиками с землей, с одного конца пускали раствор радиоизотопов, и все компоненты можно было мерить на выходе, устанавливать миграцию тех или иных изотопов. Только сейчас ясно, насколько вперед смотрел Зубр: на этих работах строится защита от радиоактивности.

Существуют разделы химии, физики, где действительно нужна совершенная и поэтому сложная аппаратура. Но уж слишком долго у нас, да и во всем мире, считал Зубр, повсюду — надо, не надо — стараются нагромоздить побольше аппаратуры. Многие молодые уверены, что чем дороже аппаратура, которой они пользуются, тем значительнее их наука. Одни искренне в это верят, другие же прикидывают, что чем больше они денег истратят на установки, тем начальство более зауважает их работу.

— Если же делом мерить, то чем сложнее и дороже аппаратура, тем глупее наука, которая этими аппаратами проделывается. — Зубр щурился и улыбался улыбкой заговорщика. — Кнопка «стоп» — самое мудрое техническое изобретение. Я ее в каждом приборе прежде всего ищу. Аппаратура, — ворчал он, — должна быть оптимальной, а не максимальной точности.

Со второй половины тридцатых годов контакты с Вернадским оборвались. Работы — «вернадскология» и «вернадскология с сукачевским уклоном» — развивались, опыты ширились, но обсудить их с Владимиром Ивановичем не было возможности.

Никто из них понятия не имел, куда приведет, чему послужит эта работа всего через каких-нибудь десять лет. Так же как физики из

Института Бора не знали, что из их обсуждений, подсчетов, прикидок, из всего веселого трепа через несколько лет родится атомная бомба, а работа Зубра и его коллег послужит биологической защите от радиации, от последствий бомбы. И те и другие находились в счастливой поре неведения, когда наука, которой они занимались, выглядела чистой, свободной от властей, промышленников... Одна святая любознательность двигала умами физиков той золотой поры.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Святая любознательность сблизила в те годы физиков с биологами. Физики-теоретики потянулись к биологии, к физическому постижению жизненных явлений. Биологи еще со времен кольцовских работ пытались осмыслить физико-химические проблемы живой клетки. В 1927—1928 годах Кольцов выступал с докладами на съездах о физических и химических основах биологии, дал теоретическую схему физико-химической структуры хромосом. В отличие от западных генетиков Зубр был готов к интересу, который пробудился у физиков к биологической проблематике. Когда он свернул к физикам, все боялись, что он свернул в сторону от дороги. Оказалось, что сюда и пошла дорога.

Вместе с Дельбрюком он стал ездить к Бору.

— Нильсушка Бор, по-моему, был умнейший ученый двадцатого века. До сих пор никого нет умнее и крупнее его в физике. А уж о добропорядочности и говорить нечего. Добротный человек во всех смыслах.

Нильсушка — это не фамильярность, а приступ нежности, и Дарвин у него Карлуша, таков стиль той копенгагенской жизни с ее системой взаимоотношений. Многое в ней уже неуловимо.

Будучи в Копенгагене, я отправился в Институт Бора. Просто взглянуть на это место. В Копенгагене для меня существовали прежде всего два человека: сказочник Ганс Христиан Андерсен и физик Нильс Бор. Все, связанное с Андерсеном, показывали наперебой, а где был Институт Бора, знали немногие. Он стоял в глубине улицы, темно-серый трехэтажный дом, крытый черепицей, — такой, как на всех старых фотографиях. Мало что изменилось здесь с довоенных лет. Я узнал его сразу, хотя никогда здесь не был. Дом не имел архитектурных примет, скромная невидная постройка, никакого сравнения с размахом застекленных объемов современных физических центров. Я вошел в подъезд, спросил, можно ли посмотреть кабинет Нильса Бора, что для этого нужно. Привратник пожал плечами — ничего не нужно, разве что подняться по лестнице. Лестница была как лестница. Я походил по коридорам мимо комнат, где работали нынешние физики, листали журналы, стучали на машинках. Никто меня не останавливал, не проверял документов. Наконец я набрел на кабинет Бора. В нем тоже не было ничего мемориально-торжественного. Ни экспонатов, ни надписей. Обыкновенный кабинет. Стоял письменный стол и стулья. Разве что на стенах висело множество групповых фотографий: боровская школа, коллоквиумы разных лет. Бор в центре,

вокруг него ученики и коллеги. Сперва молодые, неузнаваемые. Потом, от снимка к снимку, черты этих людей становились знакомее и наконец превратились в портреты из моих институтских учебников. Канонические портреты всем известных классиков. Великие творцы современной физики. Маги всемогущей науки. Авторы уравнений и формул. Атомной бомбы. Атомной энергии. Теории частиц меченых атомов. Изотопов, ускорителей...

То был круг людей, которые когда-то привлекали меня. Они должны были изменить мир к лучшему... Теперь я смотрел на них без восхищения. С некоторой жалостью и разочарованием. Памятники несостоявшихся надежд? Соавторы способа ликвидации человечества? Жертвы или герои? Я сидел один в этом кабинете, пытаюсь разобраться в своем чувстве. Достойны они любви или проклятья? А сам по себе это был милый мемориальчик, галерея исторических персонажей, может быть, лучшая страница истории физики, еще невинная, полная пылких утопий, силы, веселых розыгрышей.

Зубр знал их всех, дружил со многими, прогуливался, выпивал, трепался. Он-то не был застеклен от меня. Он здесь бывал, здесь рокотал его голосище, гремел его смех. Он связывал нас с этим знаменитым местом, вознесенным на пьедестал истории.

Со вкусом и хрустом поедали они яблоко познания. Но недолго. Им не удалось насладиться его чистым вкусом. Война вытащила их на передний край, связала с проклятой бомбой, развела по разным сторонам фронта. Одни уехали в Америку, другие — в Германию. Политика грубо вмешалась в судьбу почти каждого, ткнула в сделки, и Зубр не избежал общей участи. Я увидел его долю не исключительной, в ней было нечто общее, сходное с другими, с теми, кто стоял рядом с ним на этих старых снимках.

—...Собирались крупные теоретики со всего мира на боровский кружок потрепаться. Приезжали только те, кого приглашал Бор. Я тоже такой порядок перенял. От пятнадцати до двадцати пяти человек у нас собирались. Больше-то интересных не собрать. А у Бора я с тридцать третьего года бывал постоянно...

Непросто было разыскивать его на некоторых фотографиях. Я привык его видеть отдельно или в центре. А тут он стоял позади, в рядах, правда, ряды эти сплошь из классиков, золотые ряды. В те годы большинство из них не были увешаны медалями, награждены званиями, лауреатством. В этом доме не принято было считаться с блестящей мишурой славы. Нобелевский лауреат или аспирант — один черт, важно, как ты соображаешь и что делаешь. Это была хорошая школа, она закалила Зубра. Спустя тридцать лет выяснилось, что у Зубра не накопилось никаких чинов. По старинной табели о рангах он находился внизу, чиновник XIV класса — фендрик, коллежский регистратор. Труды имелись, имя было, а чинами не вышел. Специалисты чтили, но чины и звания зависят не от специалистов.

Джеймс Чедвик, тот, который рассчитал критическую массу урана, приятель его Патрик Блэкетт, тоже нобелевский лауреат, тоже ученик Резерфорда, француз Пьер Оже, физик Перрен — всех их вовлек Тим в круг своих увлечений.

Боровский коллоквиум был физическим, в нем развивалась современная теоретическая физика, создавалась новая картина материи. Генетики и те физики, которые вкусили сладость проблем биологических, хотели разговаривать, не мешая чистым физикам. Они решили затеять свой треп. Кружок их стал быстро расти. Из Англии приезжал замечательный цитолог Дарлингтон, из Франции — Фрэнсис Тора, биохимик Рапкин (как называл его Зубр, душа Рапкин), Борис Эфрусси, биолог, который занимался культурой тканей, из Италии Андриано Буццати Траверзо, Эдоардо Амальди, из Швеции Густафсон, цитолог Касперсон, из Норвегии Отто Лукс, из Германии цитолог Ганс Баур, Ганс Штуббе, затем физик Циммер, Дельбрюк, Гутман — «настоящий биохимик, а не просто скверный химик». Был там Астбюри, так называемый текстильный физик... А вот Ферми, знаменитого Энрико Ферми, обошли приглашением; почему-то Зубр отзывался о нем плохо...

Имена эти вошли в энциклопедии, в словари, они составляют славу своих народов так же, как художники, поэты, музыканты, ибо кем прежде всего гордятся нации, как не художественными и научными гениями?

— ...Наш коллоквиум был организован, как я организую все свои коллоквиумы: на каждом собрании назначался «провокатор». Задача его — спровоцировать дискуссию. Он кратко, почти афористично и обязательно с юмором формулировал проблему, чтобы позадористей, чтобы не серьезно. Серьезному развитию серьезных наук лучше всего способствует легкомыслие и некоторая издевка. Нельзя относиться всерьез к своей персоне. Конечно, есть люди, которые считают, что все, что делается с серьезным видом, — разумно. Но они, как говорят англичане, не настолько умны, чтобы обезуметь. На самом же деле чем глубже проблема, тем вероятнее, что она будет решена каким-то комичным, парадоксальным способом, без звериной серьезности...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Юмор был отдушиной, спасением от той наружной жизни, в которую они попадали, покидая стены института. Фашизм становился бытом. Портреты фюрера, марширующие отряды наци, бесчеловечные лозунги, свастика, воинственные угрозы, воззвания, расистские речи — душный, отравленный воздух Берлина так или иначе приходилось глотать. Германия преображалась, не замечать этого было уже нельзя. Хотя они тешили себя тем, что в Бухе мало что изменилось и они могут работать по-прежнему, тем не менее расизм бесцеремонно всовывал повсюду свою коричневую морду. Один за другим увольнялись, уезжали сотрудники-евреи. Фома в школе должен был писать со всеми сочинения «Германский мальчик не плачет», «Германский мальчик не знает страха», «Какое счастье родиться немцем». Повсюду заявлял о себе крикливый шовинизм.

К 1936 году, к моменту открытия в Берлине Всемирной Олимпиады, нацисты сбавили тон, старались вести себя демократичнее, навели лоск

на фашистский режим. Сделаны были разные послабления, запрещены противоеврейские выступления, дискриминация, какие-либо расистские выходки. В Берлин приехало много иностранцев, цветных, черных, и к ним относились подчеркнуто внимательно.

У Макса Дельбрюка была двоюродная сестра, молоденькая киноактриса Кетти Тейк. Не имея особого таланта, Тейк решила сделать себе карьеру с помощью нацистов, что было наиболее доступным для посредственной актрисы. Чем она могла выдвинуться, отличиться, угодить? Простейшим средством был антисемитизм. Для антисемитизма не требовалось ни знаний, ни храбрости. Самое простое дело было винить во всем евреев и международное еврейство. Требовать их изгнания, лишения всяких прав вплоть до уничтожения. Считать их нацией, оскверняющей кровь... Надо было повторять это громче других, дольше других. Кричать, гневно поносить евреев, не стесняясь в выражениях... Она старалась изо всех сил и начала преуспевать.

Вот эту-то сестрицу Макс Дельбрюк решил проучить, и Тим разработал сценарий. Кетти сообщили, что в Берлин на Олимпиаду прибывает сукугунский магараджа. Сама Сукугуния расположена где-то в голландской Индонезии, подведомственной королеве Голландии, но она — государство свободное, населения в ней — двенадцать миллионов. Магараджа не говорит ни на каком языке, кроме сукугунского, да еще кое-как по-голландски, который он обязан знать. Почему они выдумали голландскую Сукугунию? Только потому, что у Макса Дельбрюка приятель работал в голландском посольстве и имел машину с дипломатическим номером. Кетти, которая всего-то снялась в двух кинофильмах на второстепенных ролях, рассказали, что магараджа ее пылкий почитатель. Он видел ее в этих картинах, и она так ему понравилась, что он приобрел эти картины и ныне, приехав в Берлин на Олимпиаду, желал бы вручить ей диплом Сукугунии. Психологически Колюша рассчитал точно: самомнение и тщеславие посредственных артистов таковы, что они готовы поверить любой бессмыслице, лишь бы она была лестной.

Жила Кетти довольно шикарно, в хорошем пансионате на Курфюрстендамм. Ее предупредили, чтобы она подготовилась, магараджа придет к ней примерно через неделю, чтобы сшила себе соответственный туалет, разучила бы малую придворную книксу. Парень он, мол, простецкий, говорить будет по-своему, поэтому секретарь голландского посольства будет переводить слова магараджи. Следует приготовить хороший кофе с ликером, с тортом, все в лучшем виде. Народу на церемонии будет немного: он со своим рабом, секретарь посольства, еще один голландец (его должен был играть Олег Цингер). Колюша выбрал роль русского специалиста по Сукугунии. Роль раба предназначалась Макс Дельбрюку. Церемонию изложили так: при появлении магараджи Кетти должна исполнить выученную придворную книксу, магараджа протянет ей руку, она должна почтительно поцеловать руку, потом он сядет, будет пить кофе, расточать свои восторги. При отъезде все следует повторить.

Самого магараджу должен был играть один физик-теоретик, еврей.

Умысел и заключался в этом. Точнее, он был на три четверти еврей, на четверть немец. Такие люди тогда могли еще состоять на службе, но только не казенной. Магараджу он сыграл великолепно. Кетти волновалась ужасно, заказала феерический туалет, приготовила дивное угощение. Достала ликер, настоящий бенедиктин, привела в порядок мебель, так что потратилась. Олег Цингер блестяще загримировал этого физика. Одели магараджу, как полагается приехавшему в Европу, с чисто парикмахерским шиком: бордовые туфли, оранжевый галстук, огромные запонки, по жилетке — золотая цепочка. Из раба сделали настоящего сукугунца в белых одеждах. Помогала им приятельница Лельки, недавно приехавшая из Индокитая. Все обставлено было научно вплоть до того, что на одеждах раба сделали орнамент, так что сукугунец получился первоклассный, лучше настоящих, если бы они были.

Приехали на голландской дипломатической машине и одной частной. Магараджа вошел величественно, подал свою лапу. Был он мужчина зоровенный, курчавый, физиономия натерта коричневой краской. Кетти сделала книксен, поцеловала руку. Раб стал в углу со свитком. Компания расселась и принялась поглощать торты и ликеры. Магараджа шпарил по-сукугунски, голландец переводил. Наконец наелись, напились, магараджа махнул рукой, раб выступил из угла, бухнулся на колени и, потупясь в землю, не смея поднять глаза на своего владыку, поднес свиток и порожняком отправился в угол. Магараджа развернул свиток, прочел по-сукугунски текст, начертанный золотом, скрепленный печатью. То был диплом, изготовленный сообща. Кетти, млея от восторга, благодарно целовала руку магараджи, тот хвалил ее, она вновь прикладывалась к его руке, проводила до машины.

Они тронулись, и тут выяснилось, что с ликера развезло. Проехав по Курфюрстендамму, остановились у шикарного кафе, сели за столики. Не пропадать же реквизиту, слишком много чести этой Кетти Тейк, чтобы ради нее одной так наряжаться. К ним подскочил кельнер, и они стали заказывать всякие дорогие угощения. Съели, поболтали по-сукугунски, хотели расплатиться, но тут пожаловал хозяин: «Что вы, что вы, для нас честь принять знатных иностранцев...» Поехали дальше. Остановились у кафе-автомата. Тогда это было новинкой. Длинный коридор был заставлен автоматами с бутербродами, пивом, вином. Магараджа поразился чудесам европейской техники, заволновался, потребовал принести фишек. Появился хозяин и самолично преподнес ему задарма кучку фишек. Магараджа стал тыкать их во все щели, и полилось, посыпалось, завыскакивали бутерброды, пакетики. Магараджа хохотал, хлопал себя по ляжкам, остальные кланялись ему, поздравляли. Толпа, которая собралась, была в восторге.

Неподалеку находился большой универмаг. У входа висело объявление, что можно затребовать переводчика с любого языка. Затребовали с сукугунского. Переводчика не оказалось, и магараджа пришел в сильное огорчение. Вызванный хозяин заверил, что ошибка будет исправлена, переводчика найдут с помощью голландского посольства. Сотрудник посольства успокоил хозяина: «Ничего страшного, этот магараджа для виду шумит. Я все, что надо, ему переведу. Его в данный момент интересуют пластинки». За пластинками пришлось подняться на

верхний этаж. Тут произошло несчастье — потеряли раба. Раб ни на каком языке, кроме сукугунского, не говорил. Как он найдет своего властелина? Но, представьте себе, нашел. Толпа, продавщицы, конечно, помогли ему, доставили. Свита выбирала пластинки, те, которыми магараджа восхищался, откладывали в сторону. Набралась целая стопа, которую хозяин просил принять в дар. Когда потом подсчитали, оказалось, сорок штук набрали. На этом похождения магараджи кончились.

Кетти восхищалась дипломом, хвасталась, киношники ей завидовали. Она стала требовать ролей. Спустя две недели Макс Дельбрюк и Колюша прочли ей текст диплома. Замечательно стилизовав готический шрифт, художник изобразил там рекламу «минимакса». Это был огне-тушитель. Подобная реклама висела по всему Берлину: «Огонь не распространится, если у тебя дома есть „минимакс“». На рекламе берлинцы приписывали: «„Минимакс“ — изрядное дерьмо, если тебя нет дома». По-немецки получалось в рифму и складно. Это и было — в завуалированном виде — изображено на дипломе. Вскоре все на киностудии узнали про текст диплома. Кроме того, стало известно, что Кетти целовала руку еврею. Ее антисемитизм после этого вызывал смешки.

После Олимпиады, с 1937 года такие шутки стали невозможны. На бульварах стояли скамейки, покрашенные в желтый цвет: для евреев. Вышел приказ об обязательной военной службе. Приезжая в Берлин, Зубр всякий раз замечал перемены. Их нельзя было не заметить. Фашисты заявляли о себе все бесцеремонней, они влезали в частные дела людей, преображали стародавнюю жизнь города. Олимпиада кончилась, однако повсюду продолжали торчать гранитные дискоболы, борцы, всадники. Непременно гигантские фигуры, воплощение торжества силы нордической расы. Фигуры Завоевателей и Победителей. Суровые воинственные физиономии. Гордые и прекрасные, ибо немецкий народ превосходит все другие народы, он самый ценный из всех народов земли. Искусство скульптора состояло в соблюдении точных размеров черепа, шеи, губ, ушей в соответствии с типом арийца. Женские фигуры сохраняли безукоризненно выверенные пропорции арийских женщин, «опорных женщин», производительниц чистопородных немецких мужчин. Учреждения украшались аллегорическими фигурами сталеваров и крестьян, солдат и шахтеров, группами «Война и братство», «Клятва воинов», «Призыв к борьбе». Решительные атлеты потрясают мечами, зовут в бой на врага. Наследники тевтонских рыцарей, будущие власти мира...

У Бранденбургских ворот грохотали взрывы, поднимались облака кирпичной пыли, сносили дома, затейливые, милые Зубру дома старого Берлина. Поговаривали о каких-то немыслимых дворцах, что будут возводиться Шпеером по идее фюрера, каких-то площадях, арках, но толком никто ничего не знал, все было зашифровано.

Зубр любил старые берлинские кварталы. Физиономии у города почти не было, но была прелесть каменных его закоулков с маленькими шумными пивными, ресторанчиками, пекарнями. Утренние рынки на площадях, цветочные базарчики, ярмарочные представления. Играла шарманка, инвалиды войны сидели на скамеечках, гудел орган в косте-

ле. Все это исчезало, испуганно съеживалось. Проступал новый, фашистский Берлин, тяжелые массы бетона, прямоугольные здания, похожие на гигантские долговременные бараки. Насупленные темно-серые здания, созданные не для радости глаз, а для украшения и демонстрации власти.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Жизнь в Бухе, как и во всех научных городках такого рода, шла замкнуто, устойчиво, сохраняя свой распорядок дня, свои обычаи. Ход лабораторных опытов не менялся от захвата власти фашистами. По крайней мере для Зубра. Ни ему, ни его сотрудникам никто не мешал, институт Фогта продолжал числиться как германо-советский, они с Царапкиным оставались советскими гражданами. Исследования шли успешно, одна за другой публиковались работы Зубра, слава его ширилась, особенно возросла она после публикации вместе с Циммером и Дельбрюком «Зеленой тетради». Это была пионерская работа, заложившая количественные основы современной радиационной генетики. Из нее стало ясно, что наследственная информация сосредоточена не во всей клетке, а в ее ядре, в маленькой части, мишени, на которую можно воздействовать жестким излучением, мощными дозами, — что-то в этом роде.

Может быть, тут следует сказать о его главных работах, которые завершали цикл исследований к 1935 году (совместно с Циммером и Дельбрюком), а затем еще работы 1936 года. В них были заложены основы современной молекулярной биологии. Значение обеих работ можно представить, сравнив с тем, что сделал в начале века Резерфорд для атомной физики. Труды Зубра по-настоящему оценили после книги Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики».

На тридцатые годы приходится зрелость классической генетики как науки. Все ее основные законы открыты. Выяснено, как гены родителей комбинируются в хромосомах потомков. Составлены подробнейшие хромосомные карты мушки дрозофилы, а также одного из важнейших хозяйственных растений — кукурузы. На этих картах со скрупулезной точностью указано положение вдоль хромосом многих сотен генов, отвечающих такому же количеству наследственных признаков. Обнаружено, что темп изменений генов — мутация, — очень низкий в обычных условиях, может быть увеличен тысячекратно действием рентгеновских лучей. Вот только что такое сам ген — не знал никто. Среди биологов были и такие, которые полагали, что это — одна из сокровенных тайн природы, которую не суждено разгадать. Нечто вроде вопроса — почему существует Вселенная? Сам Бор полагал, что жизнь, а тем самым, по-видимому, и гены, как мельчайшие ее элементы, столь сложны и «деликатны», что любые опыты с целью установить их природу могут разрушить объект — и мы ничего не узнаем.

В те годы Зубру часто приходилось отбиваться от вопросов о природе гена. Особенно настойчивы были физики. Но что он мог ответить, если даже размер гена был неизвестен. А может, ген и вовсе не имеет размера, а являет собой сложную систему биохимических реакций? И тогда ген — не тело, а процесс. Но все-таки: строго определенное рас-

положение генов в хромосоме, передача их от родителей к детям, способность к мутациям (поломкам?) — все эти факты говорили, что ген, скорее всего, тело и поэтому обязан иметь размер. Зубру пришла идея: а что, если использовать свойство гена мутировать при рентгеновском облучении для определения размера?

Кольцов сказал: молекула от молекулы. Зубр сказал: конвариантная редубликация. Для непосвященных трудновыговариваемые эти слова означают, что самовоспроизводится не просто молекула, но и те случайные в ней изменения (варианты), которые произошли между актами самовоспроизведения. Вот с этого большинство биологов ведет начало молекулярной генетики. Зубр как бы коснулся того трепетного источника, откуда проистекает все сказочное разнообразие земной жизни.

Изменения производили ионизирующим излучением. Обработав свои данные, авторы подсчитали, каковы должны быть эффективные размеры мишени. То есть они решили, что в клетке должна таиться выделенная частица, удар по которой приводит к мутации. Сама постановка вопроса о существовании такой частицы поразительна. Надо заметить, что Зубр владел высшим искусством экспериментатора — он умел задавать природе вопросы, на которые она должна была ответить «да» или «нет».

Легко сказать — сделать трудно! Ведь частота мутаций даже всех вместе взятых генов — очень мала, а тут надо было измерить ее крохотную долю, приходящуюся на один ген. Согнувшись над биноклем, просматривать сотни тысяч мух! И вот Зубр вместе с физиком Циммером доложили результат: в среднем в хромосоме содержится не менее десяти тысяч и не более сотни тысяч генов. Это значит, что ген — вовсе не «точка» на хромосоме, а в молекулярном мире весьма крупное образование, построенное не менее чем из десяти тысяч атомов. Так была сделана первая надежная оценка размера гена.

Можно спорить, эта ли работа Зубра или же исследования генетических основ эволюции — его главное достижение. Но одно несомненно: именно оценка величины генов послужила мостом между классической генетикой и генетикой молекулярной, возникшей в 1953 году, когда Уотсон и Крик открыли двойную спираль ДНК. Тогда стало ясно, что гены — это протяженные участки ДНК, размер которых впервые надежно оценил Зубр, «вычислил» ген, как Резерфорд вычислил атомное ядро.

С этого времени он делается одним из признанных лидеров в биологии. Он в расцвете сил и энергии. Темперамент, любопытство, сила — все в его могучей натуре мешает ему осесть на открытых им землях, он дарит их другим, а сам спешит дальше. Освоение не для него, он не колонизатор. Он отбывает в эволюцию, переправляется на совершенно другой материк — к чайкам и овсянкам-дубровникам, занялся их систематикой, опытами по жизнестойкости отдельных мутаций. Перед ним прояснился путь к количественному изучению пусковых механизмов эволюции. Какой нужен, например, минимум популяции и какой максимум? И про волну жизни. Например, гнус, почему его то мало, то много? Сезонные колебания гнуса от единицы до миллиона. Что делает эта волна? Разбалтывает ли она мутации?..

В этой кипучей работе политическая жизнь немцев редко и неглубоко затрагивает его душу. Он переполнен тем, что творится на родине. Там все чаще печатают разгромные статьи об известных биологах, называют их взгляды реакционными, вредными. Трудно понять, что именно обсуждается, что-то философское, неконкретное, больше всего это походит на судилище. В итоге кого-то зачисляют в идеалисты, кого-то в антидарвинисты, кончаются дискуссии административными мерами. Филипченко назвали буржуазным ученым, заставляли уйти из Ленинградского университета, и после его смерти Презент продолжал клеймить его: «Буржуазно воспитанный буржуазными устоями проф. Филипченко...» Выслали Левитского, затем Максимова, Попова, Кулешова, что-то происходит с Карпеченко. Что именно — неизвестно. Арестовали профессора Райнова. Он не мог поверить, что эти крупные ученые, люди безупречной честности, научной добросовестности, могли оказаться вредителями, или проходимцами, или врагами народа. Оскорбительные ярлыки никак не вязались с обликом этих людей. Было непонятно, зачем шельмуют цвет советской науки. Кому это надо? Для чего? Дочь профессора Б., которого обвинили в идеализме, отеклась от него. Такие отречения от отцов, замечательных ученых, происходили все чаще. Наконец пришло известие, что заставили уйти из университета Кольцова. Все большую силу набирали неведомый Зубру, да и вообще здесь никому не известный своими работами Трофим Лысенко и его идеолог, его перо И. Презент. Этого Зубр помнил. Еще в Москве Презент просился к ним в семинар, в Дрозсоор; шустрый с хорошо подвешенным языком юнец предлагал свои услуги в качестве теоретика. Никаких самостоятельных исследований он не вел и не собирался вести. Ему объяснили, что теоретизировать в Дрозсооре умеют сами... И вот теперь этот Презент стал главным теоретиком Лысенко, занялся прежде всего разоблачениями механистов, менделистов, морганистов. Ученый, имеющий не труды, а одни разоблачения. Не список работ, а список разоблаченных.

Сами термины, которые он применял, казались Зубру каким-то бесовским вывертом: и Мендель и Морган были классиками биологии, их трудами биологи пользовались так, как электрики пользуются законом Ома, почему же менделисты и морганисты стали бранными кличками? Ладно еще бранными — брань на ворота не виснет, — так ведь ответить не давали. Лысенко с Презентом уже и на Вавилова стали нападать. Один из шведских ученых, приехав из Советского Союза, передал Зубру письмо от Кольцова. Там после неутешительных новостей Николай Константинович повторял свой совет: не спешить домой, переждать. В нынешней обстановке, да еще со своим невыдержанным характером, Колюша, как только вернется, сразу же подвергнется опале. К тому же иностранные его связи не ко времени, неуместны они для нынешнего климата. Надо годить, набираться терпения, скоро все образуется, такое не может долго продолжаться.

Письмо появилось не само по себе — Николай Константинович отвечал на просьбу Колюши узнать, куда бы он мог вернуться: в Московский университет либо же в кольцовский институт. Его тянуло до-

мой, в Москву. Пока из Москвы приезжали Вавилов, Вернадский, тот же Кольцов и другие, пока существовало свободное общение, переписка, командировки, он не ощущал никакой тоски. По мере того как поездки сокращались, связи обрывались, он начал страдать. Отсутствие общения с родной наукой угнетало его.

Его «теория мишени» была подхвачена в институтах Англии, США, Италии, его наперебой приглашали читать лекции, доклады. Генетика, она всюду одна и та же. Куда бы он ни приезжал, он привык чувствовать себя представителем советской науки, русской науки, он наращивал ее славу, он пропагандировал работы своих учителей и товарищей. Теперь же все зашаталось, накренилось. В советской биологии хозяйничали не ученые, а какие-то мракобесы с дикими, невежественными понятиями о генетике. Ее вообще отрицали, уничтожали, вытравливали. Тех, кем он гордился, кого цитировал, преследовали...

В 1937 году из Союза вернулся Герман Мёллер, друг-приятель Зубра, знаменитый американский генетик, впоследствии Нобелевский лауреат. Десять лет назад он прославился, доказав опытным путем, что мутации можно получать, воздействуя рентгеновскими лучами. В 1933 году Мёллер уехал работать в Советский Союз. Он хотел участвовать в строительстве социализма, приблизиться к новому миру. Он хотел быть рядом с Н. И. Вавиловым. Однако в последнее время научная обстановка резко изменилась, лысенковщина отняла возможность заниматься сколь-нибудь серьезно генетикой, селекцией. Месяц за месяцем он пытался найти компромиссы, приспособиться — ничего не получалось. Прибыл он в Берлин в тяжелом состоянии и все накопленные чувства вывалил на Зубра. Слезы стояли у него в глазах, и Зубр не знал, чем утешить его.

Стало известно, что расстреляли брата Зубра, который работал у С. М. Кирова, расстреляли Слепкова, отозванного из Буха.

Через месяц после приезда Мёллера Зубра вызвали в советское посольство. Молодой человек, пухлощекий, с кудрявой куделькой на лбу, с милым слуху окающим говорком, предложил Зубру выехать на родину. Срочно. Почему срочно — вразумительно пояснить он не мог, выехать, и все. Говорил он приказным тоном, от которого Зубр отвык, на вопросы отвечал свысока, постукивая карандашом, предупреждал, что тот, кто повторяет злопыхательские слухи, клевету, играет на руку врагам, подпевает с чужого голоса. Зубр пытался, как он выразился, прошибить броню невежества этого «ташкентца», кто в физиономии ближнего видит не образ божий, а место, куда можно тыкать кулаком. Молодой дипломат Щедрина не читал и не собирался, а вот на каком основании Зубр появился в Берлине, чем он тут занимается, зачем якшается с эмигрантами, угрожал докопаться. Какие там мухи, что за мутации? А не похоже ли это на ту, чуждую нам науку, с которой идет борьба? Понятно, почему труды его охотно печатают английские и прочие буржуазные журналы. Услышав фамилию Семашко, он пренебрежительно прошелся насчет отставной козы барабанщика и, уже не церемонясь, поднял голос на Зубра, много о себе возомнившего, — поднабрался на Западе вшивого либерализма! — и в конце концов запустил матерком по ученой шатии, что сидит

на шее у народа. Хотя от матерка Зубр отвык, но отвычка не привычка, вспоминать не учить, всадил в ответ такого матюка — из вагона в вагон, через весь эшелон, — что этот, с куделькой, рот раскрыл. Сладостно швырнув дверь, ушел. Невоздержанность на язык оставалась в нем смолоду, никакие синяки-шишки дерзости не умерили, ума-разума не прибавили. Отмалчиваться — важнейшему искусству — не научился, что уж говорить о выборе выражений или о том, чтобы держать язык короче. Знал, что из-за худых слов пропадешь, как пес, — но этого в расчет не брал.

Лелька, выслушав его рассказ, повздыхала, потом заявила, что, может, оно и к лучшему, — ехать сейчас безумие, чистое самоубийство, у них дети, надо и о них думать. Царапкины тоже отказались уезжать. Советы всех друзей сводились к тому же — переждать хотя бы годик, долго так продолжаться не может, кампания репрессий, или, как тогда называли, перегибов, пройдет. Разберутся. Выправят. Зубр успокоился, его самого удерживал разворот лабораторных исследований. Бросить их на полпути, не получив результатов, он не мог. Физически не мог оторваться. Так не может оторваться хирург от операции, так мать не может покинуть малого ребенка. О последствиях он не думал, плевать ему было на дальнейшее, ему нужно было завершить эксперимент.

Вдова Александра Леонидовича Чижевского, биофизика, прославленного изучением влияния солнечных лучей на жизнь на земле, рассказывала мне, как, сидя в лагере, Чижевский выпросил разрешение создать лабораторию, ставить кое-какие опыты, работать. Однажды в 1955 году, в один воистину прекрасный день, пришел приказ о его освобождении. Чижевский в ответ подает начальству рапорт с просьбой разрешить ему на некоторое время остаться в лагере, закончить эксперименты. С трудом добился своего, ибо это было нарушением всех правил, и завершил исследование.

Как-то я спросил у одного из заслуженных наших генетиков, Д.В. Лебедева, которого в тридцатые годы исключили из университета, а позже выгоняли из института за то, что он не соглашался отречься от менделизма-морганизма, — в чем тут дело, почему так ополчились именно на генетику, почему такая жестокая, можно сказать, кровавая борьба развернулась вокруг, казалось, невинного для идеологии вопроса — существует ли ген, какова природа наследственности?

— Биологам доставалось крепче, чем физикам и прочим естествоиспытателям, — сказал он. — Ясное дело, заморочки с неурожаем, то да се... Сшибка, конечно, не из-за генов была. Не они встревожили. Преподнесли это как очаг сопротивления. Указаний не слушают, сами с усами, начальства не признают, считают, что в науке своей разберутся без вмешательства сверху. Наука ихняя должна развиваться, видите ли, свободно... В этом суть — свободно или по приказу сверху. Многие из нас ясно понимали, что в тех условиях это была борьба против культа личности. Лысенко повсюду заявлял, что его поддерживает сам Сталин. И вдруг осмеливаются против Лысенко выступать. Невеждой его называют. Это как понимать? Что они имеют в виду? Кого оспари-

вают? Скульптура, между прочим, выставлена была в Третьяковке: Сталин и Лысенко сидят на скамеечке, Лысенко колосок ветвистой пшеницы показывает. Яснее ясного! Признать должны были Вавилов и прочие! В других научных дисциплинах подчинялись, признавали мудрость, а биологи не желали, сопротивлялись. И сами биологи сознавали, что они выступают не только против лысенковщины.

Все эти годы Зубр испытывал жалость, сочувствие к эмигрантам. При этом было тайное превосходство человека, имеющего родину. Теперь угрожали превратить его в эмигранта, а то еще в невозвращенца. Уродское словечко!

К счастью, его отказ, да и весь скандал, не был воспринят как политическая акция. Паспорт у него оставался, тем более что отношения с Германией наладились, происходили взаимные визиты руководителей, которые обменивались любезностями, заверяли в дружбе между странами. Может, сыграло свою роль и то, что он отказался от предложения принять немецкое подданство. Было такое настойчивое предложение. В чем-то заманчивое, потому как для поездок по миру ему тогда не надо было бы хлопотать о визе, он освободился бы от многих формальностей.

Но угроза оставалась, пухлощекий с кудряшкой не забыл, не простил, не отступился.

Почти сорок лет спустя вышла книга — смелые для того времени воспоминания человека, который сам немало пострадал от лысенковщины, храбро боролся с нею.

Читая книгу, я наткнулся на строки о Зубре. Автор сурово осуждает его как невозвращенца. Это было неожиданно. Я знал про их закадычную дружбу... Как только мне представился случай встретиться с автором, я заговорил о Зубре, которого уже не было в живых.

— За что вы его так? — спросил я. — Разве он мог в то время вернуться?

— Почему же не мог?

— Вспомните, какой это был год.

Он наморщил лоб, рассеянно вскинул на меня глаза, затем лицо его затвердело.

— А собственно, какая разница? Какой бы ни был год...

— Разница большая. Вы сами предложили бы ему вернуться в том, тридцать седьмом году? Написали бы ему письмо — возвращайся со всей семьей?

— Вы поворачиваете вопрос в другую плоскость.

— Это не ответ.

— Знаете... не я его осудил.

— Кому была бы польза от его гибели? А ведь он пропал бы.

— Я пишу о том, что он нарушил закон, — упрямо сказал он, и ничего не осталось на его ухоженном лице от недавней приветливости.

Я вспомнил, что он был среди тех, кто встречал Зубра в 1956 году в Москве на Казанском вокзале. Они обнимались и плакали от радости. Еще я вспомнил, что у Зубра в Бухе над столом среди прочих портретов и фотографий висел портрет этого человека. Все годы висел, в гитлеровской Германии висел.

— Вот видите...— Он вздохнул.— А он не посчитался...

С чем не посчитался? С кем? Да с автором, с их старой дружбой. Оказывается, в одном выступлении автор этот покритиковал Н. К. Кольцова за его увлечение евгеникой, вредное увлечение вредной наукой с расистским душком. За это на него накинлись ученики Кольцова. Защищали не принципы, а своего учителя. И Зубр к ним присоединился.

— Вот оно, значит, в чем дело!

Я как мог выделил слово «значит», но он не обратил внимания. Он потряс кулачком.

— Как им не стыдно!

Он весь кипел, забыв, что никого из них не осталось на этой земле. Они ушли, оставив его с неразряженной ненавистью. До чего ж все оказывалось просто: поссорились, вот он и написал такое про Зубра — невозвращенец; со стороны же для тех, кто не знал подоплеки, все выглядело идейно, монументально. А подоплеки никто и не знал.

Решение Зубра не возвращаться — поступок или самосохранение? Можно ли требовать от человека самоубийства? И если человек отказался шагнуть в пропасть, то поступок ли это? Каждое время, наверное, имеет свое понятие поступка. В те времена нормальным считалось подчиниться. И подчинялись. Безропотно. Любому указанию.

Зубр не придавал значения своему непокорству и уж наверняка не задумывался о последствиях.

Вся его жизнь состояла из поступков, один поступок следовал за другим, но для него это были не поступки, а способ жить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Не вернулся — и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биологическую немецкую буховскую жизнь.

Так говорится — поставить точку. В человеческой судьбе точка — это свернутая спираль, это — праатом, из которого вырастает новая вселенная.

В 1938 году он выступает на годичном собрании генетического общества с докладом «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога». Публикует книгу «Экспериментальное исследование эволюционного процесса» плюс две «птичьи» работы. Плюс в Италии выходит книга «Генетика популяции». Книга — для нас звучит солидно, для него же, как помним, книга значила нечто обратное: он пишет книгу потому, что ему многое неясно, приходится изъясняться длинно. Когда же все прояснится, уляжется, сойдется, он напишет краткую статью, которой вполне достаточно.

Вторая мировая война обрывает одну за другой связи с учеными Европы, Англии, Америки. Однажды становится известно, что из Германии нельзя выезжать, границы закрыты. Двери захлопнулись.

В замкнутую обитель Буха нацизм проникает сперва в виде гонений на ученых еврейской национальности. Их увольняют, один за другим они куда-то исчезают. Затем начинается поиск скрытых евреев, вы-

ясняют, вынюхивают, кто наполовину еврей, кто на четверть, на восьмую. Страхи, доносительство, шантаж...

Расизм обнажил свою сущность. Никогда до этого Зубр не замечал в немцах такого истового национализма. Занятие наукой приучает к международному братству ученых. Биология, математика, физика, любая естественная наука безразлична к национальности. Законы генетики, эволюции действуют среди всего живого. Рыбы, ландыши и скворцы не знают государственных границ. На разного рода международных сборищах — симпозиумах, коллоквиумах — ученых никогда не интересовало вероисповедание коллеги, тем более национальное происхождение. Какая разница, еврей — не еврей, сколько в нем течет еврейской крови, важен был талант, добросовестность, умение решить задачу, найти истину. Антисемитизм был отвратителен Зубру как подлинному русскому интеллигенту. Отвращение к антисемитизму он впитал вместе с отвращением к черносотенству, к поповщине, к этим смердящим гнилым устоям русского самодержавия. Поэтому он охотно участвовал в тайной акции, придуманной немецкими учеными. Кто именно ее предложил — неизвестно. Дело в том, что специалистов-ученых евреев ряд ведомств имел право оставлять для своих работ. Для этого нужно было заключение экспертов о том, насколько данный ученый необходим. На этом и решили сыграть. Приходил запрос о квалификации ученого Икс. В ответ из Буха сообщали, что ученый Икс интересен такими-то хорошими работами, что же касается его работ в области, о которой идет речь, то их может оценить ученый Игрек. Шла бумага к Игреку. Тот пасовал ее на консультацию к Зету. Неторопливо катилась эта высоконаучная переписка, причем в качестве консультантов и экспертов привлекались ученые-полуевреи, частичные евреи, которых тем самым включали в категорию необходимых специалистов. В конце концов множество заключений и отзывов солидно доказывали высокую квалификацию Икса, а заодно и нескольких других неарийских ученых. Замысловатая система долго действовала, спасая, выручая, защищая...

В Бухе появился нацистский партсекретарь, некий Гирнт. Однажды он затеял разговор с Зубром, снова предлагая ему принять немецкое подданство. Такое дозволялось редко кому из иностранцев. Предложение, как дал понять Гирнт, исходило от высоких инстанций и являлось весьма лестным. Зубр наивно выкатил глаза: чего это ради? Мне и так хорошо, от добра добра не ищут...

До начала войны с Англией и Францией, да и позже, ему выпадало несколько случаев выезжать в Скандинавию, в Соединенные Штаты, в Италию. Фашистская Италия выглядела куда терпимее, чем фашистская Германия. Но все, что не Россия, его не прельщало. Что Италия, что Швейцария, куда звал его Фогт, — один леший. Всюду он будет эмигрантом, здесь он советский гражданин. В Бухе по крайней мере было все налажено. Переехать — значило потерять два, а то и три года. Кроме того, потерять темп, мысль потерять.

Как сказал философ: «Второго раза не бывает».

Бух был не Германия и даже не Берлин. Бух представлялся ему теплицей, оазисом, непричастным к тому, что творилось в стране.

Гитлеризм рассчитан был прежде всего на немцев. Он, Зубр, пребывал иностранцем, и на него не обращали внимания. Это было своеобразное положение, которому многие немцы завидовали и друзья в России завидовали.

Для него ничего не изменилось. Он был свободен от страхов, свободен от повинностей. Он мог делать то, что делал.

А в берлинских киношках крутили картину: на экране показывался Кремль, торжественный момент подписания договора о ненападении, Риббентроп горячо пожимал руку Сталину, обнимался с Молотовым. Все они довольно посмеивались, но у Риббентропа блуждала еще добавочная улыбочка, предназначенная немцам.

Газеты приводили выдержки из речи Молотова на сессии Верховного Совета: «Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе... Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция... стоят за продолжение войны...»

Он обвинял англичан и французов, которые пытаются изобразить себя борцами за демократические права народов против гитлеризма, доказывал, что невозможно силой уничтожить идеологию: «Преступно вести такую войну, как война за „уничтожение гитлеризма“».

В Берлине стали продавать «Правду» и «Известия». В них ругали англичан, не было ничего против фашизма, и все печатали материалы о шестидесятилетии Сталина. Иногда появлялись большие статьи о положении в биологии: «Многие из так называемого генетического лагеря обнаруживают такое зазнайство, такое нежелание подумать над тем, что действительно нужно стране, народу, практике, проявляют такую кастовую замкнутость, что против этого надо бороться самым решительным образом». Или: «Лжеученым нет места в Академии наук». Это против Льва Семеновича Берга, Михаила Михайловича Завадовского, Николая Константиновича Кольцова.

Вскоре из России начали прибывать эшелоны с зерном, сахаром, маслом.

В Бухе ничего не могли понять — что происходит?

В 1940 году докатилась страшная весть — арестован Николай Иванович Вавилов. А затем сообщили — умер Николай Константинович Кольцов. Оба события казались внутренне связанными. И Вавилов и Кольцов были несовместимы с тем, что творилось в России. Они не могли сосуществовать с такими, как Лысенко и Презент. Для них невозможно было жить в атмосфере лженауки. Зубр это хорошо понимал. Но все же решиться на арест Николая Вавилова, признанного во всем мире великого биолога, гордости советской науки! Как могли на это пойти?

Гадали и так и этак, и Лелька всякий раз утешающе заключала: раз уж с Вавиловым так обошлись, то ты тем более бы не избежал. Судя по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков. Погибнуть, да еще в бесчестии, как враг народа, ради чего? Зубр угрюмо отмалчивался. Фыркнет непонятно, а то раздраженно. Уцелел. Принял мудрое

решение. Правильно поступил. Всех своих спас... А что толку в его правоте? Поехать на похороны своего учителя и то не мог. Стыдно и гнушно.

Прежде он не скучал по Москве. Не до того было. Теперь ему снилась Остоженка, Арбат, московские переулки. Снилась Калуга, березовая аллея Конецполя. Это была не ностальгия. Не страдал он ностальгией. А была несправедливость и подлость истории, которая настигла его в самый неподходящий момент...

Задержанные войной, прорывались вести уже не свежие, но такие же невероятные: об аресте и гибели Н. Беляева, о неприятностях с другими друзьями — А. Серебровским, Д. Ромашовым. Участникам Дрозсоора припоминали эту чуть ли не «организацию».

Про Зубра, казалось, забыли, в посольство не вызывали, не предавали анафеме. В Европе он оставался для всех крупной фигурой советской науки. Просоветские круги использовали его как пример успехов советской науки. Вот человек, который демонстрирует советский гений, умственное опережение при яркой личностной окраске!

Его сравнивали с Горьким в Италии...

Среди русской эмиграции было немало ученых, которые прославили себя, но в случае с Зубром все подчеркивали, что человек этот не имеет никакого отношения к эмиграции...

Вторая мировая война набирала силу. Немецкие войска двинулись по дорогам Польши, самолеты бомбили Варшаву, в апреле 1940 года гитлеровцы маршировали в Дании. На севере в те же дни их отряды заняли норвежские порты. Спустя месяц Гитлер оккупировал Голландию, Бельгию, Люксембург. С недолгими боями немецкие войска обошли «линию Мажино». Танковые колонны, изукрашенные на башнях крестами, стреляя, двигались через Францию к Парижу. Столица Франции была объявлена открытым городом, и Гитлер в длинном, коричневой кожи блестящем пальто, держа в левой руке белые перчатки, прошелся по Елисейским полям к Триумфальной арке.

Германия принялась бесстыдно, уже не заботясь об оправданиях и поводах, захватывать, грабить, поработать. Германия, которую Зубр успел полюбить, немцы — честнейший, работающий, талантливый народ, среди которых у него было столько друзей.

У него не осталось Германии, его лишали России, с ним пребывала лишь наука. Синие стены лаборатории, часть парка за окном, вытоптанная площадка для рюх — вот как все сузилось.

Рушились, падали королевства, правительства, горели города, бомбоубежища стали кровом, чемоданы — домами, горький дым поражений, бессилия и позора стлался над Европой.

Как можно было в этих условиях сидеть над микроскопом, возиться с мушками, препарировать, вскрывать разных козявок? Что это за мозг, что за нервы, которые могли отрешиться от грохота всеобщей войны? Вырубиться, и не где-нибудь в Америке, в Африке, а здесь, в центре событий, в Берлине?

Понять до конца его поведение я так и не смог. Для меня в тех его действиях было что-то вызывающее и неприятное.

Но были некоторые его замечания, обмолвки, по которым мне казалось, что не так все гладко у него складывалось. Что-то точило и грызло его душу в те годы. Было ему, видно, несладко. И хотя на любые упреки он имел что ответить и выставить себя кругом правым, от этой самой правоты становилось ему самому тошно. Дома бьют, долбают единомышленников, а он отсиживается у фашистов за пазухой...

Тут я чувствую, что вступаю на зыбкую почву догадок и психологических построений, от которых закаялся в этой вещи. Зубр тоже не допускал никакого «психоложества». Однажды я заупорствовал, выжимая из него что-то более определенное. Но он отмахнулся: чужая шкура не болит, кусай меня собака, только не своя,—а потом вдруг налился кровью, закричал: «А вы как все сносили? Почему терпели?» И, тыча в меня пальцем, стал предъявлять такое, что у нас давно условились не ворошить, заторкали по углам, прикрыли.

Он никогда не был анахоретом, не был одержимым, не был фанатиком науки. Он жил «во все стороны», бурно и жадно. Теперь наука стала его убежищем. Он погрузился в нее, как водолаз, как спелеолог уходит в глубь пещер, удалялся от грохота войны, от слез и криков, от бомбежек, набатных призывов, спеси нацизма.

Он обдумывал синтетическую теорию эволюции. Выстраивалось учение о микроэволюции. Начиналась она с популяции. Постройка возводилась из элементарного эволюционного материала — мутации и простых известных факторов — популяционные волны, изоляция, отбор. Открывалась дивная картина миллионнолетних стараний природы, стало видно, как в ее сокровенных тайных мастерских из бесконечного числа комбинаций отбирались лучшие. Так неведомым образом действовали механизмы отбора, работа то убыстрялась, то что-то происходило, как будто природа уставала. Появлялись какие-то сигналы, менялись признаки, краски...

Он вспоминал разговор с Эйнштейном о прикосновении к тайне. Прикосновение к ней — самое прекрасное и глубокое из доступных человеку чувств. В нем — источник истинной науки. Тот, кто не в состоянии удивиться, застыть в благоговении перед тайной, все равно что мертв.

Само прикосновение было лишь сигналом о том, недоступном ему, Зубру, мире ослепительной красоты и мудрости, который существовал в действиях природы.

Что значила перед волшебными процессами живого — война? Не так уж много...

Сражения у Дюнкерка, на Висле отодвигались в ряд тысяч других сражений, которые тоже когда-то слыли великими, историческими, славными. Задерживали они ход истории, ускоряли? У каждого народа история состояла прежде всего из истории его войн. Бесконечные войны ничего не решали, ничего не прибавили человеческому разуму. Само существование «тысячелетнего рейха» казалось безумным мигом перед вечными законами науки. Он гордился могуществом науки и принадлежностью к ней. Она позволяла погрузиться в невнятный лепет природы. Слух его выбирал осмысленность — то, что он был спосо-

бен расшифровать. Это было немного, но он первый из смертных слышал его. Буквы, слова были известны, связи между ними не было. Он следил за сплетением тончайших нитей, осторожно ступал по блистающей проволоке с новым, свежим чувством восторга. Легче было понять путаницу движения планет, звездного неба, чем действия простейшей букашки. Он считал любую гусеницу умнее своего ума. С какой непостижимой гениальностью было устроено в ней все, каждая ножка, ворсинка! Разрозненные, казалось, явления вдруг соединялись в нечто ошеломляюще простое. Из кирпичей складывался собор. Впоследствии спорили: кто Зубр — открыватель или пониматель? То есть тот, кто нашел, или тот, кто первый понял и объяснил? Пожалуй, большинство склонялось к тому, что он — пониматель, для него результат измерялся приближением к истине, а истинно то, что плодотворно. Все равно его усилия лишь ступенька на лестнице, идущей в небо. Да и можно ли мерить жизнь результатами? За суммой результатов пропадает жизнь. А жизнь больше любых результатов. Жизнь — это прежде всего любовь. Научиться можно только тому, что любишь, и понять можно только то, что любишь... Казалось бы, очевидная, эта истина усваивалась с трудом, немногими. Зубр иногда приходил в ярость от равнодушной методичности, от спокойствия своих сотрудников.

Вести из бушующего мира доходили все глуше. Он пробивался к секретам мастерства природы — как она запускала живое, которое потом работало, развивалось самостоятельно. Он должен был понять удачу природы, понять устойчивость ее созданий — почему чайка остается тысячелетиями чайкой, почему так важно разнообразие птиц, жуков. Самое трудное — увидеть то, что у тебя перед глазами. Увидеть в мухе то, что не видели другие, хотя это видно всем.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Нападение Гитлера на Россию взорвало мир Зубра, заставило его подняться на поверхность. Война с русскими была неожиданностью, поражала бесстыдством и низостью. Только что звучали клятвы в дружбе. Риббентроп ездил в Москву...

Лелька, дети, Царапкины — все они вдруг очутились в ловушке. Не стало посольства, они превратились в пленников. По закону, как все граждане страны противника, они обязаны были являться в полицейский участок для отметки. В соответствующих списках ставили галочку, означавшую, что сие лицо не скрылось. Требовали отмечаться каждую неделю. Всякая переписка оборвалась — и с Россией, и с Францией, и с Англией. Радиопередачи можно было слушать только немецкие.

В Германию эшелонами пошли посылки с Украины, из Белоруссии, из Прибалтики — награбленные одежда, продукты, картины, мебель. В пивных висели карты военных действий, каждый день на них передвигали флажки дальше на восток. Но странно: спустя несколько месяцев в медном громе победных маршей и гимнов что-то задребезжало, впервые повеяло смрадным запахом тлена. Немецкие войска еще рва-

лись к Москве, голодал блокированный Ленинград, а берлинский обыватель уже учуял первые зловещие признаки: прибывали переполненные составы раненых, в пивных стало полно инвалидов. Война, которая так бойко двинулась на восток, к зиме забуксовала, она еле ползла, натужно скрежеща гусеницами, мотор войны задымился, утыкаясь в оборону советских войск. А ведь сообщили, что войска эти давно уничтожены. В криках геббельсовских пропагандистов наостренное ухо улавливало болезненный надсад.

Оттуда, через Зубра, я стал различать немецкую изнанку нашей войны, выворотное ее обличье, неведомое нам.

В Бухе мысль о неизбежности поражения Германии появилась рано, сперва у русских, а к зиме 1941 года, после разгрома немцев под Москвой, и у немцев. С научной дотошностью анализировали средства, резервы, силы сторон и убеждались в безумии затеянной войны с Советской Россией.

В конце 1942 года начальник буховского полицейского участка сказал Зубру:

— Господин доктор, вы нас знаете уже больше пятнадцати лет, и мы вас знаем столько же времени. Все эти годы мы жили в дружбе. Ну зачем вам таскаться к нам? Я эти галочки буду ставить сам.

Высокая репутация знаменитого ученого, погруженного в какие-то исследования над мухами и птичками, помогала и самому Зубру и кое-кому из его окружения. После войны из документов выяснилось, что когда на Зубра поступил донос, местный группенфюрер дело прекратил, сказав, что этого не может быть.

Таким образом, лично ему ничего не грозило. Здесь, в Бухе, он был в безопасности, мог «возделывать свой сад», ибо ценность всякой теории состоит в ее плодородности. Положение его было исключительно выгодным. Никто не мешал ему в условиях войны продолжать заниматься своим делом. Но что-то испортилось в нем самом. Чувства его очнулись, интерес к работе пропал.

Глыба эта, которая, казалось, ни на что не отзывалась, вдруг ожила. Что произошло? Неизвестно. Он знал, что в условиях гитлеровской Германии ученый должен стараться выжить, спасти культуру, передавать ее людям. Теперь все менялось. То есть он по-прежнему считал, что не его это дело — бросать гранаты, перерезать проволоку. Разрушительную сторону борьбы он для себя не признавал. Более эффективным он считал не убить десяток-другой мерзавцев, а спасти одного человека. Будь он в армии, он бы стрелял; в том же положении, в каком он находился, предпочитал спасать. Во всяком случае, он не мог больше пребывать в бездействии. Его страна воевала с Германией, и от него требовалось участие.

От себя — требовал, Фоме — запрещал. У него возникли первые разногласия с Фомой, старшим сыном. Фоме было уже восемнадцать лет. Его поведение настораживало отца. О чем-то он догадывался, о чем-то не хотел знать. Он лишь твердил Фоме: всякий честный человек должен делать то, что может делать, не более того. «Твое дело наука, — повторял он Фоме, — в ней ты можешь более всего совершить. В науке!» Он мечтал, что Фома станет биологом.

Постепенно мне становилось ясно, что существовала какая-то группа немецких антифашистов, связанная с Бухом, они помогали военнопленным, которым удалось бежать. В тех условиях самостоятельно бежать через Германию было безнадежно. Нашли, однако, возможность спасти беглецов. Надо было превратить их из военнопленных в рабочих, вывезенных в Германию на работы. Для этого надо было снабдить их документами. Научились изготавливать для советских церковноприходские свидетельства, фабриковали удостоверения оstarбайтеров. Еще какие-то бумаги. Подробностей мне установить не удалось.

Все это происходило где-то рядом с Зубром, вблизи. Его не посвящали. Кое-чем Фома делился с матерью, с ней он был откровеннее.

Далее надо было устроить беглецов на работу. Лучше всего для этого годились дальние хутора, туда их направляли батраками. Иногда просили Зубра взять к себе в лабораторию. Таких тоже набралось за годы войны немало. Всего, по некоторым данным, насчитывалось более ста человек, в спасении которых приняли участие Зубр и связанные с ним люди. Фамилии кое-кого удалось установить. Прежде всего тех ученых, кого пристраивали по лабораториям. Поиски этих людей заняли у меня много времени. Надо было за что-то зацепиться — одно, даже единственное свидетельство многое могло раскрыть. Прошло сорок лет. Где эти люди? Куда разбросала их судьба, кто из них жив, как их искать?

Если бы в свое время Зубр рассказал о том, как они спасали людей, можно было бы найти больше свидетелей и фактов. Но он никогда ни словом не обмолвился. Почему? Много позже я догадался, вернее, мне подсказали.

Как проходили поиски материалов — это особое повествование. Помогали друзья и ученики Зубра, работала целая «оперативная группа». Еще раз я убедился, насколько преданы они его памяти — Маша Реформатская, Коля Воронцов, Валерий Иванов, Анна Бенедиктовна Гецева, Володя Иванов...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Первым разыскали Гребенщикова. Он жил и работал в ГДР. Случай помог мне. Я ехал в командировку в Берлин, а оттуда в Веймар.

Июнь стоял изнуряюще жаркий. Машина петляла по немецким проселкам. Мы то и дело сверялись картой. В Берлине никто из моих друзей не слыхал про такой городок — Гатерслебен. На карте он был обозначен самым мелким шрифтом. Из Берлина пытались созвониться с Гатерслебеном, разыскать там господина Гребенщикова. После нескольких попыток телефонный разговор состоялся. Гребенщикова просили принять меня, но он отказался. Он болен, он занят, словом, свидание наше невозможно. Разговаривала с ним моя знакомая Ева Д. Для нее вопрос был исчерпан. Ей было неловко передо мной, она не ожидала, что встретит такой холодный отказ, и старалась смягчить слова Гребенщикова. Я понятия не имел о том, что за человек этот Гребенщиков. Судя по рассказам Н. Н. Воронцова, Гребенщиков прожил в

Гатерслебене все послевоенные годы, работал научным сотрудником в генетическом институте и был человек весьма милый, порядочный.

— Вы сказали, что я хочу говорить с ним о Тимофееве? — спросил я Еву Д.

— Конечно, я повторила все, о чем вы просили.

В этом можно было не сомневаться. Ева в этих делах была безупречно точна.

— Все-таки позвоните, пожалуйста, еще раз. Скажите, что я все равно приеду, — сказал я. — Такого-то числа.

Ева пожалала плечами. Она не понимала, как можно при таком отказе возобновлять разговор. Тем не менее она снова потратила кучу времени, чтобы дозвониться. У меня не было иного выхода. Гребенщиков — один из спасенных, один из живых свидетелей. От него должна была потянуться ниточка дальше.

Гатерслебен лежал в стороне от моего маршрута. Надо было сделать порядочный крюк, чтобы попасть в этот поселок, или городок, или как там еще числится эта дыра.

Дыра оказалась благоустроенным институтским парком с низкими кирпичными корпусами лабораторий. Сам Игорь Сергеевич Гребенщиков — худущим, вытянутым в длину человеком, похожим на Дон Кихота, только без усов. Говорил он по-русски безупречно, с приятной старомодностью, какую у нас можно еще встретить кое-где в провинции. Игоря Сергеевича я застал в лаборатории. Много лет он заведовал отделом прикладной генетики, занимался кукурузой и тыквенными, теперь просто научный сотрудник, поскольку возраст — за семьдесят. Учился он в Белграде. Родители вывезли его из России мальчиком во время революции.

Отвечал не сразу, как бы вслушивался в мой вопрос. Голова втянута в плечи, весь настороже. Но, к счастью, так долго он держаться не мог. Природное радушие взяло верх.

В детстве он увлекался театром и жуками. Точнее — навозными жуками-скарабеем. Война застала Гребенщикова в Белграде. На руках у него был нансеновский паспорт. То есть был он бесподданный. Согласно немецким законам 1941 года ему надлежало ехать на работы в Германию. Прибыв из Белграда в Берлин, он пытался устроиться куда-либо, но не мог. По положению он имел право работать только на государственных предприятиях. Ему предписали отправиться в восточные области. Этого Гребенщиков не хотел. Это означало уже напрямую помогать фашистам в их оккупации. И тут он прослышал, что в Берлине есть некий профессор Тимофеев, который помогает иностранным людям. Тимофеев — биолог, и это заставило Гребенщикова решиться. Он позвонил в Бух. Тут он изобразил голос Зубра, у которого что по-немецки, что по-русски, что по-«аглицки» манера говорить оставалась та же. Гребенщиков объяснил ему: так, мол, и так, с детства занимался жуками. Приезжайте, сказал Зубр. Это было в начале 1942 года. Следовательно, уже тогда в Берлине знали, что есть такой Тимофеев, который пристраивает... Приехал. Встреча, по выражению Игоря Сергеевича, была превосходная. После всех расспросов Зубр сказал: «Я вас устрою заштатным ассистентом».

— И, представьте себе, устроил! Было это хлопотно. После этого

все равно с некоторым страхом я отправился в Восточное министерство сообщить, что не могу ехать, поскольку здесь устраиваюсь на работу. Принимал меня некий Врангель. Видимо, из т е х. Представьте себе — обрадовался! Поздравил. Вот какие зигзаги случались.

Гребенщиков застал в буховской лаборатории других пристроенных — француза-механика, грека Канелиса (сейчас он в университете в Салониках, попутно отмечает Игорь Сергеевич), позже неведомым ему образом появился С. Варшавский из советских военнопленных (он слышал, что тот жив, здоров, работает где-то на Волге). Еще был Бируля, этого вывезли из Ростова эшеленом на работы в Германию. Впрочем, может, он тоже из военнопленных, но его оформили как вывезенного. Были еще голландец, секретарша-полуеврейка — фамилии ему позабылись. Непонятно было, каким образом Зубру удавалось всех их устраивать. Помогало, по мнению Гребенщикова, то, что Бух находился в стороне, в пригороде, во всех смыслах на окраине, ибо на науку гитлеровское начальство внимания не обращало, тем более — какое значение для войны могли иметь генетика, биофизика?

Гребенщиков предупредил, что ему известна из вырученных Зубром только малая часть, те, с кем непосредственно приходилось работать; были и другие, но кто, сколько — не знает, считал, что не вправе интересоваться.

Вскоре Гребенщиков смог выписать свою жену из Белграда и с головой влез в работу, которой его усердно загружал шеф. Жили голодно, недоед заставлял изворачиваться. Для кормления дрозофил выдавали патоку и шроты (кукурузную дербь), сотрудники отбирали у своих дрозофил это питание, посадили мух на голодный паек. Присылали кроликов для опытов по радиации. Облученные кролики в пищу не годились. По мере того как паек сокращался и голод увеличивался, Зубр решил подвергать кроликов слабому облучению. Опыты эти давали тоже любопытные результаты, главное же — слабо облученных можно было есть. Потом, однако, он решил их вовсе не облучать: наука подождет, лучше есть здоровых кроликов. Так и делали. Прирешества устраивали у Тимофеевых. Елена Александровна готовила кролика и приглашала всех. Когда кроликов не было, пекли пудинг из шротов и патоки. Зубр вываливал его на доску для «всеобщего пожирания».

— Он и здесь, в этой обстановке, оставался собирателем. Есть собиратели коллекций, я, например, собиратель жуков (я вам потом покажу свою коллекцию), есть собиратели знаний, он же был собирателем людей. Собирал он их не призывом к чему-то, собирал мыслиеизвержением. Вулкан идей! Одному таланту достаточно писчей бумаги, другому — своей лабораторией, Николаю Владимировичу, Энвэ, как мы его звали, нужны были всегда и всюду слушатели. Ему нужно было делиться, раздавать, спорить, подначивать. Тогда у него высекалась искра нового. В общении.

Слушая Гребенщикова, я поглядывал на портрет, сделанный черным карандашом. В простенькой рамочке, застекленный, он висел над столом Игоря Сергеевича. Я люблю портреты в лабораториях. Они не бывают случайными. На этом портрете был изображен в профиль молодой, носатый, чубатый, губастый человек, и меня вдруг осенило — это

же был Зубр тех лет, сорокалетний. Портрет сделал Олег Цингер, и Гребенщиков выпросил у него.

— ...Что же касается искусства, то мы с ним все время спорили. Ведь это полный абсурд, что он нес про оперу! Переспорить его было невозможно. А его высказывания о Врубеле!..

Давняя досада ожила, заставила Гребенщикова вскочить. Морщинистое длинное лицо его слабо порозовело, он смущался своей горячностью и не мог от нее отделаться.

Самые преданные ученики Зубра, говоря о своем учителе, сохраняют ироничность. Такова традиция — без слепого поклонения. Ничего похожего на пушкинистов, чеховедов, блоковедов, которые и слушать не хотят о каких-либо слабостях, недостатках своих кумиров, для них их изучаемый — совершенство.

— В Германии Энвэ после ареста сына стал ходить в церковь, чтить святых. Считал святых связующим мостом между богом и людьми. Молился о спасении сына.

— Как жили в Бухе? Что за быт был?

— Жизнь у Тимофеевых продолжалась, видимо, с довоенных времен самая что ни на есть простая. Мебель в квартире — с бору по сосенке. На стене несколько картин — подарки Олега Цингера. В столовой большой стол, за которым каждый вечер усаживались гости попить чайку. К русскому обычаю приучили немцев и прочих. После чая сидели в кабинете у самого. Там были диван, письменный стол, книги — научных немного, больше стихов. На ковре вытоптана дорожка, по ней носился весь вечер взад-вперед хозяин.

Об этой вытоптанной дорожке вспоминали многие. О каких-либо достопримечательностях интерьера не вспоминает никто. Зато всем немецким друзьям и ученикам врезались в память порядки лабораторной работы. Какие такие порядки — никто назвать не мог, но порядок был. Соблюдали его две ассистентки, преданные Зубру. И еще — была самостоятельность научных сотрудников. Весь стиль руководства Зубра состоял в «ферментативном» действии на сотрудников (выражение И. С. Гребенщикова). С административными обязанностями Зубр справлялся просто. Два раза в месяц приходил бухгалтер выдавать деньги. Генетический отдел помещался в отдельном флигеле, был автономен, никакой бюрократии не водилось.

— Если мне надо было какую-нибудь научную книгу или особый пинцет, я ехал в город, покупал и подписанный Энвэ счет передавал бухгалтеру.

С техническим персоналом Зубр вел себя аристократически учтиво. В самых тяжелых случаях, когда его просили сделать какой-нибудь нерадивой девице строгий выговор, Зубр соглашался неохотно, долго собирался с духом. Зато в научных спорах он бывал резок, груб и не стеснялся.

В той, гитлеровской Германии, бюрократичной, чиновной, затянутой в мундир, его свобода выделялась ярко. Пытаясь втиснуть его поведение в какую-то рубрику, немцы не нашли ничего лучше, как именовать его *Narren-Freiheit*, что означает как бы право шута говорить то,

что нельзя другим. А возможно, этим колпаком с бубенчиками они защищали его.

Перед отъездом Гребенщиков заставил осмотреть его коллекцию жуков. Открывал коробку за коробкой: крохотные жучки, ювелирно выделанные, и огромные, с ладонь красавцы, словно выкованные или отлитые из металла, рогатые, бархатно-коричневые, вороненые, рубиновые, черно-маслянистые. Цвета чище, теплее, чем у драгоценных камней. К цвету еще и разнообразие поверхностей. Убеждаешься, что живому существу природа дарит лучшие краски и фантазию. В одном только этом виде сколько выдумки. Недаром в древнем Египте жуки-скарабеи почитались священными, их вкладывали вместо сердца в мумии.

На улице, прощаясь, я спросил, почему поначалу Гребенщиков отказывал мне во встрече. Со всей деликатностью, со множеством оговорок он пояснил, что не представлял, для чего мне нужны сведения о Зубре, то есть он понимал, что раз я писатель, то собираю материал — но какого рода материал? Он читал мою повесть о Любищеве, и все же у него были опасения, отчасти извинительные, поскольку о Зубре ходят всякие домыслы, что, может быть, я собирался писать о нем плохое...

Наконец-то всплыла причина. Я рассмеялся. Мы так обрадовались, что крепко обнялись на прощание. Машина тронулась. Улыбка еще держалась на моем лице, но я понимал, что все обстоит не так уж хорошо, если опасения эти дошли и сюда, в дальний немецкий институт, и если из-за этого могут избегать встречи со мной.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Имя Сергея Николаевича Варшавского в наших розысках всплывало несколько раз, найти его было непросто, еще труднее было добиться от него ответа.

Выяснилось, что жил он в Саратове, работал там по своей специальности зоолога в институте. Несмотря на энергичную помощь Коли Воронцова, Сергей Николаевич долго отмалчивался. Видимо, по тем же соображениям, что и Гребенщиков. Наконец я уговорил его написать мне хотя бы вкратце о том, как он попал в Бух. Вот его воспоминания:

«Встреча с Николаем Владимировичем произошла в конце 1944 года, после того как мы, моя жена Клавдия Тихоновна, Иван Иванович Лукьянченко и я, пережив очередную бомбежку, бежали с фабрики. Работали мы там в качестве остарбайтеров, после того как нас вывезли из Ростова-на-Дону в Германию.

На фабрике уже давно ходили слухи о том, что в одном из пригородов Берлина, в Бухе, живет русский профессор, который помогает советским и другим иностранным рабочим, вывезенным насильственно в Германию».

Строки эти были для меня чрезвычайно важны. В 1942 году Гребенщикову тоже посоветовали обратиться к некоему русскому профессору, который помогает иностранным людям. Следовательно, и в 1942 и в 1944 годах в Берлине циркулировала устойчивая молва о русском профессоре-вызволителе. Потом Гребенщиков в одном из писем ко мне уточнил, как это произошло. Оказалось, что он прослышал о Тимофееве

на толчке, который крутился на Александерплатц. Там был своеобразный рынок новостей, сведений, и среди прочих слух шел и о русском ученом.

«Бежав с фабрики,— продолжал Сергей Николаевич Варшавский,— мы решили попытаться найти этого профессора и тоже просить о помощи, у нас не было никакого иного выхода. Берлин в это время подвергался систематическим, почти ежедневным страшным налетам англо-американской авиации, не только по ночам (как это было в 1943 году), но и днем... Пройдя несколько километров по разрушенному и пылающему городу, мы попали в Бух. Этот поселок-пригород порастил нас своей целостью, союзники его почему-то не трогали.

Институт, где, нам сказали, размещалась лаборатория профессора, занимал многоэтажное здание в большом парке. Иван Иванович и я остались ждать в парке, а Клавдия Тихоновна отправилась искать Николая Владимировича, чтобы узнать о возможности устройства нашей судьбы. Через некоторое время Клавдия Тихоновна вернулась и радостно сообщила, что Тимофеев ждет нас всех.

После встречи и знакомства Тимофеев сказал, что знает нас по научным работам и постарается нас устроить. Походив немного по своему кабинету, небольшой рабочей комнате, кажется, угловой, Энвэ предложил мне подумать о возможности работать у него в питомнике экспериментальных животных, сказав, что, к большому сожалению, другой должности в лаборатории у него пока нет. Я не раздумывая, конечно, согласился. Потом Энвэ попросил Клавдию Тихоновну извинить его за то, что из-за отсутствия мест он не может принять и ее, но обещал достать продовольственную карточку ей как члену семьи. Тут же написал записку своему знакомому, старому русскому врачу А. И. Соколову, с просьбой устроить И. И. Лукьянченко на работу в соседнюю больницу тут же, в Бухе. Мне Энвэ сразу выдал справку о том, что я являюсь сотрудником его лаборатории, продиктовал текст девушке, сидевшей за машинкой в соседней комнате. Справка была оформлена в течение нескольких минут.

Наша судьба была решена. Мы не знали, как благодарить Энвэ. Он же, быстро ходя по комнате и улыбнувшись, сказал, что ничего особенного не сделал и что это его долг — помочь в страшное время. Насколько мы узнали потом, Энвэ так спас (во вполне конкретном смысле) несколько десятков (и наверняка более) иностранцев, прежде всего советских, русских.

Впечатление от знакомства и общения с Энвэ было самое поразительное. Никак не укладывалось в голове, что в самом центре Германии, в столице смертельного врага, может жить и активно действовать, рискуя все время жизнью, человек, который не только был русским патриотом, но и открыто этим гордился. Стены кабинета Энвэ были увешаны портретами русских ученых — естествоиспытателей и биологов от М. В. Ломоносова до Н. А. Северцова, М. А. Мензбира, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова и С. И. Огнева».

«Мой иконостас» — так это называл Зубр.

Действительно, как это могло быть? И ведь это не в 1944 году началось и даже не в 1943-м и происходило на глазах у всех. Не мудрено,

что в местное гестапо шли доносы. Как же это могло происходить и продолжаться?

С этим вопросом я, будучи в Берлине, обратился к Роберту Ромпе, известному немецкому физику, связанному в те годы по работе с Кайзер-Вильгельм-Институтом, в который входила лаборатория Зубра, и жившему одно время в Бухе. С Николаем Владимировичем у них сделано было несколько совместных исследований.

Это так говорится — обратился. Встречи с Р. Ромпе я добивался неделю. С ним повторилась та же история, что с Гребенщиковым. Они все опасались, что их свидетельства используют против Зубра, что они могут чем-то повредить его памяти.

Я встретился с Ромпе в его Институте электронной физики. Он мне сказал:

— Тима не трогали потому, что слава его к тому времени была настолько велика, что это было просто невозможно. Так же как не трогали Макса Планка и Макса фон Лауэ, великих немецких физиков, известных своими антифашистскими взглядами. Тим имел уже Кистяковскую медаль и считался самым известным генетиком. Добавьте сюда и то, что авторитет Кайзер-Вильгельм-Института стоял так высоко, что покушаться на него возбранялось.

Затем Ромпе вспомнил, как Тим поил водкой нужных людей, когда надо было, чтобы на еврея изготовили справку о полуеврейском происхождении, потому что полуевреям уже разрешалось работать на некоторых должностях.

Ромпе хорошо говорил по-русски. Он был из петербургских немцев. Ему ко времени нашей встречи было около восьмидесяти лет. Он руководил институтом и, судя по всему, работал много. Мы сидели с ним в его директорском кабинете. Ромпе был тоненький, хрупкий, смуглый, напоминал засушенный цветок.

Судя по кое-каким фактам и по некоторым замечаниям, оброненным в свое время Зубром, Роберт Ромпе был связан с антифашистским подпольем. Во время войны он возглавлял лабораторию фирмы ОСРАМ, известной своими лампами накаливания. Занимался он физикой плазмы, физикой твердого тела... По-видимому, в те годы он много пережил. Жаль, что я не сумел упросить его рассказать о собственной его подпольной деятельности. Знаю лишь, что она была активной и после войны он возглавил руководство высшими школами и научными учреждениями ГДР.

— ...Организовать помощь советским военнопленным было, конечно, трудно. Они помирали с голоду...— Ромпе, вдруг что-то вспомнив, перескочил: — Тим отличался огромным мужеством... Я у него жил два месяца. Это было уже в сорок пятом году...— Он опять замолкает. Чувствуется, что сейчас он вспоминает куда больше, чем рассказывает, не в пример другим вспоминающим. Он из тех старых людей, которые не любят рассказывать лишнее, тем более о себе. Как назло, мне попался такой редкий случай.

Что означает фраза о мужестве? Я возвращаю его к ней.

— Ах, это... Ну вот, например: один человек прибежал к Тиму зи-

мой сорок пятого из тюрьмы, она сгорела под Дрезденом. Был он явно не арийского происхождения. Тим его спрятал. Не побоялся.

Похоже, что Зубр и впрямь никого не боялся, ни наших, ни ихних. Ни до, ни после победы. Но прежде мне необходимо закончить с перечнем спасенных им людей.

После всех расспросов, собранных документов, свидетельств удалось установить, что среди спасенных были французы братья Пьер и Шарль Перу, Шарль был офицер французской армии, блестящий физик. Были грек Канелис, китаец Ма Сун-юн, голландец Бауман, затем были русские супруги Паншины, Александр Сергеевич Кач, полунемец-полурусский, жена его была еврейка, вот ее особенно трудно было спасти. А. С. Кач впоследствии стал директором института в Карлсруэ. Был француз Машен — слесарь-механик, еще один француз, рабочий, фамилии его узнать не удалось. Были полунемцы-полуевреи Петер Вельт и лаборантка Негнер. Выяснилась фамилия того человека, который бежал из дрезденской тюрьмы, — Лютц Розенкеттер. Это не считая тех, о ком я рассказывал раньше. Кроме того, в лаборатории, естественно, продолжал работать прежний штат немцев, научных сотрудников, лаборантов, среди которых неизменные физик Карл Гюнтер Циммер и физикохимик Борн.

Поскольку штаты лаборатории были заполнены, больше брать людей было нельзя, Зубр договорился об организации в других институтах как бы дочерних лабораторий. Так, в концерн «Ауэргезельшафт» он отправил Игоря Борисовича Паншина.

«Энвэ отправил меня к Рилью с официальной анкетой по оформлению на работу. Риль принял меня в своем большом и мрачном кабинете в одном из корпусов исследовательского центра Ауэр. Был сдержан и официален, разговор был краток — о том, что нам с Энвэ следует организовать тут, у него, лабораторию. Вероятно, эта первоначальная идея имела какой-то не научно-производственный смысл (разрядка моя. — Д. Г.), обдуманный Энвэ с Рилем, так как потом вскоре она была отменена и мое и Сашки (жена Паншина Александра Николаевна. — Д. Г.) рабочее место было рядом с кабинетом Энвэ, в большой комнате, где было и рабочее место Энвэ и Елены Александровны».

Это из письма Игоря Борисовича Паншина. Он предельно обстоятельно, с добросовестностью влюбленного в Зубра человека написал мне из Норильска несколько больших писем. События тех лет он воссоставляет с подробностями и со своими догадками.

«В первый месяц моего пребывания в Берлине Энвэ решил устроить некоторую проверочную акцию...»

Возможно, что Зубр тогда сомневался в Паншине, на то были основания, но возможно и другое — хотел доказать окружающим, что взятый им из военнопленных человек действительно специалист, а не самозванец.

«...Он предложил мне сделать доклад о моих уже опубликованных работах в присутствии сотрудников института. Народу было мало, но были какие-то мне незнакомые лица (фюрер местной организации Гирнт и другие). Докладывал я по-немецки, помогло прошлое чтение работ Энвэ на немецком языке. Я сказал о том, какую работу хотел бы

поставить в лаборатории. Доклад прошел успешно. Мои планы были одобрены. Энвэ и Циммер многозначительно кивали: «Да, это сейчас очень важно», хотя обоим было ясно, что важно это сейчас только для ученых».

«...У меня с Ромпе началось научное сотрудничество по применению разработанного мной метода микрофотографии в длинноволновом ультрафиолете. Ртутно-кварцевые лампы, необходимые для этого метода, разрабатывались на заводе ОСРАМ. Ромпе пригласил меня на свой доклад по этим лампам, показал завод (кстати, Ромпе потом способствовал спасению этого завода)».

Риль, о котором шла речь, — из русских немцев, звали его Николай Васильевич, — замечательный немецкий физик, в те годы занимался технологией урана. Один из близких Тиму людей... Риль еще появится в нашем рассказе.

Паншин же Игорь Борисович — сын известного селекционера и биолога, арестованного в 1940 году. В детстве помогал отцу в работах, пятнадцатилетним мальчиком, выловив в Днепре рыбину нового вида, написал о ней серьезную статью и привлек к себе внимание специалистов-зоологов. После Ленинградского университета стал работать в кольцовском институте. Там все внимательно следили за успехами Зубра, знали через Кольцова о самых последних его работах — как-никак Зубр был их представителем в Европе. Впрочем, Игорь Паншин знал о Тимофееве еще раньше, когда студентом работал у Николая Ивановича Вавилова в лаборатории генетики. Он ставил опыты по радиационной генетике и, естественно, прежде всего изучал работы Зубра, тогда ведущего специалиста, лидера в этой области. Было это в 1933—1934 годах, когда в Ленинград по приглашению Н. И. Вавилова приехал Герман Мёллер.

— Для нас он был светило. И вот этот Мёллер заинтересовался моими работами, предложил мне их опубликовать. Я написал статью, и там были, конечно, ссылки на Николая Владимировича. Но что нас всех поразило тогда — с каким восхищением Мёллер отзывался о Тимофееве. Он работал с ним в Бухе...

И далее Паншин вспомнил еще одну встречу с Зубром, пусть заочную, но чрезвычайно важную для меня.

Это было летом 1938 года в Институте генетики.

— Я был в оранжерее у Дончо Костова и встретил там Николая Ивановича Вавилова. Он сказал: «Вот скоро поедem на конгресс генетиков, там и решим вопрос о переезде Тимофеева-Рессовского». Но сказано это было как-то без обычного вавиловского оптимизма. Мёллера уже в Москве не было, вавиловский институт в области теоретических направлений был обезглавлен, у всех у нас настроение было подавленное...

Что означала эта фраза Вавилова? Очевидно, узнав о конфликте Зубра в советском посольстве, он надеялся уладить это дело на Международном конгрессе. Вот-вот в Москве должен был собраться VII Международный генетический конгресс. Совнарком уже два года назад утвердил советский оргкомитет, который выработал программу конгресса и состав. Тысяча семьсот генетиков мира сообщили о своем со-

гласии участвовать. Вавилов и его сторонники возлагали большие надежды на конгресс. Крупнейшие ученые мира должны были подтвердить их правоту в борьбе со лженаукой, со средневековыми воззрениями вроде того, что новые сорта можно выводить, воспитывая злаки, и тому подобное.

Вавилов ждал, что Тимофеев приедет на конгресс или, во всяком случае, когда на конгрессе будет восстановлена подлинная наука, Тимофеев сможет без всякого риска вернуться домой.

Осенью 1937 года вышло решение отложить конгресс на год, затем новый президент ВАСХНИЛ Т. Д. Лысенко стал делать все, чтобы конгресс в СССР не проводился. Международному оргкомитету пришлось перенести конгресс в Эдинбург на сентябрь 1939 года.

Зубр вместе с Мёллером, Харландом, Добржанским и другими предложили избрать Н. И. Вавилова президентом конгресса. Ученые других стран горячо поддержали. Зубр ждал его приезда, надеясь, что Вавилов найдет для него выход, подскажет, поможет вернуться в Москву. Казалось, Вавилов может все. Зубр держался за свою надежду до последнего часа, до той минуты на открытии конгресса, когда было объявлено, что Вавилов не приедет. Не пустили.

Так они ждали друг друга и не дождались, остались по обе стороны закрытой для них двери.

Иллюзии рухнули. Отныне Зубр мог надеяться только на себя.

Паншин живет в Норильске. Он давно уже оставил биологию. Но это другая история. Когда я его отыскал и списался, то стал аккуратно получать от него одно послание за другим, подробные воспоминания о Тимофеевых, десятки страниц, заполненных мелким почерком. Затем прибыл он сам, прилетел из Норильска, и несколько вечеров я слушал его рассказы. Несмотря на возраст, он был крепок, увлекался горнолыжным спортом, профессионально занимался фотографией. Личная его судьба не проста. Он прошел и войну и плен, в плену работал в танковой дивизии переводчиком... Сложны были его приключения, неожиданны повороты судьбы, интересна история любви, женитьбы. Но приходилось ограничивать себя и его. Я твердо останавливал Паншина, не позволяя уклоняться, возвращал в Берлин, в Бух, в лабораторию. Я выступал делягой, лишенным нормального человеческого сочувствия, — вот кем я был. И так каждый раз. Бессердечность. безучастие — как странно уживается это с литературной работой.

— ...Следующую информацию об Энвэ, — продолжал свои рассказы Паншин, — я получил весной сорок второго года, в плену. Случайно я разговаривал с унтер-офицером Ракелем, мюнхенским архитектором и тренером горнолыжников. Он сказал мне, что проектировал и строил виллу для известного немецкого генетика Веттштейна. Тогда я спросил, не слышал ли он фамилию Тимофеев-Ресовский. Он слышал и был уверен, что Тимофеев жив и работает в Берлине.

Вскоре Паншин стал искать возможность пробраться к Тимофееву. Для этого понадобилось немало времени. Но к тому моменту в жизни Зубра произошли события чрезвычайные, страшные, вновь перевернувшие его жизнь.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Все годы после войны о судьбе старшего сына в доме Тимофеевых не принято было заговаривать, чтобы не тревожить рану. Всем было известно, что Фома погиб в гестапо.

Фома родился в 1923 году, его увезли в Германию двухлетним мальчиком, и лишь те, кто бывал в Бухе, знали его. Таких людей осталось немного. Для них Фома был фигурой почти легендарной.

Елена Александровна до последнего своего дня жила с тайной безумной надеждой на чудо, на то, что Фома жив. Между собой она и Зубр избегали говорить об этом. Мне кажется, что в глубине души каждый из них считал себя виновным в гибели Фомы. По крайней мере у Зубра я ощущал это грызущее, ноющее чувство.

В те времена я не собирался писать о Зубре, никакого такого замысла у меня не было. Как и другие, я просто подставлял микрофон, чтобы сохранить в памяти его рассказы про запас, который лучше богатства. Однажды он рассказывал про немцев в войну:

— ...Росло ощущение, что Гитлер проигрывает. Все говорили, что немцы, наверное, как и в первую мировую войну, выложив все свои фактические преимущества, повторяют и все стратегические ошибки, свою безграмотность, проявленную тогда. Они живут не по английской поговорке. Англичане позволяют себе проигрывать все сражения кроме последнего, — последнее надо выиграть. А немцы выигрывают все свои сражения, кроме последнего, а вместе с ним проигрывают и войну.

Мы посмеялись, и тут я, вдруг забыв про табу, спросил, как все произошло с Фомой.

Зубр помрачнел, сказал зло:

— Зачем это?.. Фома — не индульгенция. Хотите украсить меня? Писателю нужен, конечно, сюжетец? Как же без сюжета! Венец терновый... Оправдание... Все ваши сюжеты — вранье. Жизнь бессюжетна...

Я забыл выключить запись, и у меня сохранилась его ругательная речь, где он, распалясь, трепал и топтал меня, и мои книги, и все, что я собирался писать и способен написать. В гневе он несправедлив, останавливать его нечем. До сих пор я не могу прослушать до конца эту рычащую, клокочущую запись, полную запрещенных ударов, обидных сравнений.

А потом на следующий день он позвонил, пригласил приехать и, ничего не объясняя, не извиняясь за вчерашнее, наклонясь к микрофону, сухо и кратко изложил историю с Фомой:

— Сын мой был арестован. Он попал в Маутхаузен и там погиб. Да, погиб!.. Он жил с нами, но болтался в русских компаниях в Берлине. Они проделали довольно большую работу: спасали восточных рабочих, пытались подкармливать военнопленных в лагерях, помогали оттуда удирать тем, кто еще мог двигаться, снабжали документами «остарбайтер», а потом бежавшие давали себя поймать и попадали в лагеря восточных рабочих, которые были на порядок терпимее. Так как мой сын хорошо знал несколько языков, то для всяких лагерей, где были также и западные и южные рабочие — югославы, французы, бельгийцы, голландцы, — были северные рабочие — датчане, были чехи, для них на

машинках перепечатывали, фотографировали сводки английские и советские. Было несколько таких подпольных групп, в основном русских, из эмиграции. Остальные были немцы, сыновья крупных чиновников. А сел Фома потому, что нашелся провокатор в их группе. Тогда арестовали около полсотни молодых людей. Это было в сорок третьем году. Фома был студентом-биологом. Фамилию носил Тимофеев-Ресовский. Двойная фамилия на нем и кончилась, потому что младший сын, Андрей, просто Тимофеев.

Вот все, что было в том единственном его рассказе про Фому.

Начав писать о Зубре, я стал собирать и то, что известно о Фоме. В семье Ляпуновых хранились фотокопии писем Фомы из лагеря, писем о нем. Затем я расспросил Роберта Ромпе, запросил Олега Цингера, вы-знал что мог у младшего брата Андрея. Я расспрашивал и запрашивал всех, кто мог знать про эту историю. Постепенно выяснилось следующее.

Фома действительно входил в какую-то организацию. Туда входили кроме детей русских эмигрантов и дети крупных немецких врачей, в том числе почему-то врачей из Гамбурга. Вообще это была, судя по некоторым данным, молодежная группа. Были там также дети известных людей и даже государственных деятелей. Роберт Ромпе упомянул сына К. Каутского. Что они делали? Кроме того, о чем говорил Зубр, они добывали лекарства, лечили военнопленных, среди которых свирепствовала цинга, дистрофия, помогали скрываться беглецам. Фома, как известно, укрывал двух французских летчиков.

Отца и мать Фома не посвящал в свою деятельность. Оберегал их. Особенно не хотел вмешивать в такие дела отца — слишком он не-сдержанный человек и открытый. Это понимали все, кто хоть немного знал Зубра. На допросах Фома, видимо, убедил гестапо в том, что родители ничего не знали. Зубра не вызывали к следователю, не предъявляли претензий. Между тем он давно догадывался о некоторых связях Фомы, о подполье — иногда Фома пропадал на несколько дней, появлялись какие-то люди, ночевали, исчезали.

Все, что делал Фома, выросло из убеждений, взглядов отца, отцовского примера. Тем не менее сам Зубр твердил, что Фома не должен заниматься нелегальщиной, тайными организациями — это не для ученого. Давняя история с Кольцовым и Мензбиром вошла ему в плоть и кровь. Фома, считал он, должен был стать хорошим ученым, для этого он имел все данные.

Арестовали Фому 30 июня 1943 года, отвезли в берлинскую тюрьму.

Начались хлопоты. Гейзенберг, Вайцзеккер и другие немецкие ученые обращались к влиятельным чиновникам, просили, ручались... Добились того, что Тимофеевых согласились принять на каком-то высоком уровне. Зубр упирался. Елена Александровна заставила его поехать. Она умела избавлять его от тяжелых решений, взваливая их на себя. Понимала, что его этим не обманешь, но так ему становилось легче. Лелька была единственным человеком, перед которым он позволял себе падать духом, быть слабым, жалким, безвольным. После ареста сына никто не ожидал от этой хрупкой женщины такой энергии и стойкости. Она не останавливалась ни перед чем. Никакие предостереже-

ния, угрозы на нее не действовали. Во время визита им удалось вымолить обещание сохранить Фоме жизнь.

Но вскоре высокое лицо, у которого они были, отказалось помогать: раскрылось слишком много фактов. В группе Фома играл, очевидно, значительную роль. Все же какие-то неопределенные обещания удалось вырвать. Разрешили свидания, разрешили передачи. 11 ноября в Бухе они справили день рождения Фомы, ему исполнилось двадцать лет.

Сохранилась копия письма к нему от одного француза. По-видимому, писал тот самый француз, которого Фома прятал и которого арестовали вместе с ним. Возможно, это был французский летчик. Его потом обменяли. О том, что это был именно он, однажды обмолвилась Елена Александровна. Для меня было важно, что это же подтвердил мне Гребенщиков:

«...Фома был арестован гестапо за то, что укрывал французских летчиков и помогал русским военнопленным в лагерях. Что там с ним происходило, мучили его, пытали — ничего не известно. Николай Владимирович был подавлен, упал духом. Все передачи делала Елена Александровна, она держалась молодцом и заставляла держаться мужа».

Письмо француза замечательно не только личностью пишущего, его горячим чувством к Фоме, но и образом самого Фомы, который возникает из проникновенных строк этого документа:

«Берлин, 17 октября 1943 г.

Мой дорогой друг Дмитрий!*

Я не хочу покидать Берлин, не сказав тебе прощай. Это и понятно, так как мы провели вместе долгие недели, самое грустное время нашей жизни, самое грустное потому, что нам не хватало свободы, а только свобода может сделать человека счастливым. Это судьба, что я выхожу отсюда первым, но уверяю тебя, мой дорогой, что я предпочел бы видеть тебя первым выходящим отсюда.

Прощаясь с тобой, дорогой Дмитрий, я хочу сказать, что ты в моей жизни являешься тем редким человеком, в котором чувство дружбы никогда не исчезает. Ты проявил по отношению ко мне и по отношению к другим товарищам чувство необычайной ценности, чувство великое и совершенное — чувство товарищества. Случай помог мне узнать в тебе не просто молодого человека, но человека зрелого, характер исключительный и чувства необычайно тонкие.

Дорогой Дмитрий, сохрани эти качества на всю жизнь и благодари провидение, которое дало тебе родителей, чье совершенство и вырастило те качества твоего характера, о которых я говорил. Не нужно просить тебя оставаться верным себе и дальше, человек, склад ума и души которого сформировался, как у тебя, себе никогда не изменяет. Живи, мой друг, для будущего. Ты выйдешь однажды, война закончится, и придет новая эра. И тогда мы сможем возобновить наши контакты и даже, может быть, увидеться. С огромной радостью я приму первые из-

*Напомню, что это подлинное имя Фомы. Письмо дается в переводе с французского.

вестию от тебя, с огромным нетерпением буду ждать возможности увидеться с тобой в других обстоятельствах.

Всю мою жизнь я буду вспоминать грустные вечера, которые мы просиживали вдвоем на краю окна в нашей камере и, любуясь звездами, строили планы, думали о будущем, мечтали о свободе. У нас были моменты уныния, но надежда не покидала нас никогда.

Бесполезно добавлять, что наш друг Петров представляется мне тоже существом, которое я никогда не забуду. Это человек высокой доблести духа, и характер у него такой, как нужно.

Завтра я возвращаюсь в Салоники, чтобы взяться за работу. Я необыкновенно рад возможности поехать туда. Нора меня, конечно, ждет. Без специального позволения секретной полиции я не могу вернуться в Швейцарию. Это не так уж меня расстраивает, хотя моя жена и хотела бы меня видеть. Ты знаешь, что Греция стала моей второй родиной, и невозможность поехать туда была бы для меня страданием.

Прощай, мой дорогой друг! Я снова тысячу раз благодарю тебя за все. Будущее покажет тебе всю меру моей признательности. Мои наилучшие пожелания тебе в случае, если ты скоро вернешься домой, в противном случае я желаю тебе мужества, много мужества, чтобы выдержать тюремные страдания. Дружески обнимаю тебя».

Не у кого спросить — кто такой Петров, кто такая Нора. Отрывок без начала и продолжения. Как у Пушкина:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я.
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...

Утешения и надежда пропитаны в письме незаметной, наверное, для автора печалью. Понимал ли он меру опасности, грозящей Фоме? Или же это сегодня видим мы, знающие, что случилось потом? Так или иначе — облик двадцатилетнего юноши приоткрылся передо мною.

В июле 1944 года произошло покушение на Гитлера, и положение всех политических заключенных резко ухудшилось. Гитлеровцы теперь расстреливали, уничтожали, не считаясь ни с какими именами. Был расстрелян сын Нобелевского лауреата, великого немецкого физика Макса Планка, замешанный в заговоре Штауффенберга. Планк ничего не смог сделать. В августе 1944 года Фому перевели в концлагерь Маутхаузен. Об этом сохранилось письмо некоего Николая, товарища Фомы по берлинской тюрьме:

«29.7.44.

Добрый день, дорогая Елена Александровна, ваш муж и сын Андрей! Прошу извинения, что так начал, но иначе я не мог начать, потому что я с Фомой просидел вместе семь с лишним месяцев и я его считаю за своего родного брата. Он, вероятно, вам писал уже обо мне. Меня зовут Николаем. Напишу вам несколько строк о том, как Фома разлучился со мной. Это было вчера утром, в 4.30 утра. Ему сказали 27 июля, что он должен будет с транспортом в 7 часов 47 минут выехать в концлагерь Маутхаузен. И он сказал, чтобы наш общий знакомый (вы знае-

те, конечно, кто) передал вам записку о том, чтобы вы что-нибудь ему прислали в дорогу. Он так и сделал это с расчетом в 6 часов утра прийти сюда и передать ему все. Но ночью пришло изменение об отправлении транспорта. Вместо 7.47 он должен был отправиться в 4.50, то есть почти на три часа раньше. Он принес пакет и передал мне, но когда я понес его, чтобы передать Фоме, то мне сказали, что он уже рано утром уехал. Мне пришлось только сожалеть об этом, конечно. Причем получилось все досадно это в последний раз. До сих пор все пакеты, которые вы оставляли в бюро, мне с тем стариком удавалось забирать, а в этот раз не удалось. И со вторым пакетом тоже получилась неудача. Но это должно было когда-нибудь быть, потому что говорят по-русски: не все коту масленица, должен и пост быть. Этот человек пакет оставил у меня, потому что ему Фома сказал: в случае неудачи пакет он должен оставить у меня. Но я думаю, что там есть тоже хорошие люди, через которых можно будет снова устроить тесную связь. Распрощались с ним мы чисто по-братски, то есть пожали друг другу руку, поцеловались и пожелали взаимно как можно скорее освободиться от решеток и конвоя и продолжать так же свободно жить, как и раньше.

Я понимал его внутреннее стремление к вам, но всегда предупреждал, что несмотря на то, что ты еще молодой, ты должен во всех неудачах учиться терпеть. Осмелюсь немного написать о себе. Я сам был офицером в русской армии, по одной случайности попал в плен, потом оттуда бежал и пробрался в Германию, где в продолжение 1¹/₂ года работал и вследствие одной глупой неосторожности попал соседом к Фоме. Сам я тоже из Москвы, с Таганской площади. О вашем муже я слышал и в Москве и в Берлине только хорошие отзывы. Хочу сообщить еще одно. Александр Романов, офицер, что был у вас дома и рассказывал о Фоме, снова арестован и сидит у нас, я его сегодня видел, затем другой, черный такой, грузин, который был у вас, тоже арестован и сидит в одиночном заключении у нас. Ну, больше не хочу отвлекать вас посторонними вещами. Что представляет из себя этот концлагерь, я вам сказать не могу, потому что сам не знаю. На этом заканчиваю свое послание по приказанию Фомы. Извините, пожалуйста, что плохо написал, это все из-за отсутствия света и стола. И еще я хотел попросить вас об одном. Если получите какую-нибудь весть от Фомы, то прошу убедительно сообщить мне, если я еще буду находиться тут, через того же человека. А от меня передайте горячий привет и наилучшие пожелания.

Остаюсь жив и здоров, чего и вам всем желаю.

Многоуважающий вас всех и Фому

Николай».

Кто этот Николай — неизвестно.

Из Маутхаузена сохранилось единственное письмо (вернее, записка), Фомы, на лагерном бланке, написанное по-немецки. Может, оно и было одно:

«Маутхаузен. 8.12.1944.

Дорогие родители и брат!

Я здоров, и все идет нормально. Ваше письмо от 6/9 я получил и от

13/9 также, спасибо вам. Пакет я еще не получил, но зато 25/9 получил извещение на пакет, за что вас благодарю. Я думаю часто о каждом из вас и шлю вам сердечный привет от верного сына.

Дмитрий Тимофеев».

И еще две записки — скомканные клочки, переданные, очевидно, тайком, от двух русских заключенных.

«6.12.44. Добрый день. Сердечно благодарю за ваши услуги, все получил — масло, хлеб, табак. Передайте Фомке привет. Остаюсь жив и здоров. Сижу все закованный, изменений нет.

Александр».

На обороте:

«Писать много нельзя, время... (далее два слова неразборчиво) сердечная благодарность всем моим знакомым. Пока.

Александр».

«7.12.44. Добрый день. Здравствуйте. Сердечно благодарю за передачу, получил табак, хлеб, масло. Большое спасибо. Изменений в жизни пока нет, что решат господа, неизвестно. Наручники до сих пор не сняли. Передайте Фомке сердечный привет... (неразборчиво) Сергею. Остаюсь пока жив и здоров, желаю вам во всем успехов, Андрею в учебе, без трудностей ничего не дается. Сердечно благодарю за передачу, желаю успехов во всем. Пока до свидания. Пишу ночью при лунном свете после тревоги, передайте, пожалуйста, иголку.

Фоменков».

Возможно, этот человек бывал у Тимофеевых, знал об Андрее, о его школьных делах. Или же это один из тюремных друзей Фомы?

Вторая записка написана торопливо, косым почерком. Выдалась, наверно, в один и тот же день okazия передать две записки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Выяснить, кто они, товарищи Фомы по заключению, не удалось. Записки эти лежали в семейном архиве Тимофеевых, хранящемся у Ляпуновых. Из них следует, что Тимофеевы продолжали помогать заключенным и после того, как Фому перевели в Маутхаузен, передавали продукты в тюрьму, пользуясь налаженной связью.

Выдал Фому человек, который жил у Тимофеевых в доме, и об этом Фому уведомили почти тотчас. У Фомы оставалось еще несколько часов до ареста, он мог скрыться, мог уехать в Гамбург и оттуда пытаться бежать, переехать в Данию. Было несколько вариантов. Но он знал, что по законам гитлеровского государства будут брошены в лагерь отец с матерью. Поэтому он не пытался бежать ни тогда, ни позже.

Концлагерь Маутхаузен оставлял мало надежд.

Зубр заставлял себя идти с утра на работу, выслушивать сотрудников, отвечать, советовать. С отъездом Фогта у него работы прибавилось. Он что-то говорил, подписывал, двигался по заведенному распорядку из кабинета в лаборатории — одну, вторую, в животник, вверх, вниз, но душа его оцепенела, ум бездействовал.

Если бы он взял семью и уехал в Америку, в Италию, к черту на кулички... Если бы он согласился вернуться в Россию тогда, в 1937-м... Если бы не подавал Фоме примера, не помогал выручать людей... Если бы в гордыне своей не возомнил, что нет ничего выше науки...

Возмездие настигло его. Неумолимое возмездие.

Много путей было предотвратить арест Фомы, да что там арест, теперь речь шла о его жизни. Он чувствовал, что Фоме не выбраться, его уничтожат. Германия двигалась от поражения к поражению, гестаповцы зверели, и шансов сохранить жизнь Фомы становилось все меньше.

Он стал ездить в церковь. Дома молиться не мог. Русская православная церковь стояла нетопленная, скупотонкие свечки еле освещали замерзшие лики. Он опускался на колени на ледяной кафельный пол, бил поклоны. Молился истово. Он все делал истово. Молитва избавляла от чувства бессилия. Больше ничто не может помочь, только чудо. К кому еще обращаться? На что надеяться? Если бы он что-нибудь мог сделать, чем угодно выручить... Он вдруг обнаружил, как дорог ему сын. Наука, успехи, истина, открытия — все, что так занимало, что, казалось, составляло смысл жизни, — все растаяло, рассыпалось ненужной шелухой. Не остается никаких ценностей, когда дело доходит до жизни ребенка. Фома снова стал ребенком, и отец готов был отдать все, что имел, что приобрел — свои знания, труды, славу, — лишь бы вытащить его. Как он мог раньше не понимать этого, считать детей само собой разумеющимся приложением к браку? Вспоминал, как мальчиком Фома ходил во французскую гимназию, как полюбил французский язык. Вспоминал, как последние годы придирался к Фоме: медленно соображает, нет своих мыслей, студент, а ни к чему толком еще не прилепился. Его сын должен блистать чем-то необыкновенным. Способности — это мало, талант нужен. Война? Ну и что с того? Война придет и уйдет. Кричал на него: глуп, туп, неразвит. Это про Фомку — красавца, милягу, умницу...

Туп и неразвит душевно был он сам... Сына прозевал. Нашел, когда утерял. Опоздал, всего чуть опоздал, место еще теплое. Господи, спаси Фому, помилуй меня, помилуй всех нас, сжался надо мной! Пощади его, господи, не дай погибнуть!

Он ложился отдельно от Лельки, чтобы не мучить ее своим отчаянием.

Если Фома погибнет, это будет его вина, это он не сумел его убедить. Когда же он прозевал, в какой момент? Ведь он, Зубр, бежал от политики, как мог, уклонялся от всяких высказываний, организаций. Все равно она настигла, проклятая политика.

Олег Цингер писал мне, вспоминая Фому:

«Один раз я поехал с Фомой в город, чтобы купить ему хороший перочинный нож. Нож мы купили какой хотели, а потом пили чай в

кафе. И вдруг мне Фома рассказал, что он хочет убить Гитлера, и что он состоит в заговоре с друзьями, и что он уверен, что ему это удастся! Говорил он бодро и весело. Говорил, что никогда бы это не сказал отцу, с которым вообще трудно ему разговаривать, ибо отец его только ругает... Потом Фома долго говорил о России, где, по его мнению, были самые быстрые поезда, самые хорошие дороги, самые большие тигры и орлы и самый лучший народ в мире. Я был тронут, что Фома был так искренен со мной, но мне стало одновременно печально и очень страшно... Я почувствовал, как Фома впитал в себя все то, что Колюша ему рассказывал о России, и как по-детски он все это воспринял, и как опасно то, что он задумал. Я должен был дать слово никому ничего об этом не рассказывать».

Многие обитатели Буха не могли понять, зачем этому юноше столь знаменитой фамилии, с обеспеченным будущим — зачем ему было пускаться в страшные дела. Он был предназначен для другого.

В лабораторию русского профессора устремлялось все больше беглецов, остарбайтеров, русских, нерусских. Всех их надо было пристраивать, добывать справки. Спустя два месяца после ареста Фомы Зубр посылает бумагу в лагерь Тушенвальд, чтобы разрешили использовать «известного ученого Паншина и его супругу Александру Николаевну у себя в лаборатории». И берет их к себе.

Казалось, ему самое время поостеречься. Присмиреть. Не совершать ни одного неосторожного движения. Тоненькая ниточка, которая связывала их с Фомой, в любую минуту могла оборваться. Их могли лишить права переписки, права передачи. Малейшая оплошность могла сказаться и на его судьбе. Отказывать всем: уйдите, у меня сын в опасности, вы погубите его, мы не имеем права ни на что... Так надо, так обязан он себя вести. Никто не может его упрекнуть. Он заставлял себя — и не мог заставить. Натура не позволяла, не подчинялась ему. Не мог вести себя как заложник.

Роберт Ромпе был поражен его поведением: «У этого человека совершенно отсутствовал нерв страха!»

Нерв страха у него был, как у любого человека, но было другое мощное желание, которое подавляло страх, — быть самим собой. Он не мог с этим ничего поделать, как не мог стать ниже ростом. Обязательство перед Фомой, может, и состоит в том, чтобы не убояться.

Однажды в Бух приехал бывший президент Кайзер-Вильгельм-Института великий немецкий физик Макс Планк. Они долго гуляли с Зубром по парку. Их соединило несчастье. После июльского покушения 1944 года на Гитлера схватили сына Планка Эрика и через несколько дней расстреляли. Горе согнуло Планка, на почерневшем лице сохранилась прежней лишь его застенчивая улыбка.

С этой улыбкой он вспоминал свое давнее посещение Гитлера. Он надеялся убедить фюрера изменить отношение к ученым. Сделать, например, исключение для химика Фрица Габера, которому Германия обязана многим. Фюрер стал орать на Планка, тряс кулаками. Развеялась прежняя иллюзия о том, что фюрер ничего не знает, что во всем

виновато его окружение. Они все составляли одну шайку, одну банду, захватившую Германию.

Последнее время Планк много раздумывал над могуществом веры. Есть ли связь у науки с религией? Не усиливается ли по мере развития науки чувство непонимания основ? Наука все больше утверждений принимает на веру. И здесь возможно соединение. Они не спорили, они размышляли над тем, что индивидуальное сознание человека находится за пределами науки. А душа? Существует ли она? С годами человек убеждается в этом, верит, что наделен ею. Как она появляется, как быть с эволюцией души? Существует ли вообще механизм, обеспечивающий направленный эволюционный процесс?

— Конечно, эту штуку — жизнь — начал господь бог, — с усмешкой сказал Зубр, — но потом он занялся другими делами и все пустил на самотек.

Планка мучили мысли о будущем Германии. В ее поражении сомнений не оставалось. Что же будет потом? Единственное, что он хотел, — как-то спасти немецкую науку от полного уничтожения. Без нее немецкому народу не скоро удастся духовно очиститься и возродиться. Ему не хотелось говорить об этом с немцами.

Война все дальше разводила людей, обрывала связи, заостряла разногласия. Зубр подолгу молчал, молчание никто не решался нарушить. Похоже было, что он потерял цель, не знал, что говорить людям, чем соединить их. Совершал глупости, дурью маялся. Однажды возвращались они из гостей ночью. Зубр был выпивши и, выйдя на Фридрихштрассе, запел во весь свой голосище про атамана Кудеяра и двенадцать разбойников. Потом про ямщика. В разгар войны посреди ночного спящего Берлина орал русские песни. Сошло с рук, как многое другое, такое же бесшабашно-отчаянное.

За большим тимофеевским столом теперь предавались воспоминаниям. Общим оставалось прошлое, которое вдруг отдалилось в давность. Уютное прошлое, которое вызывало сладостную печаль. Зубр иногда присоединялся ко всем, вспоминал, как они с Лелькой ездили в Америку. Как на обратном пути Королевское общество в Лондоне устроило обед в его честь — что делается редко — и там за обедом он захватил себе всю тарелку икры, по которой соскучился.

Олег Цингер вспоминал, как Зубр примчался к ним, узнав о смерти Олега отца А. В. Цингера. Последней волей отца было, чтобы тело его отдали в Московский университет. Мать Олега пришла в ужас, и Олег не знал, что делать. «Колюша чрезвычайно нежно и тактично убедил меня, чтобы хоронить папу по-христиански и что его последняя воля является последней данью науке, но теперь надо думать об оставшихся, то есть о маме».

Норму продуктов в Бухе урезали до голодного минимума. С. Н. Варшавский рассказывал, что им с женой продовольственной карточки и иждивенческой в придачу стало совсем не хватать. То же испытывали и Иван Иванович Лукьянченко, и даже терпеливый ко всему китаец-генетик Ма Сун-юн.

Отдельные части немецкой машины продолжали действовать с не-

рассуждающей пунктуальностью — подопытным животным аккуратно привозили бумажные мешки с кормом по прежней норме. В мешках лежали тщательно обернутые большие галеты. С благословения шефа часть галет изымали себе сотрудники. Добросовестно делили. Варшавский вспомнил, как ему выдавали две порции — на него и жену, которая в штате не числилась. Иногда добавляла еще Елена Александровна из своих кровных.

Елена Александровна спасала в это время одну лаборантку, ее сумели сделать еврейкой на одну восьмую. Пристроили лаборанткой одну француженку Шу-Шу (помнят только ее прозвище). Откуда-то Елена Александровна продолжала доставать документы о расовой полноценности.

Порой привычка возвращала Зубра в прежнее деятельное состояние.

— ...Мне Николай Владимирович велел знакомиться с литературой по генетике, — рассказывал Варшавский. — После освобождения от фашистов он собирался развивать популяционную генетику. Я ему, очевидно, подходил как биолог, занятый экологией популяции. Меня удивлял оптимизм Тимофеева: в любую минуту Бух мог превратиться в руины, а он обдумывал планы наших научных работ.

К весне выдачу продуктов по карточкам вовсе прекратили, рекомендовали собирать траву, грибы, улиток, кофе варить из желудей, хлеб печь из рапса.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Зубр поднялся на седьмой этаж, оттуда по черной лестнице вылез на заледенелую крышу института. Сверху был виден Берлин. Знакомый профиль города изменился от бомбежек. Пожары раскинулись по всему горизонту. Черные столбы дыма поднимались до самых облаков. Зубр смотрел на восток, откуда шел непривычный, на одной ноте звук, не похожий ни на гул самолетов, ни на канонаду. В глубине пространства что-то жужжало. Тяжелый, низкий гул стлался по низу. Вместе с ним доходила еле ощутимая дрожь, еще не знакомая этой земле. Новый звук войны рождался где-то на Одере. Зубр крутил бинокль, тщетно пытаясь что-то высмотреть. Еще несколько сотрудников поднялись на крышу. Прислушивались, гадали, боялись высказать догадку. Ждали, что скажет он.

Буховские институты поспешно эвакуировались на запад. Уехали физики. Уехали Гейзенберг, Вайцзеккер. Уехали медики. Сотрудники других институтов куда-то исчезали.

Три месяца назад, в ноябре 1944 года, Зубра командировали в Геттинген договориться с тамошним университетом, подготовить переезд лаборатории. Вскоре из Геттингена сообщили, что все готово, их ждут. Надо было собираться, однако Зубр заявил, что сперва придется демонтировать главную ценность — нейтронный генератор, люди всегда успеют уехать. Для демонтажа не было специалистов. Мог бы, конечно, помочь Риль, его завод находился рядом, в Ораниенбурге, но Риль ссылался на другие более срочные работы. Когда он приехал в Бух, они уеди-

нились с Зубром, о чем-то беседовали. Местный лейтер Гирнт нервничал, торопил: нельзя более откладывать отъезд. Бух пустел. Еще недавно их соседи в Институте мозга щеголяли в своих летних формах, перетянутых ремнями, — они выполняли исследования для авиации; теперь в коридорах безлюдно, двери опечатаны. Зубр внимательно выслушивал Гирнта, отвергающе мотал головой — разве можно так паниковать? Надо подавать пример спокойствия. В газетах, по радио твердят о неприступных укреплениях на Одере. В Берлине расклеивают плакаты «Большевизм стоит перед решающим поражением в своей жизни!», «Кто верит фюреру, тот верит в победу!».

Один раз американская фугаска упала в парк рядом с лабораторией. Полетели стекла. Зубр велел вставить новые.

Сейчас на крыше он молился. Густой новый звук мог означать только одно-единственное — идут танки! Советские войска прорвали укрепления на Одере, танки двинулись на Берлин. Свершилось! Дожили. Неужто это правда? Сердце его гулко застучало, обдало жаром. Идут русские, фашизму конец, проклятая эта империя рушится, наступает агония. Скорей бы! Теперь уже Гитлеру ничто не поможет, никакое тайное оружие, никакой атомной бомбы не будет. Это он знал и от Риля и от Ромпе. Все остальное такая же чушь, как неприступность укреплений на Одере.

Надвигалось заключительное сражение. От Зубра ждали приказа уезжать. Его сотрудники-немцы требовали уходить на запад, ехать в Геттинген, во всяком случае, не оставаться здесь.

Он понимал, что судьба подводит его к перекрестку, тому самому повороту, который определит дальнейшую жизнь. Не только его собственную, но жизнь его семьи и всех, кто пойдет за ним.

Террор с каждым днем усиливался. Быстро и беспощадно работали военно-полевые суды. За пораженчество расстреливали, за недовольство расстреливали, дезертиров вешали. Действовали специально созданные отряды ваффен-СС, полицейские батальоны, остервенелые подростки из ферфюнгсгрупп, опьяненные кровью.

Восток или Запад? Уезжать или оставаться? Америка или Россия? Вопрос этот неотступно пытал людей, заставлял каждый вечер собираться у Зубра, обсуждать, гадать, ловить слухи. Страшно было оказаться между двух жерновов, погибнуть в огне надвигающегося последнего боя. Теплилась надежда на крепость дружбы союзников. Может, она сохранится? Эти фашисты хотят рассорить американцев, англичан с русскими. Им не удастся, союзники останутся друзьями, будет свободное общение с Россией, будут совместные лаборатории, научные центры...

Мечты, иллюзии — это тоже документы истории.

Как виделась Зубру эта проблема и для себя и для других? Не знаю. Мне сильно мешало мое прошлое, моя собственная война с фашистами. Я никак не мог представить себя в Германии, в Бухе, среди немцев, представить, что они там чувствовали. Я видел себя только стреляющим. Это был комплекс войны. Ничего я не мог поделать с собой. Я не мог вообразить себя по ту сторону, это значило стать перебежчиком, мне было никак не перейти линию фронта без оружия, без задания...

Авиация перемалывала Берлин в развалины, улицы превращались в горящие тоннели, горели целые кварталы. Огонь с воем поднимал в небо пылающие смерчи. Корчились стальные балки, плавился камень, огонь бесновался, словно выжигал дотла все, бывшее здесь, — парады, пытки, страхи, надежды...

В топку войны фашизм бросил наспех собранные отряды ополчения из шестнадцатилетних школьников, пенсионеров... Женщины, волоча детей, метались со своими чемоданами, выискивая, где бы укрыться.

При этом происходило невероятное: развалины объявлялись площадками для строительства новой столицы. Над дымящимися руинами вешали лозунг: «Мы приветствуем первого строителя Германии Адольфа Гитлера!» Никто не видел в этом абсурда.

Геббельс заставлял всех работников пропаганды смотреть добытый за границей фильм про оборону Ленинграда, чтобы на примере противника они научили берлинцев стойкости и самоотверженности. Однако почему-то фашизм не порождал ни героев Сопротивления, ни героев подпольной борьбы. Ни в Восточной Пруссии, ни в Силезии не было слышно о немецких партизанах. Когда мы продвигались к Кенигсбергу, никто нас не беспокоил в тылу. Фашистские части дрались ожесточенно, в них были фанатики верности фюреру, но не было фанатиков идеи, за которую можно биться после поражения.

Берлинские друзья, знакомые Тимофеевых бежали из города в Бух. В доме Тимофеевых можно было видеть тех, кого выручали в свое время, — советского военнопленного пианиста Топилина, Олега Цингера, какого-то француза-механика, появлялся и исчезал Роберт Ромпе.

В институте наступила тишина и безлюдье. Куда-то пропал Гирнт. Никому уже не было дела до лаборатории. Сошел снег. Парк стоял пустой, почернелый, готовый к весне. Прилетели птицы.

Фюрер взывал по радио: «Я ожидаю, что даже раненые и больные будут бороться до последнего!»

Рядом с институтом на больничной огаде появилась надпись: «Лучше умереть, чем капитулировать!» И еще: «Драться до ножей!»

На следующий день черной краской наискосок было написано: «Нет!» Это «нет!» кто-то бесстрашно выводил и в Берлине на стенах министерств, на стеклах витрин, у входа в метро.

Разноязычный, разноплеменный Ноев ковчег лаборатории то делился, то соединялся. Немцы, воспитанные в беспрекословной дисциплине, хотели выполнить приказ — отбыть в Геттинген. Они боялись оставаться. Повсюду твердили, что русские будут мстить, станут угонять в Сибирь. Ученый, не ученый — разбирать не станут. Тем более церемониться с генетиками, в России генетиков не жалуют.

— Зачем мы нужны в стране победившего Лысенко? — пытали они Зубра, имея в виду и его самого. — Они своих генетиков ссылают, нас тем более.

Все сходились на том, что Зубру с семьей следует уехать на Запад. И англичане и американцы охотно примут его, слава его там велика, там полно его друзей, любой университет почтет за честь взять его. Обеспечат чем угодно. Изголодавшиеся, обносившиеся люди, они думали прежде всего о том, где сытнее, теплее. Доводы их были логичны.

Мимо Буха тянулись повозки беженцев. Катились высокие фуры, запряженные битюгами, попеременно с мальпостами, садовыми тачками, велосипедами. Несли детей, укутанных в газеты, в портьеры. Брела полубезумная старуха, сгибаясь под тяжестью портрета Гитлера. Пригороды Берлина бежали. Поток с каждым днем нарастал. Электричка не работала, связь с городом прервалась. Паническое желание бежать заражало самых рассудительных сотрудников. Только воля Зубра могла их удержать. Он же молчал, скрывал свое решение, и они топтались вокруг него. Формально они могли ему не подчиняться. Он ничего не приказывал, но он был вожак.

Он в самом деле не мог знать наперед, как с ним обойдутся, так что никакой уверенности у него не было. Наверняка он понимал, что безопаснее уехать в Геттинген хотя бы на время, отсидеться там, не попадаться никому под горячую руку — ни немцам, ни русским, потом всегда можно будет вернуться... Но он не двигался.

Иногда он все же что-то приказывал. Действия его в этот период отмечены предусмотрительностью, я бы сказал, дальновидностью, так что, как говорится, он владел ситуацией. Около института в пустом доме Паншин нашел брошенное фольксштурмовцами оружие. Вместе с Перу-старшим, офицером французской армии, они предложили всем вооружиться, чтобы в случае чего дать отпор рыскающим бандам эсэсовцев. Зубр не разрешил. С ним спорили, он накинулся на них, категорически запретил брать оружие. И, как потом оказалось, был прав.

Трудно объяснить, почему ему верили, еще труднее — почему слушались... Политически он был наивен, формально — безвластен. Может быть, потому, что он был для всех русский, советский человек? Он ведь оставался советским гражданином, советским подданным. Но, с другой стороны, все остальные — советские военнопленные, да и немцы, — говорили между собою, что ничего хорошего его не ждет после прихода русских.

Надежды сменялись отчаянием.

Линия фронта приближалась медленно, слишком медленно. Это — для Зубра. Для немцев она приближалась слишком быстро. Для Зубра все выглядело иначе, как в негативе. Слухи об армии Венка, идущей на помощь осажденному Берлину, приводили его в уныние. Для него победа шла вместе с советскими танками, она была и спасением Фомы.

Думать иначе, чем думают все, удастся не каждому, это всегда трудно, особенно же трудно было среди истеричного крика геббельсовской пропаганды, среди немцев бегущих, замороченных. Два десятилетия жизни в Германии не прошли для Зубра бесследно, в нем накопилось немецкое. И это неудивительно, удивительно другое — как мало он онемечился. Теперь немецкое в нем сочувствовало окружающим, ужасалось, отзывалось на рыдания и смерти, а русское — ликовало, радовалось возмездию.

Советские танки двигались не по бетонным лентам автострад, они пробивались сквозь заградогонь, засады, укрепрайоны. Они должны

были форсировать реки, выбивать из дотов... Но как невыносимо было ожидание! Успеют ли они освободить Маутхаузен?

Время испортилось. Нет ничего хуже застрявшего времени, когда все останавливается, часовая и минутная стрелки не крутятся, в голове проворачивается одна и та же бессмыслица. Спрятаться от этого паралича Зубр пробовал единственным способом — хватануть спирта и забыться, отключить ожидание.

Могучий организм мешал ему напиваться до бесчувствия. Выпучив красные глаза, шатался он по институту, по парку, однажды приволок за рога чью-то корову с криком: «Черт! Поймал черта!»

Появился у него собутыльник, немец, маленький горбун из соседнего института. Немец был не то стеклодув, не то монтажник. Он с пьяной бесцеремонностью доказывал, что, когда русские придут, Зубра повесят.

— А тебя? — спрашивал Зубр.

— У меня видишь какие руки? — И он растопыривал свои обожженные, изувеченные работой пальцы. — Я рабочий класс. А если Гитлер удержится, все равно тебя повесят.

— За что?

— За то, что ты устроил тут убежище врагам рейха.

У горбуна под Тильзитом погиб восемнадцатилетний сын.

— А где твой Фома?

Они обнимались и плакали, потом горбун отталкивал Зубра:

— У меня русские убили сына, а у тебя его забрали наци. Ты мне враг, а выходит, никакой разницы. Мы оба остались без детей.

— Фома жив! — кричал Зубр.

— Если его казнят, то русские тебя за это помилуют. Зачтут тебе. Но зачем тогда тебе спасение, профессор?

Горбун жалил его, язвил. Зубр мог пришибить его одним ударом, но он становился на колени.

— Так мне и надо.

Горбун тряс его за плечи:

— Где моя идея? Ведь у меня была идея жизни — великая Германия. Я ее внушал Ральфу. Где она? Германия — одно большое дерьмо. Ральф погиб за дерьмо.

В апреле в день начала штурма Берлина горбун повесился. Накануне он принес Зубру известие о том, что команду «Мелк», в которую включен был Фома, вернули из Вены в Маутхаузен, вероятно, для уничтожения.

Впоследствии это подтвердилось. В ответ на мой запрос Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма ГДР, подняв все источники, смог сообщить следующее: «Дмитрий Тимофеев, рождения 1923 года, 11 сентября, студент, был препровожден в Маутхаузен 10.8.1944 г.; в команду «Мелк» послан 14.11.1944 г. Возвращена команда 11—19.4.1945 г.». Установить, что с Фомой стало далее, Центральный архив не мог. Известно лишь, на каких строительных объектах в Австрии использовали заключенных этой команды. Работники архи-

ва посоветовали продолжить розыски в венском архиве документов Сопротивления. Оттуда на мой запрос ответили, что дополнительных данных у них нет, и переадресовали меня во французский архив, где хранятся документы Маутхаузена. Мне было известно, что Елена Александровна посылала и туда запросы и ничего толком не могла узнать. Где-то кто-то сказал, что Фома погиб во время восстания заключенных в Маутхаузене перед самым приходом американских войск. Слухи эти дошли до родителей позже, осенью 1945 года. А в ту весну они верили, что он жив, ежедневно ждали от него вестей. Фома должен был вернуться, и они должны были дожидаться его.

Все понимали, что Зубр остается не только из-за Буха, куда прежде всего кинется Фома. Он нашел бы их и в другом месте. Зубр не та фигура, чтобы затеряться.

Все ученые связаны между собой. Не будучи лично знакомы, они тем не менее знают друг о друге много — о характере, о семье, о пристрастиях. У них действует некое международное сообщество, братство, система оповещения и взаимовыручки. Так, оба брата Перу появились в лаборатории Зубра в результате хлопот научного издательства Пауля Розабуда. Издательство было связано с учеными разных стран. Старшего из братьев, Шарля Перу, французского офицера и физика, удалось освободить из концлагеря под предлогом перевода литературы для атомщиков. Помогли в этом немецкие физики. Когда Шарля пристроили к Зубру, приехал младший брат. Он привез от Жолио-Кюри обещание оградить Шарля от всяких обвинений в сотрудничестве с нацистами, которые после победы могли быть ему предъявлены.

Через эти тайные связи к Зубру поступило первое сообщение о том, что его ждут в Штатах и будут рады предоставить ему лабораторию в одном из университетов, где работали его друзья — Дельбрюк, Гамов, Морган. Он никак не отзывался на это предложение. Тяжелый хмель не выходил из него. Р. Ромпе был единственным, кто как-то сумел завлечь его в эти дни работой. Они написали совместную статью «О принципе усилителя в биологии».

— Только силища его таланта могла вытащить его из трясины алкоголя,— сказал мне Ромпе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Они были тезки и одногодки. Зубр звал его Миколой. Риль звал его Колюшей. На людях они говорили между собой по-немецки, оставаясь вдвоем — по-русски. Николаус Риль происходил из прибалтийских немцев. Начиная работать как физик у таких великолепных ученых, как Отто Ган и Лиза Мейтнер. Высокие нравственные правила этих физиков несомненно повлияли на Н. Риль. Придет день, когда это поможет ему совершить выбор. Но путь его был витиеватым. В первые годы фашизма Риль был вдохновлен возможностями, которые открылись перед ним,— применить свои способности физика в промышленности. Надо помнить, что изнутри для немецкого обывателя фашизм выглядел совсем иначе, чем снаружи. Все в гитлеровской Германии делалось под лозунгом: для блага народа, во имя будущего

великой Германии. Это создавало иллюзии. Да, конечно, антисемитизм, национализм — плохо, но зато отчизна воспрянет!

Перед войной Риль уже заведовал центральной радиологической лабораторией фирмы «Ауэргезельшафт». Он обнаружил предприимчивость, деловую хватку и притом данные незаурядного экспериментатора. Ученый причудливо сочетался в нем с промышленником и коммерсантом. С 1939 года он способствовал Зубру в его радиологических исследованиях, помогал радиоактивными веществами. Любовь к Зубру была его тайной данью воспоминаниям детства, России и той верности чистой науке, которая быстро исчезала в Германии.

Разворачивалась война с Англией. Риль вызвали в военное министерство, предложили заняться производством урана для уранового проекта. Скоро стало ясно, что на самом деле заказ имеет цель наладить получение урана для атомных бомб. Немцы, как известно, первые, раньше американцев, начали работы над атомной бомбой. Проблема увлекла Риль. Для ученого всякая интересная проблема — великий соблазн, часто перевешивающий нравственные соображения. Риль работал самозабвенно. Его энергия, изобретательность позволили в короткие сроки развернуть промышленное производство металлического урана. Пришлось создавать технологию нового производства. К тому времени Риль стал главным химиком «Ауэргезельшафт».

История работ над атомной бомбой в нацистской Германии запутана, таинственна. Несмотря на усилия историков, многое в ней остается неясным. В одном серьезном исследовании сказано:

«Неудачи Германии в деле создания атомной бомбы и атомного реактора часто объясняют слабостью ее промышленности в сравнении с американской. Но как мы теперь можем видеть, дело заключалось не в слабости немецкой промышленности. Она-то обеспечила физиков необходимым количеством металлического урана».

Действительно, семь с половиной тонн урана было произведено уже в 1942 году.

Мнения историков расходятся: одни считают, что немецких физиков преследовали неудачи, бомба не получилась из-за просчетов, досадных случайностей, другие полагают, что и Гейзенберг, и Вайцзеккер, и Дибнер незаметно саботировали атомные работы. Их неудачи — не случайность, а умысел. Они ясно понимали, что нельзя давать в руки Гитлеру столь страшное оружие. Делали вид, что занимаются изготовлением, темнили, ловко использовали льготы, избавляя от армии талантливых ученых, спасали немецкую физику. Не науку ставили на службу войне. «Война на службу немецкой науке!» — вот каков был их тайный лозунг.

В Бухе атомщики работали рядом с Зубром. Это был другой институт, но Зубр знал их, во всяком случае, группу Гейзенберга. Что касается Лизы Мейтнер, то он помог ей устроиться в Англии, куда она бежала от нацистов. Известно, что он помогал и другим физикам. На мои расспросы о Гейзенберге Зубр отвечал, что вряд ли Гейзенберг и его окружение старались сделать бомбу, не похоже. Во всяком случае, поначалу они не торопились. Более определенных высказываний он избегал. Работы эти были секретными, и он мог лишь о чем-то догады-

ваться по настроению Гейзенберга, по некоторым его замечаниям. Но мнение Зубра существенно. Когда дело касалось чьей-то репутации, он становился осторожным.

С 1942 года Риль стал собирать все запасы тория в оккупированных европейских странах. Это был реальный капитал, ценность которого понимали только осведомленные. Постепенно в его руках сосредоточились огромные богатства — уран; торий...

Кроме группы Гейзенберга над бомбой работала вторая, не зависящая от нее группа физиков Дибнера. Работали они успешно, дух соперничества подстегивал их. Все благие намерения вскоре стали отступать перед азартом гонки: кто — кого, кто первый. Оправданием была любознательность. Чистое, казалось, бескорыстное чувство, из которого родилась наука. Опасное чувство, когда забываешь о любых запретах, лишь бы проникнуть, узнать, что там, за занавеской...

Но и Риль, и Гейзенберг, и Дибнер, и Вайцзеккер, как ни хитрили, в конце концов оказались в ловушке. Даже если поверить безоговорочно в их антифашистские настроения — все равно им не удалось удержаться. Тот, кто вступал на эту дорогу, попадался в капкан.

То одна группа, то другая получала обнадеживающие данные. Еще немного, совсем немного — и реактор заработает как следует. Бомбы тут ни при чем, уверяли они себя, реактор будет означать только атомную энергию. Точнее, возможность цепной реакции с имеющимися у них материалами. Ясно, что Германия проигрывает войну, зато реактор поможет ей выиграть мир, она опередит все страны в такой решающей области, как атомная энергия. Германия станет продавать энергию, чтобы восстановить разрушения...

Впоследствии Вернер Гейзенберг так сформулировал свое отношение к созданию бомбы: «Исследования в Германии никогда не заходили столь далеко, чтобы потребовалось принимать окончательное решение об атомной бомбе».

Не заходили потому, что наступление Советской Армии не позволило зайти.

Да и кто бы принимал окончательное решение? Вряд ли бы оно зависело от физиков.

А если бы зашли далеко? Удержались бы немецкие физики от искуса сотворить бомбу? Испытать ее?..

Что происходило дальше с немецкой бомбой? Об этом придется рассказывать, ибо она связана с судьбой Николауса Рилья, которая, в свою очередь, связана с судьбой Зубра.

Итак, разгром Германии приближался, броневой вал советских танков накатывался, и обе группы физиков изо всех сил торопились изготовить практический атомный реактор. Мешали тревоги, бомбежки, эвакуация. В берлинском бункере в конце января 1945 года принялись собирать большой реактор. В эти дни из Берлина побежали те, кто мог. Нарастала паника. Персонал нервничал. Когда эксперимент, в сущности, был подготовлен, поступило распоряжение об эвакуации. Еще каких-нибудь два-три дня, и эксперимент осуществился бы. Но этих дней не было.

Счет пошел на часы. Обливаясь слезами, проклиная и Гитлера и

Советскую Армию, физики демонтировали реактор, не успев его испытать. 31 января груженные машины двинулись в Тюрингию. Из городка Штадтильм пришлось переезжать дальше, в Хейгерлох. В конце февраля группа Гейзенберга обосновалась и стала собирать в пещере Хейгерлоха новый котел. Наконец в последний день февраля котел запустили. Реакция не получилась. Гейзенберг подсчитал: надо добавить тяжелой воды и урана. Эти материалы были, но доставить их из-под Берлина оказалось невозможно. Опоздали. Нарушилась телефонная связь, не хватало электроэнергии, бомбили дороги. Германия агонизировала.

Еще в сентябре 1944 года при бомбардировке Франкфурта сгорели заводы по очистке урана. Пробовали налаживать завод в Рейнсберге, но пустить не успели, подошли советские войска. Остались заводы в Ораниенбурге. Вместе с Бухом Ораниенбург должен был отойти в зону советских войск. Американцы к тому времени уже прознали об атомных работах немцев. Подробности они не знали, знали, что немцы работают вовсю. Была создана «Миссия Алсос», проще говоря, спецгруппа для захвата материалов, документов по атомной бомбе и ученых-физиков. Американцы боялись, чтобы все это не попало русским. Генерал Гровс, руководитель американского атомного проекта, указал «Миссии Алсос» на Ораниенбург как на важнейший объект. Прикинули и решили послать туда инженерную команду демонтировать урановый завод, захватить специалистов во главе с Н. Рилем. Перед этим были захвачены профессор Флейшман, специалист по разделению изотопов урана, и еще семь физиков. Таким же манером были «добыты» Отто Ган, Багге, Вайцзеккер, затем — Дибнер, Лауэ и сам Гейзенберг. Война гналась за атомщиками уже в прямом смысле. Немцы спохватились, но было поздно. История отомстила гитлеровцам за пренебрежение наукой, за презрение к высоколобым, за ненависть к интеллекту, к своей собственной культуре.

Проникнуть в Ораниенбург не удавалось. Генерал Гровс просил командование ввести туда американскую часть, но военные побоялись осложнений, которые могла вызвать незаконная акция. Тогда Гровс потребовал у генерала Маршалла, пока не поздно, разбомбить завод. Маршалл медлил, не видя военной необходимости. Гровс настаивал, угрожал и все же добился: 15 марта шестьсот бомбардировщиков — «летающих крепостей» несколькими волнами обрушились на этот город, превратив его в развалины. Уничтожено было все начисто.

Риль чудом выбрался из пылающего города и ушел в Бух к Зубру. Подлинная причина этой страшной бомбардировки была ему ясна. Американцы не могли не знать хотя бы от захваченных ученых, что ни о какой немецкой бомбе не могло быть речи. Реактор и тот не успели испытать. Следовательно, урановые заводы разрушили только затем, чтобы они не достались русским. Для этого Ораниенбург сровняли с землей. Не нам, американцам, — значит, никому! Риль негодовал, ругался. Получилось, что русские еще воюют с фашистами, а американцы, союзники, тем временем воюют с русскими. Разве союзники так поступают?! Что бы ни говорилось о политических соображениях,

никакие высокие слова тут не могут служить оправданием. Уничтожить производство, в которое он, Риль, вложил столько сил, его детище, его выдумку! Постыдная акция! Он повторял слова Ратенау о том, что если средства безнравственны, то и цель безнравственна. Цель — любимое оправдание безнравственных.

Бомбардировка подтолкнула Риль. Решение, которое он принял, было не столько за Россию, сколько против Америки.

— Пока гром не грянет... — обиженно заметил Зубр. — Ну, ладно, аминь тому делу!

Приободренный Зубром Риль остался ждать прихода русских.

Тем временем среди развалин Ораниенбурга Риль искали эсэсовские офицеры. Они получили задание проверить, не осталось ли поблизости от фронта важных засекреченных исследовательских групп. Кого находили, тому приказывали немедленно отправляться на юг в «Альпийский редут». За неподчинение — расстрел. В «Альпийский редут» собирали конструкторов, связанных с проектом новых баллистических ракет, с производством Фау-2, стали собирать атомщиков, узнав, что за ними охотятся американцы. «Редут» помещался на стыке границ Германии, Австрии, Швейцарии.

Буховским институтом не интересовались. Лаборатория генетики не принадлежала к важным объектам. Там возились с какими-то мушками, никаких спецзаданий они не имели. Риль мог спокойно отсиживаться здесь до прихода Советской Армии. Спокойно — так говорится. Спокойных не было. «Как меня примут русские?» — размышлял вслух Риль. «Прекрасно примут», — уверял Зубр. И насчет американцев из «Миссии Алсос» успокаивал: «Сюда они не сунутся, они нас боятся». Нас — означало русских.

Шла охота за мозгами — первая в истории охота такого рода.

Риль понимал, что, уговаривая его, Зубр ничего определенного знать не может, что уверенность его ни на чем не основана. Тем не менее она действовала. Более всего действовало то, что сам Зубр оставался, и не так, чтоб примеривал, где лучше, где выгоднее.

Ему нужно было оставить не только Риль, но прежде всего своих сотрудников-немцев, ядро лаборатории. Порознь они не представляли той силы и ценности, как вместе. Последние дни, последние часы давала им война для выбора. Бежать или остаться? Восток или Запад? Куда податься? Циммер привык верить шефу, слишком часто тот оказывался прав. Борн нервно высмеивал его веру — чем может шеф поручиться? Где гарантии? Каторжный труд в Сибири — вот что их ждет.

Среди русских в Германии действовала специальная организация по переброске желающих на Запад. Раздувались гнетущие страхи, посулы и предложения сбивали с толку растерянных людей.

А «час ноль» приближался.

— Помните, Николаус, как вы трусили, когда мы к Нильсу Бору ехали? — Зубр начинал крупно трястись, изображая Риль.

Все смеялись, но как-то принужденно, а Циммер говорил:

— Вам-то что, вас Бор принял, вас и большевики примут, а что они сделают с нами?

Все разговоры, размышления сводились к этому подступающему «часу ноль».

Ни доводы, ни логика не действовали, требовались иные силы, чтобы удержать людей.

В эти дни появился молодой англичанин, вернее, ирландец, еще вернее — ирландский австриец, который мог выдавать себя за немца, за швейцарца, а также за голландца, датчанина, тирольца и фламандца. Известно, что он был биохимиком, имел рекомендательные письма из Кембриджа. После первого же разговора Зубру стало ясно, что этот симпатичный веселый парень в солдатских сапогах и шапочке с пером послан к нему той самой «Миссией Алсос», на сей раз с деликатной миссией. Зубр был трезв и слушал его не перебивая, свесив губу.

— На что вы надеетесь?

— На своих, на русских,— буркнул Зубр.

Парень этот взглянул на него внимательно, некоторое время продолжал про условия в американских университетах, про ставки, коттеджи, потом как бы между прочим обронил о слухах насчет Вавилова, есть сведения, что он погиб, его уничтожили.

— Николай Вавилов? Николай Иванович?

Голос у Зубра перехватило. Не может быть, невозможно! Но чутье подсказывало ему, что это правда. Вавилова нет, его не существует. Треснула подпора, оборвалась часть его собственной жизни. Он стал уже не таким живым, каким был, и эту мертвую часть, холодеющую часть души он ощущал. Там было погребено будущее, надежды, связанные с победой.

Очнулся он в парке. Крепко держа гостя под руку, он вел его к шоссе. Подумал, что гость не случайно сказал про Вавилова, что был у него расчет использовать и это: все годится, все идет в дело.

У него не было сил озлиться. Ровно и тихо выложил он, как претит ему бесцеремонность, с какой американцы торопятся захватить башковитых немцев, как грабят они интеллект этого и без того изуродованного народа. Как будто собирают трофеи своей победы. Можно подумать, что это они, американцы, разбили немцев.

Биохимик несколько не обиделся.

— Любая политика — грязь,— сказал он.— Мы с вами не политики. Нам, ученым, хорошо там, где есть условия заниматься наукой. Здесь ведь вам было неплохо, не так ли?

Этот второй удар он нанес без всякой жалости, безошибочно. Зубр скривился от боли, представил, сколько таких ударов его ждет впереди. Бесполезно было объяснять, что здесь он был советским гражданином, а там, в США, он будет эмигрантом. Что здесь он оставался, а туда, в Штаты, он убежит...

Он выпроводил биохимика на шоссе, запретив ему говорить с кем-либо из сотрудников. Как вожак он охранял свое стадо от рыскающих хищников.

— Почему вы думаете, что вас не повесят?— спрашивали в лаборатории.— А заодно и нас?

— Да потому, что это русские, а не фашисты. Они спасли Европу,— отвечал он, понимая, что такие ответы их не удовлетворяют. Ничего, кроме ожесточенной веры, у него не было. Он вдруг почувст-

вовал, как сильны его корни, которые, оказывается, не засохли за все эти годы. Теперь ничто его не могло стронуть с места.

Это не был даже выбор. Под мощным прессом пропаганды человек практически не мог устоять, его сминало, «божья глина» расплющивалась, принимала всеобщую форму. Свободы выбора не было. непонятно, каким образом он сумел сохранить себя.

В парке находили трупы самоубийц, трупы расстрелянных. Никто не покидал Буха. Все жались к Зубру, затихшие, готовые ко всему. А жена Паншина считала в пробирках мух и пела. Советские школьные песни и пионерские песни.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В одном из писем Олег Цингер довольно красочно описал мне эти дни 1945 года:

«Я жил в Берлине, делать было нечего, еды тоже не было, и я обычно лежал на койке или слонялся по разрушенному городу. Ночи проводил где-нибудь в бомбоубежище. Сговаривался с друзьями, чтобы попасть в более надежный бункер. Питался кое-как, носил на себе сразу три рубашки, три пары носков и всегда при себе чемоданчик с самыми нужными вещами. Квартира наша сгорела, с женой мы развелись, обитал я в ателье одного приятеля, который уехал в Австрию. Жена с сынишкой сняла комнату в Бухе, неподалеку от института Тимофеевых. Однажды весной я решил навестить жену, что я регулярно делал. На подземном вокзале я узнал, что поезда идут только до Буха, а не до конечной станции Кэро. Бросилась в глаза небывалая суeta, множество солдат, вооруженных, в касках и со связками сеток для маскировки. В поезде все говорили, что русские уже в Кэро и поезда обстреливают. На станции в Бухе я увидел дыры от обстрела с самолета. Жена была дома. Наш друг Селинов сидел у нее. По радио просили уходить в бункер. Мы втроем отправились в главный, большой бункер в парке. Там мы провели две ночи, и там я открыл двери первым русским солдатам. Это были парни лет девятнадцати. Не буду описывать эти трогательные сцены. Тут было все!

Комната моей жены в Бухе была конфискована военными, мы, чтобы не остаться на улице, потащились с нашими чемоданчиками, конечно же, к Тимофеевым. Колюша и Лелька встретили нас радостно. Они успели пережить много за эти волнующие часы.»

Тут я подверстаю отрывок из письма Игоря Паншина:

«Ночью все собрались в подвале дома, где живут Тимофеевы. Н. Риль, Р. Ромпе, оба Перу, Канелис, все наши, немцы — Циммеры, Эрленбахи — и другие неизвестные мне люди. Ночью тихо. Спим на полу вповалку... Утром и днем звуки боя все ближе. Из отступающих немецких частей только две батареи на конной тяге. Затем близко автоматные очереди. Редкие. Выхожу из дома. По полю идет несколько наших солдат (отделение, не больше). Беру белую тряпку, иду навстречу, кричу: „Тут русские, свои, немцев нет!“. Один из солдат, наставив автомат, идет ко мне, говорит: „Знаем мы этих своих...“

Подходим к дому Тимофеевых, заходим в вестибюль, тут уже многие говорят по-русски. Со стороны института входит другая часть, там есть старшие офицеры. Я впервые вижу погоны, путаюсь в знаках различия, а Николай Владимирович все знает. Начинаятся объяснения — что мы за люди. Вникать в подробности нет времени, части идут штурмовать Берлин. Я было хотел пойти с ними, лейтенант спросил: „Берлин хорошо знаешь? Если да — то возьмем“. Берлин я знал плохо...»

Далее снова идет одно из писем Олега Цингера:

«...И вот мы оказались в опустевшем Бухе. Очень много людей покинули институт. Некоторые врачи покончили с собой, на территории институтского парка остались только кой-какие немцы, Колюша с женой, семья Царапкиных, один советский пианист, научные сотрудники и лаборанты Колюши. Как это произошло — не знаю, но мы сразу превратились в какое-то «собственное государство», и Колюша превратился в главнокомандующего. Колюша дал себе титул «директора института». Это было наивно и чревато последствиями, ибо всего института Колюша не знал, не знал, что происходило в госпиталях, да и не мог знать, он заведовал только генетическим отделом. Первая задача была оградить институт от всяких грабежей и порчи оборудования. Для этого был послан Селинов с грудой плакатов, написанных мной, чтобы он разместил эти плакаты по территории. По-русски было написано, что это научный институт, запрещается ломать, портить, брать... Первое время плакаты не помогали».

В институте хранились запасы метилового спирта. Зубр приказал уничтожить его, чтобы избежать несчастных случаев. Ночью сотрудники спустили весь спирт в канализацию.

Сумел договориться с медиками какой-то части, и к институту поставили советского часового с винтовкой. В институт перестали наведываться кто попало.

Весна 1945 года в Бухе была теплой, солнечной. Пока ни один человек из лаборатории не уехал, не ушел. Все ждали чего-то. Работать никто не мог, сидели за столами, кормили животных, переставляли приборы с места на место.

«Один раз утром приехал грузовик, — продолжает Олег Цингер, — и нас арестовали. Выбор арестованных был какой-то странный: Колюшу, меня, пианиста Топилина, советского биолога и еще двух советских зоологов. Мы, конечно, очень перепугались. Сперва мы провели ночь в каком-то бараке, потом нас повели пешком. Вел военный, все время угощал нас папиросами. Колюша непрерывно старался этому солдату внушить любовь и интерес к генетике. Военный ему только отвечал: „Да не суетись ты, профессор!“ Вел солдат нас по карте, он не имел права сказать нам, куда нас ведут. Шли мы до позднего вечера и пришли туда, куда можно было прийти за полчаса. Колюшу допрашивали ежедневно. Погода была замечательная. С утра мы начинали слышать «катюшу», которая обстреливала Берлин. В наших яблонях жужжали пчелы. Матрос, который нас сторожил, угощал нас папиросами. Тут же сидел немец, хозяин дома, который все время

жаловался, что у него отобрали ведро и он хочет получить его обратно. Мы старались ему объяснить, что горят города, людей убивают, а ты жалуешься на ведро. Но немец оставался при своем и требовал ведро. Мы над ним смеялись, совали ему деньги, которые, по нашему расчету, уже ничего не стоили. Немец аккуратно брал все эти бумажки. Впоследствии оказалось, что деньги эти еще имели большую ценность. Через одиннадцать дней нас отпустили. Мы вернулись пешком в институт. Началась какая-то фантастическая жизнь буховского института. Колюша превратился просто в диктатора и так следил за порядком, что мы все его боялись. Все получили свое назначение. Я был назван художником при институте. Мы с женой и мальчиком получили чудесную квартиру с кухней, которую покинул какой-то сбежавший немец. Гребенщиков, научный работник, получил тоже хорошую квартиру. Пленные французы получили хорошие помещения и звания: двое — научных работников, один — садовника, один — столяра, один — механика... Колюша сам продолжал свою работу, он был как-то одинок и нервен. Меня он тоже ругал, говорил мне, что я корчу из себя богатого англичанина и не чувствую самого важного! Все это было малоприятно и совсем непонятно. «Буховские вечера» в их прошлой форме прекратились, но все же мы иногда собирались, как раньше, у Колюши...»

То, что было непонятно Олегу Цингеру — да и не только ему, — имело свое объяснение. В течение этих одиннадцати дней ареста шло выяснение личностей этих русских. С Цингером и другими все было просто. С Зубром было посложнее. Относительно него возникало много вопросов, выяснить их было нелегко. На его счастье, сообщение о его аресте дошло до Завенягина. Авраамий Павлович Завенягин, легендарный директор Магнитки, строитель Норильского комбината, был к тому времени заместителем наркома внутренних дел. Он курировал некоторые вопросы советской науки. Приехал он на фронт не случайно — наши физики интересовались немецкими проектами. Один из них был связан с проблемой биологической защиты, ибо уже шла работа над атомной бомбой.

Когда Завенягин, посетив Бух, познакомился с Зубром, он безошибочно оценил значимость этого человека, ценность его работ и всего коллектива лаборатории, что досталась нам в полном составе, в целостности и сохранности. Зубр развивал перед ним идеи о том, что нужно восстанавливать советскую генетику, но Завенягин тактично сводил разговор к более насущной проблеме — атомной. Судя по дальнейшему, на Завенягина произвела впечатление натуральность этого человека без малейшей примеси каких-либо хитростей или личных соображений. Лучше других Завенягин мог понять историю с его невозвращением на родину в 1937 году. Тем более заслуживало уважения то, что он остался, ожидая прихода нашей армии, оставил Риля, своих сотрудников. Не сомневаясь, Завенягин поручил Тимофееву руководить институтом, пока не решится вопрос об их переезде в Союз. Репутация Тимофеева, очевидно, не вызвала у Завенягина никаких возражений.

Зубр был в восторге от бесед с ним. Человек этот ему чрезвычайно

понравился. Это совпадает с мнением многих физиков, которые работали с Завенягиным в те трудные годы.

Зубра утвердили директором. Завенягин отбыл в Москву.

Тут уж он развернулся, наш Зубр. Установил на шоссе доску с надписью, что Институт Советско-Германский (благо никто официально не упразднял этот титул с двадцатых годов) и находится под контролем Главного советского командования. Все наши части спокойно проходили мимо. Прибыли трофейщики и стали забирать оборудование, приборы. Зубр вмешивался, указывал, с такой энергией, что поначалу его приняли за присланного откуда-то из Москвы уполномоченного. А Зубр орет на них: «Дурни вы, на кой черт вам эти приборы! Барахольщики вы, а не трофейщики! Что вы цепляетесь за микроскопы и прочую труху, старье это! Приборы мы новые сделаем, вы патенты берите, отчеты, а в первую очередь людей, специалистов». Верховодил он, командовал, пока кто-то не спросил — а это кто такой? И тут выяснилось. Озлились. Эх ты, растудить твою, накинулись на него, — еще орешь на нас! Фашистам служил! То-то ты приборы спасаешь! Так взъярились на него, что накатали куда следует бумагу... Так что можно считать, что Зубр сам фортуне своей ножку подставил.

«Отпраздновали мы взятие Берлина, капитуляцию Германии, смотрели из нашего парка на грандиозный фейерверк, — продолжает Олег Цингер. — Я очень любил ходить в театр, который устраивали солдаты с профессионалами для раненых. Подмости ставили между каштанами, вешали фонарики, и на сцене разыгрывалась всякая чепуха, но с большим юмором и талантом. Комические сценки вроде «Фронтowej Катюши», пляски под гармошку и даже чтение стихов. Меня это страшно привлекало, мне это напоминало *commedia dell'arte*, Петрушку, вахтанговскую «Турандот», во всяком случае в этих представлениях была чрезвычайная непосредственность. Колюша на эти представления не ходил, не ходил он смотреть и новые для нас советские фильмы... Он все время чего-то искал. Искал что-то главное, чего ему не хватало. Очевидно, спокойной научной работы».

Цингер прав, невозможность работать мучила его чрезвычайно, но мешало не только это. К тому времени случилось еще кое-что.

Прилетел из Москвы Лев Андреевич Арцимович, известный уже в то время физик. Ему представили буховских ученых, в том числе Рилу и самого Зубра. Арцимович со всеми приветливо знакомился. Рилу обрадовался особо, когда же подошел к Зубру, сказал: «Да, да, слышал, но извините...» — и руку подать отказался.

Так Зубр и остался с протянутой рукой. Это была одна из самых позорных минут в его жизни. Он был публично оскорблен, обещен и не мог ничем защитить себя.

Он замер, как бык на корриде, когда шпага матадора входит в загривок между лопатками, сталь достает сердце, наступает момент истины, озаряющий зазор между жизнью и смертью...

Арцимович позже вспоминал о своем поступке без раскаяния. А еще позже они исполнились уважения друг к другу.

В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримиримость жгла нас. Огонь войны очистил наши души, и мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему подходили с фронтовой меркой: где ты был — по ту или по эту сторону черты? Боролся с гитлеровцами — свой, не боролся — враг. Мы парили над всеми сложностями жизни, свободные и счастливые победители, для которых все ясно. Мы были полны снисхождения к немцам, но нам трудно было отделить фашистов, нацистов от просто немцев. Что уж тут говорить о своих, русских в Германии — все они были нам подозрительны.

Не подавать руки — это было нормально. Ах, как недолго я был счастливым чистюлей. А потом сколько всяких рук я пожимал. Про одних — не знал, про других — не верил, про третьих — знал, да стеснялся или не хотел связываться: мне-то какое дело, не суди — да не судим будешь... Подавал руку отъявленным мерзавцам, вымогателям, ибо от них зависела премия для моих кабельщиков, без них не добыть трансформаторного масла, да мало ли всякой всячины, которая может затянуться петлей, а конец от той петли у них, голубчиков.

Немцы хорошо поняли, что произошло. Они стояли, смотрели на своего кумира, ждали, что он ответит. Он остался вдруг один, он отделился от них всех, отмеченный бесчестьем. Он не имел права ответить пощечиной, он ничем не отвечал, недоуменно вглядываясь в свою жизнь.

Вот он и встретился лицом к лицу с тем, что ждет его отныне на родине.

— Ну, как теперь? — спросил его Циммер.

Еще можно передумать, уехать, чего ради сносить эти унижения — вот что стояло за вопросом Циммера. Они шли по парку. Зубр смотрел в землю.

— А вы как думали, — сказал он, не поднимая головы, — по дешевке вывернуться?

«В это лето я очень сдружился с Гребенщиковым, — продолжал Олег Цингер. — Жена Игоря Нина была чудесная поэтесса. Игорь сам хорошо читал вслух. Селинов, очень любивший литературу и поэзию, тоже всегда проводил вечера с нами. Вечера были длинные, летние, теплые. Елена Александровна часто примыкала к нам. Вообще мы были очень счастливы в этом «очарованном саду», как Нина Гребенщикова прозвала буховский парк. Колюша наши литературные вечера не посещал и вообще сторонился всякого развлечения, всякой веселости и все время был занят своими внутренними мыслями».

По рассказу Олега Цингера видно, что самые близкие Зубру люди не понимали, что с ним творится.

Он смотрел на их веселье издали, делал вид, что занят, притворялся умело, Лелька и та не замечала, полагая, что он что-то обдумывает. Его относил от них все дальше. Что-то изменилось — они, его сотрудники, обретали успокоение, надежды, он же терял все это. Открылась пробоина, и темное безразличие затопляло его.

Первое послевоенное лето дарило теплом щедро — и днем и ночью. Цветы цвели и пахли неистово. Появилось великое множество бабочек. Не переставая пели, верещали, чирикали, перекликались птицы. Звуки мелкие, давно не слышные наполняли сейчас пахучий травяной воздух. Цветущая земля шелестела, жужжала, над землей летающая живность стрекотала, взблескивала. Сочная густая зелень наверстывала упущенное, точно торопилась прикрыть, уничтожить следы войны. И люди окунались в этот благоухающий целебный покой, который помогал забыть пережитое.

Зубр меж тем назначал, требовал, разносил... Селинова посадил за консьержа. Отделенный стеклянной стеной, он должен был проверять входящих, но проверять было некого. Перед ним стоял телефон, который не работал. Все сидели на своих местах и делали вид.

Раньше каждый знал, чем заниматься, не требовалось понукать, и Зубр ни во что не вмешивался.

Все попытки узнать про Фому ни к чему не приводили, из Маутхаузена долетали слухи о восстании, в котором погибло много заключенных. Восстание произошло перед приходом американских войск. Подробностей не было, списков погибших не было, но кто-то якобы видел, как был убит Фома при перестрелке. Кто, что — выяснить не удавалось.

Николая Риля пригласили куда-то, и вскоре он уехал работать в Советский Союз. За ним отбыли в Союз несколько немецких сотрудников с семьями. Все произошло так, как предсказывал Зубр.

Наконец приехали за ним. Приехали поздно ночью. Через несколько дней стало известно, что он арестован и увезен в тюрьму.

Впоследствии выяснилось, что арестован он был «по линии другого ведомства», которое знать не знало о распоряжении Завенягина и планах на него. Препроводили его в Москву, там провели следствие, суд. Вменили в вину ему то, что в свое время он отказался вернуться на родину. Вот и весь разговор. Указания были строгие, время горячее, вникать в научные заслуги и прочие тонкости и нюансы не стали, следовательно все было ясно, чего мудрить. Сослали его в лагерь, куда ссылали и чистых и нечистых — бывших полицаев, дезертиров, бандитов, власовцев, бандеровцев, мало ли их было тогда.

Когда Завенягин хватился, Зубра найти не могли; а может, и вправду затерялись документы, как объясняли потом. Во всяком случае, разыскивали его больше года и нашли лишь в начале 1947 года, доставили в Москву, а оттуда направили на Урал. И стал он там заниматься тем, о чем договаривался с Завенягиным еще в Бухе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Озеро было синим, горы голубыми. Озеро называлось Вишневым. По округлым холмам спускались темно-зеленые потоки сосен и вишен, кроны их блестели на солнце. Пустынные песчаные отмели тянулись вдоль берегов озера, уходя за пределы поселка. Коттеджи, здание лаборатории, склады, гаражи составляли этот малый поселок, затерянный среди уральских отрогов.

Первые недели Зубр посиживал на балконе, привыкая к покою, тишине. Передвигался, опираясь на палку. По лестнице самолично подняться не мог. На второй этаж приставленный ему в помощь лейтенант Шванев и подполковник Верещагин поднимали его под локотки.

— Ногу сам поставить мог, а подъемной силы в ней нет, ни божьей, — вспоминал он.

Врачи определили ему месяцы для поправки, но то ли природа Южного Урала как нельзя лучше пришлась его организму, то ли собственное нетерпение, тоска по работе подгоняли — силы прибывали быстро. Голова пришла в порядок, заработала.

— А ведь насчет головы известно: чем она больше работает, тем лучше соображает.

По вечерам приходил начальник. Фамилия его была Уралец, Александр Константинович. С начальником повезло. В том смысле, что начальник был умница. Наверное, это самое полезное качество для начальника. Более всего Зубру нравилось, что Александр Константинович не стал влезать в ход работ, поправлять, указывать. Вместо этого он стал уяснять себе, что за штука такая Зубр, и, уяснив сие, доверился Зубру как специалисту.

Елизавета Николаевна Сокурова рассказывала:

— Другие администраторы напускают на себя вид понимающих, слова всякие произносят, а Александр Константинович не постеснялся признаться, что в нашем деле он ничего не понимает и полагается на Николая Владимировича. От такого признания мы его больше уважали.

Спустя десятилетия многие люди вспоминали о порядочности А. К. Уральца, о его такте.

С обезоруживающей прямоотой он попросил Зубра по возможности образовать его по части биологии, поскольку плошать неохота. Зубр обрадовался — кому-то втолковывать свои идеи, просвещать — одно удовольствие.

— ...А что, сахар со всех сторон сладок, я каждый день в его начальническом шикарном кабинете у доски читал курс биологии, специальной генетики и радиобиологии. Самую суть выкладывал ему. Он окончил какой-то экономический институт в Харькове из тех, что принято кончать для бумажки. Учили его, разумеется, белиберде. Все лето по два часа в день слушал он мои лекции. Общую тетрадь завел. По субботам мне показывал свои записи, просил поправить или вычеркнуть, где ерунда.

Времени на него Зубр не жалел. Казалось, чего стараться, в ученого-то его превращать поздно. Тем не менее Зубр упорно делал свое дело, зная не зная, как все это окупится сполна и неожиданно.

Произойдет это позже. Пока что ему надо было организовывать лаборатории. Несколько лабораторий составляли его отдел — радиохимическая, физическая, радиобиологии растений, радиобиологии животных, радиологии, были еще мастерские. Писать заявки на оборудование, приборы, строить стенды, вентиляцию, подводить всякие сети, устанавливать, распределять, налаживать — сладостный, целебный

поток дел, забот, проблем затягивал его все сильнее. Нужны были люди, специалисты, лаборанты. Он предложил пригласить своих сотрудников из Буха, людей, с которыми он сработался, которые остались в нашей зоне, поверив ему. Но где они? Что с ними? Прошло полтора года, как его увезли из Германии. Ни одной весточки за это время не мог он подать о себе. Он не знал, что с Лелькой, Андреем, на воле ли они, не отправились ли в Западную Германию, а то и за океан...

На самом деле Елена Александровна с сыном продолжали сидеть в Бухе. Иностранцы разъехались, некоторые из лаборантов подались на запад. Она же никуда не двигалась в какой-то упрямой уверенности. Слала регулярно в Москву запросы о муже, в Вену, в американскую зону — о Фоме. Друзья советовали ей уехать с Андреем в Геттинген, в Мюнхен, в Австрию, пока ее саму не арестовали. Ей ведь тоже могли предъявить обвинение в невозвращении. Немцы полагали, что надежд на скорое освобождение Зубра нет, во всяком случае в ближайшие десять лет, если вообще ему удастся выжить. На что она обрекает себя? Стоит ли ей сидеть здесь в качестве жены преступника? В СССР ее не зовут, не разрешают туда ехать — чего ей ждать? Ни на один из этих вопросов ответить она не могла, да и не задавалась ими. Она сидела непреклонно, как если бы он оставил ее на вокзале, а сам пошел за билетами. Вокруг нее пустело. Уехал Ка-Ге, то есть Циммер. За ним уехал Борн. Известно было, что они отбывали в Советский Союз. С ними заключали договоры на научную работу по специальности.

Когда они стали приезжать на Урал к Зубру, вот тут-то от них он узнал, что Лелька и Андрей сидят в Бухе и дожидаются его. И успокоился. То есть он и раньше понимал, что Лелька не тронется с места, но теперь он знал, что они живы, здоровы.

Подбирали штат лабораторий, специалистов, дозиметристов, радиологов, химиков, ботаников. Естественно, Зубр больше знал немцев, тех, с кем приходилось сотрудничать все эти годы, но собирались и русские специалисты, которых удавалось разыскать, что было в ту послевоенную пору куда как непросто. Когда молоденькая выпускница МГУ Лиза Сокурова приехала на объект, ее неприятно поразила немецкая речь, которая звучала в лабораториях, в коридорах...

Не мудрено, что она потянулась к Николаю Владимировичу. Если он говорил по-немецки, это все равно было по-русски. Он всех приглашал на свои лекции. Заставлял учиться радиобиологии, биологическому действию разных излучений. Никакого серьезного опыта тогда не было ни у нас, ни у американцев. Набирались ума-разума опытным путем, искали средства защиты от радиоактивности, пробовали; не мудрено, что сами «мазались», «хватали дозы» — несмотря на все предосторожности, болели. Предостерегаться тоже надо было учиться.

Работы, которыми они занимались в Бухе — биологическое действие ионизирующих излучений на живые организмы, — вдруг, после атомных взрывов, обрели грозную необходимость.

Буховские немцы получили хорошие квартиры, им всем назначили большие оклады. Зубра тоже переселили в роскошную квартиру из

трех комнат, с балконом. Потолки высокие, солнечно, натертый паркет блестит. Он отказывался — что ему делать одному в этих хоромах? Тогда А. К. Уралец осведомился: не желает ли он вызвать супругу? И место, оказывается, ей приготовлено — научным сотрудником лаборатории. Имеется на то разрешение Совета Министров (в те времена семейственность запрещалась). Сына Андрея можно будет отдать в Свердловский университет, пусть там заканчивает учебу. Андрей тогда учился на физфаке Берлинского университета.

Итак, Уралец направил Елене Александровне официальное приглашение.

В августе они прибыли, Лелька и Андрей. Все трое были теперь вместе. Война для них кончилась. Они рядом, и не где-нибудь, а на родине. Это все сошлось разом — конец разлуки, они обрели друг друга, они живы, здоровы, разворачивается интересная, нужная всем людям работа, их работа, которую они начинали еще в двадцатые годы, и условия превосходные по тем временам: кормежка хорошая, одевают, обувают — что еще надо? Они чувствовали себя счастливыми.

Несмотря на трудности нового дела, на оторванность от «большой жизни», работа шла с подъемом. Это было Дело, необходимость которого признавали все вплоть до лаборанта, вплоть до подсобного рабочего, они нащупывали методы очистки вод рек, озер от радиоактивных примесей, изучали влияние радиозащитных веществ. Требовалось исследовать, найти способы, приемы, средства защиты живого, дать рекомендации... Гуманная эта миссия воодушевляла самых разных людей, собранных на объекте.

Случались, конечно, трения и конфликты. Лиза Сокурова занималась облучением спор папоротника. Молодой специалист, она хотела уяснить себе смысл и значение своей работы. Спросила у своего руководителя доктора Менке. Подняв брови, он ответил слегка удивленно: «Для вас это неважно. Вы старший лаборант и должны выполнять мои указания. Чем мы занимаемся — пусть это вас не беспокоит».

Наверняка Менке был неплохим специалистом, может, следовало найти к нему подход, но ее, комсомолку, тогда, в 1949 году, захлестнула неприязнь. Да какое право они, немцы, имеют вести себя так высокомерно! Можно подумать, что не они работают у русских, а русские — у них. Не желала она больше быть под немецким начальником. Она рванулась к Зубру, но тот ее довольно-таки холодно осадил: «Свои отношения выстраивайте сами».

Тем не менее она стала посещать семинары Зубра. Это он разрешил.

На семинарах Зубр рассказывал про чудеса: оказывается, при слабых облучениях происходит стимуляция растений. Это противоречило открытому им же принципу попаданий. Поначалу он высмеивал своих сотрудников, бранил за нечистые опыты. Заставлял переделывать. Переделывали, и снова вместо угнетения получалась стимуляция. Странно, недоумевал Зубр, исходя из радиационной биологии, такого не должно быть. Думали, обсуждали, ни до чего не могли договориться. Вновь и вновь получалась стимуляция, особенно у бобовых растений. И вдруг, как это бывает, счастливое вдруг, он понял, в чем тут дело,

и все тоже ахнули, как просто. С этой минуты начался увлекательный цикл работ по стимуляции растений слабыми дозами.

В МГУ Лиза Сокурова не встречалась с подобными семинарами.

Зубр брался решать задачу наравне со всеми, он не пользовался никакими льготами. Ни престиж, ни авторитет тут не могли помочь. Вчерашние победы ничего не значили. Побеждать надо было сегодня.

В августе 1948 года состоялась известная сессия ВАСХНИЛ, в результате которой все противники Лысенко были разгромлены, заклеяжены, охаяны, многим пришлось прекратить свои работы. Биологов, которые не разделяли его взглядов, отстраняли от преподавания, увольняли. До тимофеевской лаборатории на Урале волна докатилась через год с лишним. Вышел приказ — уничтожить дрозофил и чтобы никакого морганизма-менделизма в помине не было. Вот тут-то и сработало просветительское старание Зубра. Вызвал его Уралец и говорит:

— Вы, Николай Владимирович, непривычны к нашим порядкам, поэтому к вам особый разговор. Занимайтесь, как и занимались, своей генетикой, но смотрите, чтобы ни в каких отчетах и планах, которые вас, старых спецов, научили подписывать, ничего генетического или дрозофильского не значилось, ни-ни.

— То есть жульничать?

— Ну зачем же... Которой рекой плыть, ту и воду пить.

Даже то небольшое, что успел преподать Зубр, было достаточно А. К. Уральцу, чтобы самостоятельно разобраться в нелепостях учения Лысенко. Он сумел отделить генетику от лысенковщины, оценить истинную науку и принять решение довольно рискованное в тех условиях, и для его положения в особенности.

— Наворочали мы множество дрозофильных опытов, — рассказывал Зубр. — Публиковать ничего было нельзя. Американцы со своих атомных объектов публиковали, а мы ни черта не публиковали, мы первые, до американцев изучили комплексобразователи для выведения радиоизотопов из организма человека. Кроме того, мы занимались биологической очисткой сточных вод от радиоизотопов. По одной этой «водяной» теме были подготовлены десятки отчетов!

Все это время Зубра как бы не существовало. Где находится, уцелел ли после войны, что с ним случилось — никто из биологов не знал ни за границей, ни у нас, — таковы были условия его работы в лаборатории. Как-то понадобились ему культуры дрозофил, еще до того, как Лелька привезла их из Берлина. В Москву в генетическую лабораторию Академии наук был направлен старший лейтенант Шванев — это было еще до августа 1948 года, позже нигде уже дрозофил достать было нельзя. Чтобы он знал, какие культуры брать, Зубр написал перечень, написал даже, из какой лаборатории какие культуры привезти. Разумеется, не подписался, никаких инициалов. Но этого списка было достаточно для того, чтобы генетики Москвы поняли, кто сидит на Урале и работает. Узнали его почерк несколько человек, с которыми он переписывался, будучи в Германии.

Пошел, покатился слух — жив Колюша, жив!

По биологической защите удалось решить ряд проблем. Застревающие в организме радиоизотопы, попадающие от всяких загрязнений, удаляли, вводя комплексоны — вещества, которые связывали радиоактивные изотопы.

К. Циммер, которого недаром Зубр считал лучшим дозиметристом в мире, организовал великолепную физическую лабораторию с мощным кобальтовым гамма-излучателем в огромном колодце. С помощью Циммера удалось наладить сравнительную дозиметрию разных ионизирующих излучений, благодаря этому можно было заниматься как следует радиационно-генетическими опытами с дрозофилами, с бактериями, на дрожжах, на растениях, изучать радиобиологическое действие разных доз. И Кач, и Борн, и Лихтин — словом, все немцы, уговоренные Зубром, приехавшие сюда, работали с душой, так, как работали у себя на родине.

Им жилось в этом заповеднике вольготно и даже весело. Они почти не замечали отъединенности от «большого мира», культурных центров и тому подобного. Лаборатория на Урале была, пожалуй, единственным местом, защищенным от террора Лысенко, местом, где жила научная генетика. Зубру повезло. Неизвестно, каких бы глупостей он натворил, если б не Александр Константинович Уралец.

— А еще Завенягин, — прибавлял Зубр, всякий раз возвращаясь к этой фигуре, — он здорово тянул. Вокруг него собиралось много хороших людей и сравнительно малое количество сволочи. Вот этим он и был замечателен. Завенягин был не только умница, но прекрасный, непосредственный человек.

Вместе с талантищем досталась Зубру от природы еще и везучесть. Что это за штука такая, не выяснено, но в науке она несомненно присутствует. Существует она в двух видах: с положительным знаком и с отрицательным — как невезучесть. И то и другое — не случайность, а качество натуры. Я знал научного сотрудника, у которого все приборы ломались. У других работали, а у него горели и портились. Причем нельзя сказать, что из-за его неуклюжести или неумения. Ничего подобного. Он мог подкрадываться к прибору прямо-таки на цыпочках, включать его со всей осторожностью, и тем не менее что-то там обязательно фукало, трескалось, заклинивало. Другой невезучий как сядет в такси, так авария, в купленной новенькой книге не хватит страниц, в столовой ему достанется пюре с обгорелой спичкой... Спутнуть невезучесть трудно, борьба с ней бессмысленна, как борьба с отсутствием музыкального слуха. Если невезучесть сочетается с талантом, она самым бессовестным образом обкрадывает несчастного. Два-три года работы — и вот уж добыты интересные результаты, найдена наконец закономерность, и пожалуйста — в последнем номере журнала публикуется работа какого-нибудь новозеландца, ашхабадца, марокканца с твоим открытием! Из-под носа вытащат, на ноздрю, но обойдут.

А когда с талантом соединяется везучесть, то это пир природы! Я даже подозреваю, что везучесть одно из свойств больших талантов, иногда она может поднять их почти до гениев.

Часто везучие суеверно твердят, что везет тому, кто трудится, что удача любит терпеливых и тому подобное. Так, да не так. У везучего и нескладно, да ладно, у него, как говорят, и петух несется. Рот распахнет — удача туда и прыгнет.

Везучесть сопровождала Зубра всегда, и никакие обстоятельства не могли их разлучить.

Казалось бы, вот после лагеря заточили его в ссылку, в глушь, изолировали от академической, институтской ученой среды, а что получилось? После сессии ВАСХНИЛ Лысенко и его сторонники громят генетику, крупнейших ученых-биологов, которые не желают отречься от генетики, лишают лабораторий, кафедр, а в это время Зубр в своем никому не ведомом заповеднике преспокойно продолжает генетические работы на дрозофилах. Само слово «дрозофила» звучало в те годы как криминал. Дрозофильщики чуть ли не вредители, фашисты — что-то в этом роде, страшное, враждебное советской жизни. В «Огоньке» печатают статью «Мухолюбы — человеконенавистники». Дрозофила была как бы объявлена вне закона. Антилысенковцы изображались в ку-клукс-клановских халатах. Если бы Зубр вернулся в те годы в Москву, то по неудержимой пылкости характера он, конечно, ввязался бы в борьбу, и кончилось бы это для него непоправимо плохо, как для некоторых других ученых... Судьба же упрятала его в такое место, где он мог оставаться самим собой — самое, пожалуй, неперемное условие его существования. В этом смысле везло ему всегда. Обстоятельства как бы отступали перед его натурой.

Повезло и в науке. Ему удалось продвинуться в новом направлении. Изучали пути радиоизотопов в растениях, в организмах животных, затем в природных зоо- и биогеоценозах, как водных, так и наземных. Вот загрязнена река, туда пущены радиоизотопы. Как они распределяются по растениям, по почвам, как они мигрируют? Изучали, как зависит смертность тех или иных организмов от действия различных доз ионизирующих излучений.

Приходилось иметь дело с радиоизотопами, у которых период распада несколько часов («Пока их получишь, пройдя по всем секретным учреждениям, пшик остается, они уже распались!»).

Елена Александровна сделала работу по определению коэффициента накопления разных изотопов у пресноводных животных и пресноводных растений, всего у семидесяти пяти видов.

Везение заключалось и в том, что заниматься выпало ему самой жгучей, самой наинужнейшей на многие годы проблемой. Во всем мире развернулись работы с радиоактивными веществами. Создавали атомную бомбу, атомные реакторы, атомные станции. Защита среды, защита живых организмов, защита человека — все это вставало перед наукой впервые. Надо было обеспечить безопасность работ, безопасную технологию. Молодая атомная техника и промышленность ставили много проблем. Даже ученые-физики не представляли себе толком нужных мер защиты при пользовании радиоактивными веществами. Про младший персонал и говорить нечего. У Е. Н. Сокуровой работала препаратором пожилая женщина. Прежде чем дать мыть чашки из-под радиоактивных веществ, Елизавета Николаевна подробно инструкти-

ровала ее: нужно надеть двойные перчатки, потом обмыть их, проверить на счетчике и так далее. Смотрит однажды, а она моет чашки голыми руками. «Что вы делаете!» — «А я,— отвечает она,— уже мыла так, без перчаток, и ничего мне не стало, так что зря ты кричишь».

Да что препараты, все «мазались». Муж Сокуровой, сам дозиметрист, облучился, и Николай Владимирович «замазался», сын Андрей тоже. Трудно было остаться чистеньким в работе с этой плохо изученной штукой.

Но, схватывая свои дозы, облучаясь, они вырабатывали средства защиты, средства очистки, пределы, нормы, технику безопасной работы для следующих поколений. То был передний край биологии тех лет, разведка боем, которую она вела.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Если бы я о Зубре сочинял, то после лагеря он бы у меня озлился. Ход рассуждений был бы примерно таков. Завенягин ему обещал золотые горы, вместо этого его схватили, услали, он чуть не помер... За что? За то, что не уехал на Запад, уговорил сотрудников остаться? За это его посадили? Работал бы он у меня на Урале, конечно, как и работал, в полную силу, иначе он не мог, так же как и его немцы, все они плохо, даже средне работать не могли. Но вот внутри у него все пылало бы от возмущения. Это первое, что пришло бы мне в голову.

В том-то и дело, что первое. А первое, что лезет под перо, лучше отбрасывать. Я исходил из того, что Зубр был оскорблен, обижен. Он должен был как-то ответить на это. Например, надменностью: ага, не можете обойтись без меня! Или замкнутостью: отринуть всех и вся. Раз его так приняли на родине, раз сделали преступником, руки не подают, то и ему никто не нужен. Разные варианты напрашивались, тем более что немцы посмеивались над ним: уговаривал нас, а самого как встретили? За все старания в лагерь упрятали! Сочувствовали и посмеивались.

Да и все, что было с ним в лагере, не могло пройти бесследно. Нет, нет, он должен был измениться!

Стоило характеру Зубра выйти на просторы воображения, как он выкидывал самые причудливые номера. Мог запить, загулять, пуститься в бега, удариться в религию, мог стать циником, делать карьеру, для этого мог предложить свои услуги Лысенко.

На деле же произошло то, о чем я не сумел догадаться, единственный ход жизни, который я не мог вообразить,— Зубр остался точно таким же, каким был. Самый невероятный для меня и самый естественный для него вариант. В отношениях с немцами, своими сотрудниками, в семье все так же звучал его трубный глас, все так же подпрыгивала его нижняя губа и в гневе и в хохоте. Был так же свиреп, так же распахнут, так же увлекался и увлекал. Не озлился, не упал духом, не изверился. Натура его оказалась незыблемой. О лагерном своем житье он вспоминал со смешком, словно причислял его к прочим занятым перипетиям своей биографии.

Действительная жизнь тем и отлична от сочинений, что никак не догадаешься, куда она свернет. Тут же вообще никакого поворота не произошло. Как двигалось, так и продолжало двигаться. Прямолинейно и неизменно. Не отзываясь ни на какие возмущения. Что это — инертность? Стойкость благородного металла? Неизменность его было не разгадать. Казалось бы, чего проще: какой был, такой и остался. В чем тут тайна? А тайна в том, что остался, сохранился, не уступил ни демонам, ни ангелам, разрывающим душу надвое. Благополучный человек, он может позволить себе быть нравственным. А ты удержи свою нравственность в бедствии, ты попробуй остаться с той же отзывчивостью, жизнелюбием, как тогда, когда тебе было хорошо. Не раз возвращался Зубр к одному разговору, что происходил в камере, где он сидел, — разговору о непостыдной смерти. Боимся мы смерти, презираем ее, думаем о ней, не думаем о ней — все равно войдем в нее. К этому надо быть готовым всегда, значит, надо стараться держать в чистоте свою совесть. Смерть ужасна, когда ты умираешь со стыдом за годы, прожитые в суе, в погоне за славой, богатством. Нет удовлетворения, к моменту смерти ничего не осталось, не за что ухватиться, все рассыпается как пыль, не было добра, не было самопожертвования...

Рассуждение его сводилось к тому, что о смерти надо думать. Проверять свою совесть мыслью о смертном часе.

Трудность состояла в том, что порядков наших он не знал и никак не мог приноровиться к ним. Не видел смысла в собраниях, в общественной работе, в соревновании, в том, что отличает наш порядок от немецкого. Откровенно говоря, и не желал принаравливаться. Оставался белой вороной и от этого был всегда под некоторым подозрением. Но и привлекал к себе внимание, особенно молодых. Конечно, не следует думать, что лаборатория могла полностью изолироваться от происходящего в стране. Лизе Сокуровой, например, поручили проводить занятия о передовом учении Лысенко. Как бы политзанятия. Более всего ее смущало, как к этому отнесется Зубр. Не подумает ли, что она за его спиной говорит обратное тому, что утверждает он? Решила его пригласить на эти занятия. Он пришел, послушал немного и выскочил, негодуя. Счел, что она хочет переучивать его. Бесплезно было объяснять ему про поручения, обязанности. И так во всем. Часто недоумевал: «Зачем пишут анонимные рецензии на статьи в научных журналах? Зачем надо брать обязательства, когда и без них я должен делать все, что могу? Почему нельзя пойти купить реактив в магазине за свои деньги, потом бухгалтерия вернет?»

Его наивность одних забавляла, других озадачивала.

Его сотрудник Д., работавший с ним в уральской лаборатории, вспоминает, как Зубр в своих докладах о Дарвине ссылался на Мальтуса: мол, у Мальтуса вычислено то-то, сказано так-то. Для всех мальтузианство было бранным словом, слушали Зубра со страхом.

Как-то одному из физиков надо было что-то выяснить по микробиологии. Зубр направил к Сокуровой.

— Вы Елизавету спросите, она у нас микробиолог, должна знать.

Сокурова не знала. Так и призналась. Он со свирепой серьезностью сказал:

— Вот что, Елизавета Николаевна, поезжайте-ка вы в Москву, в университет, требуйте обратно деньги за обучение, раз вас там ничему не научили.

Какие деньги? Обучение у нас бесплатное. Это его не интересовало. И остальные и сама бедная Лиза понимали, что не в этом дело, а в существе.

Так было и много позже — на биостанции Миассово и в Обнинске. Он мог рычать, потрясая спущенной сверху бумагой:

— Это что же получается, сдать научную работу до тридцатого декабря? А если я сдал второго января, значит, план не выполнен? Какое это имеет отношение к науке? При чем тут, к чертям собачьим, научная работа? Нет уж, извините, это никакая не научная работа, а бумагоиспускание!

У него это звучало ругательно грубо.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Наслышан о Д. я был давно, от разных людей. Говорили о нем всегда нехорошее — о каверзах, интригах, подлостях, которые он чинил Зубру. Из года в год десятилетиями неотступно пиявил он Зубра — своего учителя, наставника, шефа. Не отпускал, следовал за ним. Из рассказов вырастал пожизненный недоброжелатель, да чего там недоброжелатель — враг, настойчивый, истовый, как будто причиной была кровная месть или что-то в этом роде. Вражда выражала себя в постоянных укусах, больших и мелких, видно, скучная душа этого человека утешалась, лишь причиняя неприятности, досаждая Зубру.

За что? Тут мнения расходились. В точности никто не знал, за что этот Д. преследовал Зубра столь долго и упорно.

Их вражда не была взаимной. От Зубра я не слыхал про Д. ничего плохого. Похоже, что Зубр вообще избегал говорить о нем, как будто Д. «не доставал» его чувства. Чувства, может, и «не доставал», а вот каверз и перипетий хватало.

С чего у них началось? Некоторые вели счет от случая, который произошел в самом начале пятидесятых годов, еще в уральской лаборатории.

Д. работал там младшим сотрудником, химиком. Появился он при драматических, можно даже сказать романтических, обстоятельствах. Во время войны юношей он попал в Бессарабию, сошелся там с какой-то красоткой, жил в ее поместье, и, когда пришли наши войска, его судили за уклонение от службы в армии. Впоследствии его реабилитировали. Но до этого, сидя в заключении, он, недоучившийся студент Харьковского университета, решил приложить все силы ума и воли, чтобы как-то выкарабкаться, надо было обратить на себя внимание, доказать свою полезность. Ему помогло то же самое, что помогло и Зубру, — работы, связанные с биозащитой. Его отправили в лабораторию к Зубру, где он должен был оправдать то, что наобещал. Как ни удивительно, он сумел это сделать быстрее, чем кто-либо ожидал.

Суть дела он схватывал на лету. Память имел исключительную, к тому же способности к языкам. С немцами вскоре изъяснялся по-немецки, читал литературу на французском и английском. Через год он догнал кандидатов наук, потом обошел их. Зубр доверил ему вести самостоятельную тему. В обстановке сочувствия Д. распрямился, расцвел. Появились молодая общительность, остроумие. Выяснилось, что он знает поэзию, сам пишет стихи. Охотно читал наизусть малоизвестных тогда Цветаеву, Мандельштама, Ходасевича. Сочинял капустники. Пел. Женщины с удовольствием опекали способного юношу, прочили ему блестящее будущее. Да он и сам уверился в себе. Не так-то просто было выделиться на фоне этого тщательно подобранного коллектива крупных ученых, где репутацию определяли не отношения с шефом, не выступления на собраниях, не анкета. Здесь все решало дело — как человек соображает и как работает. Так было тогда на всех атомных объектах — диктовали сроки и необходимость. Требования, ежедневные требования отбирали лучших, отбрасывали бездарей. Д. выдерживал эту гонку, значит, он был явлением незаурядным, как он сам себя оценил.

Однажды — теперь уже не выяснить, при каких обстоятельствах, — Зубр вспыл и громогласно припечатал его: «Надо же, столько способностей и ни одного таланта! Мишура!» Д. был потрясен. Честолюбию его нанесли удар, и кто — человек, которого он боготворил, которому подражал, высший авторитет, Верховный Судия, единственный здесь, к мнению которого стоило прислушиваться. Обругай его Зубр невеждой, зазнайкой, придурком, кем угодно — он бы простил. Тут же произошло другое, Зубр зацепил нечто глубинное, еще не ведомое самому Д., и вытащил перед всеми. Определил, формулу вывел. Есть вещи подсознательные, которые стоит обозначить, произнести вслух — и они начнут властвовать над судьбой. Отныне каждую свою неудачу, промах Д. соединял с этой формулой. Зубр вселил в него чувство неполноценности. Боль от удара проходит. Эта боль не проходила, она стала болезнью. А вдруг в нем действительно нет ни одного таланта, настоящего таланта, без которого ничего серьезного в науке не добьешься? От изнуряющей этой мысли некуда было деваться. Виноват был Зубр во всех неудачах, ошибках, неприятностях...

Примерно так выстраивали историю их вражды.

Избавиться от урона, нанесенного честолюбию, Д. мог, лишь свергнув Зубра с пьедестала. Сорвать с него ореол, доказать раздутость его величины! Никакой он не гений, он устарелый крикун, пугач, фанфарон...

Вот какие объяснения мне предлагали.

Но достаточно ли одной фразы, думал я, для того, чтобы вести Тридцатилетнюю войну? А она длилась без малого три десятилетия. А если и достаточно одной фразы, то какое воспаленное честолюбие надо иметь! Что-то тут не так. Фраза всего лишь повод, такая упорная вражда может развиваться, если есть внутренний антагонизм, нужно, чтобы эта вражда чем-то питалась.

Затем мне стали известны факты, не влезające в эту версию.

Когда лабораторию закрыли, немцев, щедро наградив, отпустили на родину, чему они немало удивились, полагая, что придется отработать на победителя куда больше. Советских ученых распределили кого куда. Зубра — в Уральский филиал Академии наук и дали ему право отобрать себе группу. В числе прочих он взял к себе Д.

Его выбор вызвал общее удивление: зачем брать человека, который с ним не ладит, когда есть такой удобный случай расстаться?

А. К. Уралец пытался его отговорить. Дал понять, что Д. — человек не просто недоброжелательный, что он активно клеветает, не стесняется. Казалось бы, ясно? Но Зубр упорно не понимал, не хотел понимать. Ну, опасный он человек, доказывали ему, опасный. От соседства с ним могут последовать неприятности, и крупные. Зубр добродушно отмахивался. Один из кадровиков не вытерпел и, нарушив правила, показал заявления, написанные рукою Д. Там были тщательно собранные неосторожные замечания Зубра, двусмысленные его словечки-фразочки. Перетолкованы, откомментированы. Кадровик брезгливо сунул ему в руки — читайте!

Зубр поводил по строчкам карманной лупой, хмыкнул.

— Не вспоив, не вскормив, врага себе не сделаешь. Вы ведь кляузы эти не учитывали. И другие, надеюсь, не станут. А работник он толковый.

Кадровик пожал плечами — что поделать с этим упрямым простаком, с этим реликтом? Он надеялся теперь на самого Д., что Д. откажется: какой ему резон опять быть под гнетом ненавистного руководителя, когда есть другие адреса, другие возможности?

Однако — и это было для меня важно — Д. не отказался, он последовал за Зубром на новую работу в Миассово.

Знал, что Зубр знает про его доносы — всем это уже стало известно, — знает и не боится, берет его с собой, следовательно, не считает опасным. Это уязвляло еще сильнее.

Зная все факты, я никак не мог соединить этих двух людей, ничего не выходило, по всем параметрам они были несовместимы. По крайней мере, Д. не должен был тянуться за Зубром. После уральской лаборатории, после Миассова они и в Обнинске вместе сошлись. Почти до самой смерти Д. сопровождал Зубра, заклятый его сподвижник. Преследовал он его, что ли? Но зачем? Казалось, отвяжись, сколько можно, если он так мешает. Почему, за что Д. так ненавидел Зубра и, ненавидя, шел за ним?

Феномен Д. означал, что Зубра можно не любить. Более того — ненавидеть! Это было для меня открытием.

Я решил встретиться с Д. Тем более что он остался один из немногих, кто так хорошо и долго знал Зубра по работе, да и по жизни, что прошла после войны.

Меня отговаривали. Предупреждали, что он все замажет грязью, станет клеветать, напридумает пакости, потом не разберешься.

Чем сильнее меня отговаривали, тем больше мне хотелось увидеться с Д.

Я вспомнил книгу Константина Леонтьева о романах Льва Толсто-

го. Язвительно, местами с убийственной злостью разбирает Леонтьев язык, стиль «Анны Карениной», «Войны и мира». Отдает должное и в то же время высмеивает безжалостно, без всякого почтения. Ничего подобного читать о Толстом мне не приходилось. Было страшно и любопытно. Неприязненный взгляд Леонтьева был зорок. То, что у Толстого могут быть такие огрехи, надуманность, слабости, то, что перед ними можно не преклоняться, потрясло меня. Многое из читанного о Толстом раньше показалось приторно хвалебным. Я вдруг почувствовал, что моей любви не хватало этого чужого злого мнения. Оно пригодились — от критики Леонтьева в чувстве моем к Толстому ничего не убыло, скорее прибыло.

Уговорить Д. на встречу было непросто. Разумеется, он понимал, что я хочу написать о нем, что все равно я напишу, согласится он на встречу или нет, поскольку в повести о Зубре без него не обойтись. Он знал, что он — отрицательный герой, но до какой степени? Он не знал, что и сколько мне известно. И медлил, откладывал, ссылаясь на нездоровье.

— Мне нужно выслушать от вас то, чего никто другой не скажет, — уговаривал я. — Плохое, критическое, ироничное — что захотите.

— Назовем это истиной, — сказал он. — Объективной истиной. Грубый хлеб истины. А то ведь вы вскормлены пирожками обожаемых. Ну что ж, если ради истины. Это ваша и наша профессия — служение истине. Наша даже больше, чем ваша.

Не будь высоких каблуков, он был бы совсем небольшого роста. Лицо узкое, нервное, жидкие пегие волосы, кокетливо зачесанные на лоб как бы челочкой. Глаза серые, увертливые. В тех рассказах, которые я слышал раньше, он был молодым, блестящим, играющим силой, умом. Здесь же передо мной предстал пожилой господин, хрупкий, усохший, — ничего зловещего, опасного. Мне хотелось, чтобы он был похож на Грушницкого, которого я с детства терпеть не мог. На Сальери. На Мефистофеля. Я готовился к герою типа Смердякова, Урии Гипа — к чему-то коварному, сатанинскому, соответствующему его роли.

Можно ли распознать по внешности злодея? Хотелось бы, конечно. Но сатана и дьявол приходят к нам с физиономиями стертymi, рога спрятаны под шляпой, мохнатый хвостик утиснут в вельветовые штаны. Симпатяга. Запаха серы не ощущается. Серия улыбок — и паленой шерсти не замечаешь.

Д. излучал приветливость и начал с легкого, ничего не значащего разговора. Когда я перешел к делу, он уселся удобнее, сплел пальцы и долго смотрел на меня с неясной улыбкой. Затем короткими фразами пункт за пунктом изложил возможный вариант предстоящей сделки. Он готов помочь при условии, что вместо него будет изображен другой. Некто икс. И обстоятельства будут неузнаваемы. Только так. Чем больше «не я», тем проще ему открыться. Чем больше «не я», тем больше будет его «я». Иначе нельзя, иначе открываться трудно. Писателю ведь хочется узнать сокровенное. Кто же станет раздеваться, показывать свои язвы? А когда «не я», когда «я» — другой, тогда легче оголиться.

Я не понимал, как же так: все лица у меня достоверные, и вдруг один появится вымышленный?

Не вымышленный, охотно поясняет Д., наоборот, он будет достовернее других, только обозначенный другой фамилией. Не все ли равно читателю? А раз уж будет придуманный герой, почему бы не перевести повесть в чисто художественную? И автору свободней и никаких претензий.

Видно, что у Д. разговор наш продуман наперед, не знаю только, как далеко, пока что все движется по запрограммированному им пути. Я защищаюсь неуверенно. Меня давно одолевает соблазн вырваться в этой работе из пут подлинных фактов, дат, адресов. Что меня останавливает? Единственное — я хочу рассказать про человека, которого знал, любил. Про него, а не про другого.

— Тогда выдумывайте про меня,— говорит он с улыбкой.— Вам все равно придется выдумывать, если я не откроюсь.

Он прав, положение у меня безвыходное. Но у меня есть еще один путь:

— Выдумывать я не буду. Хватит того, что мне рассказали.

Серенькие глаза-мышки обежали меня и спрятались в прищуре.

— Много наговорили?

— Много.

Он зависел от меня, а я от него. Кто кого перетянет?

— А может, нам лучше поладить? Как Фауст с Мефистофелем? — сказал он ласково.— Помните: ты больше в этот час приобретешь, чем мог бы раздобыть за год работы.

Может, он прав. И я согласился, что обозначу его Н. Нет, настоял он, не Н. Дадим ему фамилию, допустим, Демочкин, Макар Евгеньевич Демочкин, чтобы не думали, не гадали, не занимались поисками. Соорудим некоего Демочкина, на которого можно взвалить всю оппозицию и все недоброжелательство.

Кто этот Демочкин? Был такой? Не беспокойтесь, это придумано в честь Девушкина, Макара Девушкина. Юридически не существовал, а фактически, в разбросанном виде, имелся, противники у Зубра были.

Начал он с того, что положение у Демочкина невыгодное: все факты толкуют против него, автор предубежден,— однако не будем делать ходульного злодея. Представим себе человека, у которого все складывалось несправедливо плохо. Анкета плохая, покровителей нет. Изначальные условия губительные. Осталось одно — биться, как той мышке, что свалилась в горшок со сметаной. Билась, пока не взбила масло и не выбралась. Самые лучшие годы на это ушли.

Я пытался вернуть его к Зубру, но он не мог оторваться от Демочкина. Видно, что этот Демочкин был ему близок и мил. О себе, ученом, авторе того-то и того-то, вице-президенте, главном редакторе, главном консультанте, словом — Главном, он бы так не говорил, а вот бедняга Демочкин, еще зеленый, небитый, слишком рано вылез со своими идеями. Натурально, сие озлило Зубра.

— До этого у них был сплошной бонжур.

Он произнес это с разбегу, и я хмыкнул, услышав знакомое

выражение. Напрасно я позволил себе это. Он насторожился, посмотрел на меня непрощающе. Но продолжал как ни в чем не бывало. Излагал, иронизируя над собой, притчу о том, как старый ученый ревнует своего талантливому ученика, не дает ему выдвинуться, осмелял его идеи. На всем скаку, на разгоне подсек. Если позволите заметить, деспот-учитель власть свою охранял свирепо, очень любил уничтожать людей, показывать свою силу.

— «Власть отвратительна, как руки брадобрея»,— прочел он и взглянул на меня, проверяя.

Я знал эти строки Мандельштама и кивнул, подтверждая его образованность, заодно и свою.

— Однако у него столько благодарных учеников.

— О, учить он умел, любил учительствовать. Вокруг него множество мальчиков резвились в коротких штанишках, возраст безобидный, а у меня зубки прорезались. Да, я себя в обиду не давал.

Постепенно они соединялись — тот, кого я знал по рассказам, и этот, Демочкин Макар Евгеньевич.

Я не должен был считать его слова бахвальством, он просто сочувствовал тому молодому талантливому пареньку, который пробивал себе дорогу. Ситуация древняя, банальная, взирать на нее можно без гнева, прощая далекий звон тех мечей.

— «Живи еще хоть четверть века — все будет так, исхода нет»,— декламировал он.— Четверть века для Блока было вечностью, а мы три с лишним десятилетия проскакали и судим-рядим, как о вчерашнем.

— Почему о вчерашнем? Отношения ваши продолжались и позже. Они, наверное, развивались

— За тридцать-то лет? «Наверное»!..— Он откровенно посмеялся надо мной.— Еще как развивались.— И потом сказал:— Веревочка у нас с ним...— И опять процитировал:— «Не отстать тебе, я острожник, ты конвойный,— судьба одна, и одна в пустоте дорожной подорожная нам дана...» А путь мы прошли большой — от сопротивления к противостоянию. И дальше.

— Не понял.

Он удовлетворенно кивнул.

— Видите ли, великий человек должен иметь великого противника. Для этой цели он избрал скромную персону Демочкина. Так что он Демочкина в каком-то смысле высоко ценил. Гений не может сражаться с тенью осла. Достойное противоборствует достойному и так далее.

— Вы что же, Демочкина видите гением?

— Несостоявшимся,— спокойно и серьезно поправил он.— Из-за него.

— Ну тогда, на первых порах, допустим. А дальше-то что он ему причинил? И за что? Может, он сам повод давал?

— Давал.

— Вот видите

— Вам не терпится упростить. Вы берете часть явления, начиналось же оно с того, что он вынуждал, он делал Демочкина плохим.

— Делал?

— Плохой человек, допустим, злодей — им же стать надо. Этого тоже достигать приходится. У нас ведь вместо плохих людей дрянцо мелкое.

— Вы что же, признаете его злодеем?

— Злодеем — с его точки зрения. На самом деле сложнее. Стоит ли объяснять?

— Стоит.

Он пожал плечами, подчиняясь.

— Возьмем эти слова насчет плохого человека и дрянца. Считают, что это его выражение. На самом деле — мое. От меня к нему перешло, от него, уже с эффектом, расцвеченное, взлетело. А потом мне же предъявили, что повторяю. Много было подобного. Другие подражали ему с восторгом. Для меня же... Ведь я соприкасался с ним вплотную. Ближайший сотрудник. На меня давила его речь, интонация, словечки. Мы все повторяли за ним: «треп», «душеспасительно», «душеласкательно», «это вам не жук накакал», «досихпорешние опыты» — прелесть, как он умел играть голосом, словами. «Кончай прят!» — в смысле пререкания. «Что касасемо в рассуждении...»

— Сплошной бонжур! — добавил я.

— Заметили? И это тоже. А жесты, а манера говорить. Голосище — труба громовая, все на пределе чувств. Темперамент. При нем нельзя оставаться вялым, спокойным. Все начинает резонировать. Самые упорядоченные, благонравные граждане возбуждаются. Тоже орут, ручками машут. Однажды девица, которую я склонял, говорит мне: «Можешь ты нормально со мной разговаривать, своим голосом?» Я вдруг опомнился, услышал, как я повторяю его. Меня нет. Вместо меня с ней ходит он. Мыслю я так же, пристрастия те же. Твержу, что Рафаэль красивист, что корреляция — не причинная связь, а совпадение — падение сов, и тому подобную чушь повторяю, ступаю след в след. То самостоятельное, что добывал, мною же добровольно превращалось в продолжение его взглядов. Я терял себя. Неповторимое свое. Он подчинял меня все сильнее. Это становилось невыносимо. Вы скажете — внешне. Нет, это мышления касалось, он мне в череп запускать свои щупальца. Я пытался бунтовать. Начну что-нибудь поперек, он заорет, мою мыслишку незрелую, первый росток выдернет, препарирует, покажет, что надо совсем не так, как я полагал, высмеет, оставит кострище, горелое место. Назад некуда вернуться, дым и вонь. Я — тень, я — копия. Ценность копии в чем? В ее приближении к оригиналу. Чем меньше от него она отличается, тем лучше. То есть никакой самобытности.

Он не горячился, не повышал голос. Мило и кротко сообщал для моего сведения некоторые поправки к портрету Зубра, добавляя, так сказать, отдельные черточки. Не про других, про одного себя.

— Вижу, мне надо бороться, чтобы отстоять свою драгоценную личность. Иначе и останков не найду. Личность ученого — это прежде всего свободное мышление. Самостоятельность духа. Предстояло освободиться. А как? Уехать? Тогда в лаборатории такой возможности не

было. От себя тем более не уедешь. Оттолкнуться — вот в чем освобождение! Преодолеть силу притяжения. В этой борьбе за свободу я стал понимать, что, любя и преклоняясь, не одолеть. Помогала оттолкнуться злость. Как в ракете. Дошел я до этого постепенно, ожесточился в своей битве. Раз оттолкнулся, два, пихаюсь — он сдачи дает, морда моя в крови, так что все в порядке. Вот вам и ответ, как злодея изготавливать. Стал я выискивать в нем изъяны. Увидел я, что физику он знал приблизительно, математику слабо, хуже меня. А не признавался. Я подлавливал его, подножки ставил. И знаете, что меня больше всего мучило? Что у него, несмотря ни на что, получалось. Он плохо знал, допустим, математику, а указывал, и, представляете, — сходилось. Я вижу, что не должно получаться, — нет, получается. Вопреки всему! Всякий раз он меня в дураках оставлял. Чувствую, что соображаю не хуже его, а что-то мешает довести, в последний момент у меня срывается, а у него все сходится. Ох и возненавидел я его!

— Так это не он мешал.

— Нет, он, он, — смирив голос, убежденно сказал Д. — Как в его окружении, так и в моем нас противопоставляли друг другу. Понимаю ваш смешок — с кем равняюсь, — но мне самомнение помогало.

— Это очень похоже на зависть.

— Зависть? Она кое-что объясняет. Но не все. Кроме зависти, была несправедливость. Она более всего грызла меня. Почему ему досталось все, полный мешок: биография, телосложение, голос, сила, рост — все работало на него. Будь я бездарен, не было бы никакой борьбы. Смирился бы и преуспел. Другие шли за ним безропотно и награждались. Я боролся... У нас не умеют уважать человека, полностью расходясь с ним во мнениях.

— Смотря какие мнения. Я ведь по способностям равен ему. За вычетом попутного ветра. Ему в спину, мне в лицо.

Он вслушался в эту реплику. Она насторожила его, скорее всего, она была подана слишком рано. Мне следовало быть терпеливее.

— Взять, к примеру, лысенковщину, — сказал я.

— В смысле лженауки? — спросил Демочкин. — Но ведь тут тоже свой парадокс. Сам-то Лысенко — фанатик своей идеи. Он в нее верил исступленно. Он не мог заставить отречься истинных генетиков, они на костер готовы были пойти. И взошли бы. А я, грешным делом, думаю, что и Лысенко на костер пошел бы ради своей ложной идеи. Он убежден был, недаром обещал быстрые успехи. В том была его сила. Убежден был, что можно воспитанием менять наследственность. Поэтому и шли за ним. Чувствовали его веру. Подождите, давайте спокойненько, без эмоций, как принято в науке, анализировать любую гипотезу. Ложные идеи, разве они не могут иметь своих адептов? Лысенко мог верить в свои пророчества, как Савонарола верил в свои и взошел на костер не раскаявшись.

Он вскочил, прошелся по номеру, мягко ступая кошачьей походкой. Из дальнего угла он, сложив пальцы трубочкой, посмотрел на меня, как в телескоп. Он держался куда вольнее меня, ни в чем не пережимая, освобожденно, будто сбросив тесное, тяжелое одеяние.

— Все же есть разница, — сказал я.

— Какая?

— Принципиальная. Неужели вы не видите? Получается, что вы ставите на одну доску настоящих ученых и...

— Отбросим приспособленцев. А вот те, кто заблуждался, они субъективно не отличались. И те и другие были убеждены.

— Почему-то при этом Вавилов никогда не разрешил бы себе пользоваться недозволенными приемами в борьбе, а Лысенко разрешал.

С самого начала между нами лежало, свернувшись калачиком, спрятав когти, совсем другое. Сейчас оно приоткрыло свои тигрово-желтые глаза.

— Вавилов боролся честно,— повторил я,— и Зубр тоже.

— У него власти не было.

— Можно и без власти, очень даже...

Я не кончил, подождал. Демочкин вернулся в свое кресло, уселся, закинув ногу на ногу. И тоже стал ждать.

— Не хотите ли кофе?— спросил я, снимая паузу.

В боксе это называется держать удар. Он держал удар.

— Не откажусь.

Пока я готовил кофе, он продолжал про борьбу за свое «я» через вражду, от которой и сам Демочкин портился,— так что именно в этом смысле его делали плохим, хуже, чем он был: развивали в нем низменное, то, что в каждом человеке можно вызвать.

— И вы не стеснялись в средствах,— сказал я, подавая ему чашку кофе.

— Помните, нас учили: если враг не сдается, его уничтожают. Слова эти приписывали Горькому. Хотя не похоже... Но тогда я верил, что с врагами любые средства хороши.

— Любые?

Он сказал неохотно и как-то скучливо:

— Другие понятия были. Что можно, что нельзя — все было другое. Теперь целуются прилюдно, на эскалаторе...

Он отпил кофе и обезоруживающе улыбнулся мне:

— Я знаю, о чем вы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Итак, мы подошли к барьеру. То, что с самого начала было между нами, выпустило когти, изготовилось.

— А вы попробуйте непредвзято. Вы меня обвинить хотите, а вот если бы меня оправдать надо было, вы бы по-иному рассуждали, вы сказали бы, что да, он, Демочкин, имел право, он защищал самую большую ценность — свою личность. Другие теряли, превращались в муравьев, а он защищался чем мог...

— Господи, да о чем вы!— вскричал я.— Как вы можете себя оправдывать!.. Вы хотели его погубить, вы писали на него...

Он поднял руку, останавливая меня.

— Подождите. Я полагал, мы можем спокойно изъясниться, без оскорблений. Вам что надо — узнать Демочкина или устыдить? Очевидно, узнать. При чем я вам не так интересен, как ваш герой. Вы его

хотите оправдать, возвеличить. Я вам любопытен исключительно тем, что шел против него. Почему так было, я вам разъяснил.

— Не проходит версия ваша. Если бы вы свою неповторимую душу отстаивали, то уничтожать его зачем было? А вы ведь по-настоящему его уничтожить хотели. Не фигурально. Горький тут ни при чем. Да и имел в виду Горький не личного врага, а классового.

Он рассмеялся вполне дружески: «Очко в вашу пользу».

Затем он допил кофе, вытер платочком губы, и лицо его потемнело, сморщилось.

— Давайте рассмотрим ситуацию иначе. Прошло сорок лет, к старому, заслуженному ученому Демочкину является некий Архивист и начинает выяснять: не вы ли, голубчик, восставали на своего Учителя? Понимаете ли вы, что проиграли и были не правы? Понимаю, говорит Ученик, я действительно проиграл, я вижу, как велик был тот, на кого я ополчился... О, если б знать в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!.. Угрызения совести всплыли со дна его души, где лежали навечно похороненные, забытые.. Сознайтесь, сказал Архивист, вы хотели погубить Учителя, у нас есть данные. За что вы его так? А за что вам надо? — спросил Ученик. Нас бы устроило, если бы вы из зависти, говорит ему Архивист. Это меня не украшает, сказал Ученик, но что делать, и заплакал. Была зависть, была. Признаюсь! А знаете, что было после того, как Ученик поплакал? Утер он слезы и сообщает: не буду каяться! Зачем мне каяться? Я пребываю отлученным от прочих учеников, иными словами, я выделен. Все гадают обо мне — отчего он воевал с Учителем, да как он осмелился? Если вам покаюсь, то окажусь в куче, удивления не будет. А так мною всегда будут интересоваться — это враг Самого! Главный враг! Что бы ни говорили, а великие злодеи прославили себя. Герострат, Малюта Скуратов и другие. Иуду помнят более всех других апостолов.

— Убедил Демочкин Архивиста?

— У Архивиста было большое досье. Там все собрано про Ученика — письма, анкеты, выступления, старые разговоры, встречи. То, что он давно позабыл. Эх, много бы я дал, чтобы прочесть эту папочку... «И, с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю!..» Вот именно! Не отказываюсь.

— Как это понять?

— Он плакал, но не каялся, — с уважением подтвердил Демочкин и поднял палец. — Кому каяться? Архивисту, конечно, нужно было добиться от него покаяния. Воспитан он был на классической литературе. Чтобы мальчики кровавые в глазах маячили. Как же иначе? Раскольников терзается, Нехлюдов кается, Фауст кается. Все посыплют голову пеплом. Иначе нельзя. Впрочем, черт его знает, может, в старину так и бывало. Сам я подобного не видал. Передо мной никто не каялся. Хотя должны были. Зазря ведь осудили. После всех нарушений чтобы кто-то пусть не на площадь, пусть на собрании вышел бы, встал перед людьми и сказал: «Товарищи-граждане, судите меня без пощады, я приговорил человека безвинного, да не одного...» Ни разу такого не слышал. А вы слышали?

Он подошел, сунул руки в карманы, наклонился ко мне:

— Слыхали?

— Нет, не слышал.

— Так что же вы от меня хотите? Кругом нас полно нераскаявшихся. Жен в гроб вгоняют, врут, воруют... И хоть бы хны, живут припеваючи, спят крепким, здоровым сном. За что же с Ученика такой спрос? Раскаяние удобно для блюстителей закона, для ленивых следователей. Ах да, совесть...— Демочкин посмотрел на меня, показывая свою проникательность.— Но почему мы всегда обращаемся к чужой совести? Да и при чем тут совесть? Ученик не был погубителем.

— Но хотел погубить.

— Хотел. Но это ненаказуемо. А вы никогда не хотели кого-то убить? Раз Ученик не кается, представим его закоренелым злодеем. Поскольку дело надо закрыть. Такова задача. Иначе памятник Учителю нельзя ставить. Не будет прочности...

Его полуулыбка выглядела торжествующе, я поддался ей, тоже чуть улыбнулся и сказал:

— Не существует такой жизненной философии, которую разумный человек не смог бы убедительно обосновать. Ваш Ученик заслуживал бы сочувствия, но он не личность. Он муравей. Для раскаяния надо, чтобы совесть совершила работу. Работа эта по плечу личности. Совесть — привилегия настоящего человека. А то, что многие не каются,— это не пример. Это и есть муравьиное поведение. Муравей не личность, он всего лишь орган, а не организм. Он исполняет какую-то функцию, не более.

— Значит, Ученик — муравей? — Недобрый огонек разгорался в его глазах.— А ведь он был первый Ученик. Понимаете — первый! Хотя его не держали первым. Все время в тени, между прочим. Враг Зубра — вот и все, что известно о нем.

— Непризнанный гений — это тяжело.

— Женщина, которую он полюбил,— не слушая, все громче говорил Демочкин,— она тоже почитала Учителя. На вечере, когда Ученик пригласил ее танцевать, она отмахнулась, увлеченная очередной байкой Учителя. От его похвал она была счастлива. Стоило Учителю сказать то же самое, что твердил я, это вызывало восторг. Меня она не слышала.

— Но, может, Ученик никогда и не был гением, а? У него был всего лишь комплекс.

Демочкин вытянул палец, покачал отвергающе.

— Не проходит! Ощущать себя гением дано избранным. Маяковский назвал себя гением раньше, чем его признали. Маленький поэт себя гением не объявит. Духу не хватит... «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник...» Ученик мог, конечно, стать великим, все так считали.

— Зубр не считал себя гением.

— Ему не надо было. Его признавали.

— Его не признавали. Вы отлично знаете, как его не признавали. Не сделали же его академиком. Но он от этого не страдал. Чехов, на-

пример, искренне полагал, что его будут читать лет восемь, не более. Вот Сальери, тот считал себя гением.

Он отмахнулся пренебрежительно, не принимая моих слов.

— Возможно, что Учитель даже высмеивал перед той женщиной своего Ученика. Претензии его высмеивал.

Он будто сдунул пепел с углей, жар вспыхнул, красноватые отсветы побежали по его бледно-желтому лицу.

— Если бы не он... Я бы... Я и так многого добился. Несмотря ни на что, я достиг,— четко повторил он, вколачивая в меня эту мысль.— Так что я простил ему!

— Ого, вы простили? Это поворот!

— Мне простить ему было труднее. Я ненавидел и любил одновременно. Он был тем, кем бы мог стать я. Поняли? — Он наклонился ко мне и добавил тише: — Если бы его не стало. Я любил его как врага. Потому что у меня не было врага выше и значительней. Любите врагов своих, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда... Все же я стал не похожим на него. Верно? — Он заглянул мне в глаза.— И на всех его почитателей не похож. Видите, я себя отстоял.

— Вопрос — какой ценой,— сказал я.— Вы говорите — себя отстояли. А что как в результате получились не вы? Разве это вы? Быть не похожим — этого еще мало.

— Что вы имеете в виду?

— А то — кем вы стали...— Я остановился, не решаясь договорить, передо мной сидел пожилой болезненный человек, умный, начитанный, всю жизнь работавший не разгибая спины.

Он ждал, наблюдая за мной, вдруг откинулся на спинку кресла успокоенно, расслабленно, засмеялся мягко.

— Господи, чего вы боитесь. И все так! Почему никто в глаза не скажет, только заглазно, за спиной, шепотом? И вы тоже... Ну, смелее.

Я почувствовал, что краснею. Я понимал, что он нарочно дразнит меня.

— Вы, Макар Евгеньевич, простили Зубра. За что же? За те доносы, которые вы на него писали?

— Наконец разрешились,— помолчав, сказал он спокойно и серьезно.

И тут я вспомнил одного из моих учителей. Благообразнейший красавец, седой, медоточивый, так мило шутивший на лекциях. Шутя и лаская загубил он нескольких своих коллег во время борьбы с низкопоклонством, с космополитизмом, расчистил себе дорогу, стал ведущим специалистом, был избран в членкоры, увенчан лауреатством. Уехал в Москву. В новом институте его выдвинули ректором, его назначили членом ВАКа, членом редколлегии и прочая. Теперь он стал недостижимым. От него многое зависело, и, когда он приезжал к нам, его никто не осмеливался упрекнуть, напомнить о прежних делах. Старел он в почете, в президиумах — и так до самой смерти никто не сказал ему, что о нем говорят, какая о нем ходит молва. Нас послали на его похороны, мы стояли в почетном карауле, слушали хвалебные речи, несли венки...

Через два дня Д. позвонил мне, просил встретиться, он вспомнил

нечто важное. Я попробовал уклониться, он настаивал. Категорически, почти официально-угрожающе. Свидание наше было коротким. Он сообщил мне про связь Зубра с Гейзенбергом в период работ над атомной бомбой. Несомненно, что Зубр помогал, был с ним заодно. Он был связан с фашистской наукой. Доказательств прямых нет, но их надо искать, и они найдутся. Я, писатель, должен искать. Иначе не имею права на свою повесть. Во всяком случае, он меня об этом поставил в известность. Кроме того, он напишет мне письмо, копию оставит себе — как официальное предупреждение. После публикации моей вещи наверняка появятся люди, у которых есть компромат на Зубра. (Я не сразу понял это словечко «компромат» — компрометирующий материал.) Так что не лучше ли мне сделать из героя физика, электрика, перевести его в специальность, известную мне? Главное же — тогда все претензии разом отпадут. Вымышленный герой, с него спроса нет, и все загадки решаются. Например, он берет с собой на новую работу своего врага из-за женщины, в которую влюблен и которая является невестой его противника. Враг же этот, пусть тот же Д., едет из самолюбия, принимая вызов, это своего рода долгая дуэль. Факты остаются, надо лишь изменить некоторые фамилии.

Он держался уверенно, почти ультимативно. Как идет на пользу этим людям каждая уступка.

— Послушайте, а почему бы вам не написать о загубленном таланте, — вдруг предложил он задушевно, как предлагают мировую. — Про человека, которому не дали полностью осуществить себя. Вот где трагедия. Типичная для нашего времени. То, что вы хотите написать, это, извините меня, пошло. Еще один великий ученый. Сколько их уже изобразили! Чему эти образы научили людей? Ничему. Потому что пример баловня судьбы ничему не может научить. А вы покажите талант, который служил мишенью. Все, кто хотел, упражнялись на нем. Как его изувечило. Ему не позволили стать великим. Ведь вот Зубр, где он стал великим? Когда он стал таким? То-то же! А вы не про этого счастливчика, а про того, кого под общую гребенку: не высовывайся!.. Что, не поднять? Жжется?

Хорошая тема, подумал я, в чем-то он прав, важная тема — как изготавливаются подлецы, как вырастает ненависть. Он ненавидел Зубра посмертно. Есть вечная любовь, до конца дней. Это была вечная ненависть. Не так-то просто приобрести себе такого верного врага.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Впервые Валерий Иванов услышал о Зубре в Москве на одной из лекций в 1956 году. Лектор говорил о положении в генетике после сессии ВАСХНИЛ. Среди известных фамилий мелькнула незнакомая — Тимофеев-Ресовский. Валерий учился на третьем курсе университета. Он заинтересовался рассказом приятеля о Миассове, где обитал этот неведомый им Тимофеев. О нем уже кое-что дошло из Горького от С. С. Четверикова, которого чтили как живого классика, — тем удивительнее было, с каким уважением Четвериков отзывался о Тимофееве. Они решили летом поехать на практику к нему на Урал, в

Миассово. Добирались на поезде, приехав, узнали, что до биостанции двадцать пять километров. Попутки дожидаться не стали, махнули пешим ходом.

Было их четверо. Один из них хорошо знал брата Четверикова, математика, который, между прочим, любил делать маски. Изготавливал художественно, с тонкими деталями, весьма выразительно. Каждому он подарил по маске. Подходя к станции, они напялили на себя эти маски и с дикими криками ворвались на станцию. Произошел переполох. Откуда-то выскочил сам Зубр. Они его узнали сразу. Его всегда узнавали сразу, даже те, кто никогда не видел его. Он был в восторге от их выходки. И встреча эта мгновенно сделала их друзьями. Зубр потащил их к себе в кабинет. Показал развешанные портреты своих любимцев — Шредингера, Бора, Вавилова, Вернадского, немедленно наделил студентов прозвищами: Хромосома, Трактор, Диплодок. Среди приехавших был Георгий Гурский. Зубр прозвал его Джо и ревел на весь лагерь: «Джу не видели? Опять этого Джи нет!»

Миассово было для него вольной пущей. Иди куда глаза глядят, шагай то со студентами, то с охотниками, то с бородатым Ляпуновым, любителем минералов, уральских геологических чудес, карабкайся по валунам, слушай рев реки в каменном распадке.

Он возвращался на родину как бы поэтапно. Прибывало воли, прибывало людей. Несколько домиков вдоль проселка, поляна, озеро, на берегу палаточный городок, по вечерам костры, песни, молодые романы, горы...

Он и сам здесь поздоровел, раздался, распрямился под стать размаху этих лесистых склонов, огромных цветов, диковинных закатов.

Сила играла в нем. Валерий Иванов убеждал меня, что Зубр мог бежать за лошадью часами не отставая. Мог резвиться с молодыми на равных. Наконец-то он вернулся на родину, ибо его родиной была русская наука, которую он оставил в двадцатые годы, буйный стиль тех лет с разбойной братией вне лаборатории и мощной кропотливой работой внутри лаборатории. С этим он уехал, и сейчас, после всех передряг, к нему словно оттуда, из двадцатых годов, пожаловала вольница родного Московского университета. В нем самом не остывая кипел темперамент студента-нигилиста, буяна. Он все эти годы жил с этой буйностью, буйно работал, буйно мыслил, безоглядно высказывался. Сверстники его давно образумились, утишили свои голоса, посолиднели, выглядели благонравными мужами, осторожно несущими свои звания и степени. У него не было ни званий, ни степеней, он был свободен и, когда слышал вопли этих ребят в масках, рванул к ним, мгновенно сомкнулся с ними, такими же неимущими, душевно распоясавшимся, наплевав на свой возраст. Кончилась долгая отлучка, он вернулся домой, в молодость.

Студенты восприняли Миассово как совершенно новый для них миропорядок: занятия проходили так, что не было различий между занятиями и отдыхом. После лекции Зубр шел к ним в палаточный городок к костру и рассказывал о чем угодно — о живописи, об Андрее Белом, о его отце — математике Бугаеве, профессоре Московского университета, об индейцах племени сиу, которые триста с лиш-

ним лет назад доказывали, что дух земли неделим, что со всеми животными нас связывают узы родства, то есть в переводе на наш язык, что существует биосфера и биогеоценозы... А американцы считали их дикарями.

Он не боялся надоесть, в нем не было никаких комплексов. Если ему было интересно, значит, и всем другим должно быть интересно. Он не боялся молодых, не боялся показаться несовременным. Это они — отсталые, невежды, олухи, тепы, он их жучил как хотел, уличал в серости, эпатировал, подначивал, и они бегали за ним.

Зубр был со всеми одинаков — от нобелевского лауреата до лаборанта. Для него не было разницы, кто ты — татарин, эстонец, китаец, поэтому он не задумываясь, с неумелым акцентом рассказывал армянские, еврейские анекдоты и первый хохотал, высмеивал америкашек, италяшек, армяшек, больше же всех от него доставалось русским, и никто его ни в чем не мог заподозрить.

По вечерам устраивали танцы. Зубр мог танцевать до утра. Трудно было угнаться за ним. Физически он оставался могучим, как прежде.

То, что студенты узнавали за летние месяцы пребывания на станции, определило для большинства философию жизни и подход к науке.

Он научил выделять главное. Понятно, что без скрупулезного исследования частных вещей все будет болтовней, но каким-то образом он достигал равновесия. Смеялся над узкими специалистами — «исследователь левой ноздри усонного рака». Детальные исследования были не для него. Он ценил их, но рассуждал так: раз уж тратить время, то на главное. И это главное он умел находить и у аспирантов, и у корифеев.

«Судьба Менделя напоминает судьбу Дарвина, — возглашал он. — Дарвин ведь не создал эволюционное учение, как это часто необоснованно считают популяризаторы, это учение было известно задолго до Дарвина... Гениальность Дарвина была в том, что он первым увидел в природе принцип естественного отбора, естественный механизм эволюции живых существ. Гениальность Менделя не в том, что он открыл закон наследственности; эти законы порознь были известны до работ Менделя... Гениальность его была в том, что он первым в биологии проводил точные и продуманные опыты...»

С того первого лета и Валерий Иванов и другие стали приезжать в Миассово ежегодно. Никакие другие адреса уже не соблазняли.

Не сразу они уразумели, что перед ними личность экстраординарная, единственная. Понимание пришло много позже. Рассказывая про Миассово, каждый печалился о том, как поздно он прозрел. Единственное утешение, что во все времена со всеми так было и, видно, так тому и быть. Наверное, есть в молодой слепоте какая-то необходимость. Тогда в Миассове им было просто хорошо, очень хорошо, и их снова туда тянуло. На симпозиумы начали приезжать из Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Киева. Пошел слух, что в Миассове можно узнать о запретной генетике, что там шли разговоры о кибернетике. Миассово стало прибежищем гонимых наук, оплотом биофизики. Зубр никого специально не агитировал, он просто распахнул ворота к себе.

Говорил то, что думал, без самоцензуры. Оказалось, что можно. Никто ведь толком не знал, что можно. Все продолжали знать про «нельзя».

Студенты решили организовать выставку живописи. Разумеется, абстрактной, потому как в те годы шла кампания борьбы с абстракционизмом — его честили в печати, по радио, на эстраде. В Миассове тоже спорили, искусство это или нет. Большинство уверяли, что абстрактную картину любой сумеет намалевать. В жюри были избраны Зубр, Ляпунов, еще кто-то из метров. Все желающие стали пробовать себя в этом жанре. Каждый изощрялся как мог. Сделали несколько десятков «полотен». Встал вопрос, где выставить, куда повесить картины, не было стен такой большой площади. Кому-то пришла в голову мысль поистине гениальная. Над столовой имелся обширный навес. Так вот выставку следует расположить на этом дощатом потолке и осматривать ее лежа на скамейках. Над входом повесили: «Первая выставка абстрактной живописи на Урале». Андрей Маленков прочел перед открытием специальное разъяснение, которое начиналось словами: «Публика, возможно, не подготовлена к восприятию нового для нас искусства. Считаем нужным предупредить, что зритель здесь выступает как творец. В этом отличие от предметной живописи, где на долю зрителя остается малая работа — понять настроение, композицию, колорит. В абстрактной живописи от зрителя зависит все. Если у него возникают богатые ассоциации, то он может с удовольствием рассматривать то, что другому зрителю покажется пустой мазней».

— Теперь ложитесь! — была команда.

Выстроилась очередь на лавки. Переходили с лавки на лавку. Лежа смотрели на потолок. Потом жюри вынесло решение. Читал решение Зубр, сопровождая его комментариями. Восторг был всеобщий.

До сих пор у каждого, кто рассказывал про выставку, улыбка блуждала по лицу.

Биостанция в Миассове — это несколько коттеджей у озера, полянка, двухэтажное деревянное здание лабораторного корпуса. До ближайшего селения двадцать один километр через хребет. О Миассове вспоминают как о райском месте. Не потому, что место само по себе красивое, а потому, что там все сошлось, одухотворилось, была полнота жизни и полнота науки.

— Я ездил туда четыре года, все летние каникулы проводил там. Это лучшее время в моей жизни. Казалось, что все можешь, — вспоминал Андрей Маленков.

Одухотворял биостанцию, был ее центром, ее осью Зубр. Он играл в волейбол, читал лекции, пел, выпивал, диктовал, упивался крепчайшим, дочерна чаем. Своего возраста для него не существовало, что же касается чужого, то, согласно старым добрым традициям, не было смысла принимать во внимание возраст, когда обсуждалась научная проблема.

Он умел быть беспощадным. Например, к уровню мышления. Он мог оборвать выступающего, ткнув его в недоказанный вывод, заорать: «Чушь собачья! Грязная работа!»

Студент, как бы он ни был увлечен, засачкует при первой возмож-

ности. Однажды ребята побросали пробирки в озеро — лень было мыть. Зубр пошел купаться, увидел «утопленников» и пришел в такую ярость, что если бы не память о том, что и он когда-то был подобным «мерзавцем», он, конечно, выгнал бы их. Но все равно крик стоял ужасный.

Чем больше его любили, тем больше боялись.

«Вы мне не нужны, но жить я без вас не могу. Вы мне не нужны, поэтому я вас люблю, люблю и больше ничего, ибо никакой корысти у меня к вам нет. И то, что я прожил последние десятилетия в обществе, которое мне дороже всего и нет мне ближе вас никого, — это утешение, которое дано было на склоне лет», — примерно так говорил Зубр на своем семидесятилетии.

Всеволод Борисов приехал в Миассово из любопытства. В биологию он пришел из физики с высокомерием точной науки, всеобщих законов материи, помноженным еще на спесь молодости. Биологи, пусть даже сам Зубр, копошились в частностях, только у физиков есть общий взгляд, высота, кругозор... Вот сейчас мы явимся и решим их проблемы — примерно с таким настроением он прибыл, явился, сошел в эту допотопную науку.

Первые же встречи с Зубром показали, как убоги его, Борисова, представления о живой природе, насколько она сложнее, богаче, таинственнее.

— Если вы будете цепляться за свои дээнкаки, вы ничего не поймете в живом организме, — учил Зубр.

Все эти новые, модные, щеголевато украшенные приборами науки отступали перед старинной зоологией, фактическая зоология бесконечно разнообразна. ДНК, РНК, аминокислоты — все это хорошо, но кроме деревьев есть лес, который не просто сумма деревьев...

Слова Зубра в те годы выглядели дерзостью, встреча с ним поражала непременно. Никому не удавалось сохранить ироничность. Реликт? Оригинал? Натуральный человек?.. В чем был его секрет? При чем поражал он не только молодежь, студентов. В Миассово приезжали крупные ученые и возвращались в некотором ошеломлении. В 1956 году Зубр появился у П. Л. Капицы, выступил с докладом на одном из так называемых «капичников». Он удивил там всех, начиная с самого Петра Леонидовича Капицы. В том бурном, богатом событиями 1956 году его выступление произвело сильное впечатление. Старшие отвыкли от подобной свободы поведения, младшие ее просто никогда не видели.

А загнать весь семинар в воду, чтобы избавиться от жары, чтобы все — и доктора наук и студенты — сидели голые в воде и слушали докладчика, стоявшего на берегу, — кому это еще могло прийти в голову?

Надо заметить, что в те времена только физики-атомщики успели раскрепоститься, многие уже позволяли себе ходить в рубашках на выпуск, без галстуков, играли на работе в пинг-понг, пригласили у себя опальных генетиков, бесстрашно пререкались с министерским начальством. Но то были физики, царствующая фамилия науки, им тогда все дозволялось, с ними нянчились, они «ковали атомный щит», как любили тогда выражаться.

Зубр же, покинув уральскую лабораторию, превратился в рядового биолога. У него не было никакой защиты — ни высоких званий, ни покровителей. Разве что имя, оно одно служило золотым обеспечением — имя, которое не нуждалось в приставках. Важно было, что это — суждение Зубра, его слова, его оценка.

Имя — больше, чем любое звание. Докторов наук много, да и академиков хватает, имя же — одно-единственное. Но в случае с Зубром были свои тонкости, прежде всего то, что его знали немногие. Даже биологи. Тридцать лет отсутствия сделали свое дело. Все зачитывались знаменитой книгой физика Шредингера «Что такое жизнь...». Шредингер ссылался в ней на Тимофеева-Ресовского, который подвигнул его на эту работу. Многие, однако, не представляли, что это тот же самый Тимофеев. Не таким, по их представлению, должен быть классик, корифей.

Теперь историки считают, что книга Шредингера вдохновила Уотсона и Крика и тем самым привела к открытию двойной спирали. Поэтому история молекулярной биологии отводит Тимофееву большую роль как катализатору этой современной науки. Но в те времена историки им не занимались. Рядом с его же уцелевшими однокашниками, его приятелями по университету, ныне всеми уважаемыми, заслуженными, награжденными, цитируемыми, талантливыми, сделавшими вклад в науку и тому подобное, он казался диким, неприрученным, допотопным и притом — неприлично молодым. Они были готовы для Истории, но для молодежи они выглядели устало-боязливыми. Голоса их звучали приглушенно. При появлении Зубра они неотличимо сливались, обнаруживали свою однородность.

То не было заслугой Зубра и не было виной наших биологов. На то были причины достаточно серьезные и всесильные обстоятельства.

— Увидеть на этом фоне «ископаемого», который сохранил все, что было отечественным накоплением — художественное, многомерное, личностное, — было просто спасением, — рассказывал один из бывших молодых. — Явился человек, который все в себе сохранил. Увидеть его нам было важно, важнее, чем ему — нас. Это было историческое время. Благодаря ему можно было соединить разорванную цепь времен, то, что мы сами соединить не могли. Даже наиболее мужественные, порядочные вынуждены были отмалчиваться все эти годы. Или же они сидели, были сосланы. Дубинин, и Астауров, и Эфроимсон — сколько их, замечательнейших наших биологов, каждый по-разному был замурован в молчание. Разве что Владимир Владимирович Сахаров из фармацевтического института вел курс генетики подпольно на дому. Но это было не то. Нужен был трибун. И появился человек, который замкнул время.

Так он говорил на юбилее Зубра.

На том же юбилее выступили его ученики Толя Ванин и Андрей Маленков. Они говорили о двух принципах Зубра: первый — что хорошие люди должны размножаться и что для этого надо сделать, и второй — наше поколение должно стараться все лучшее передать следующему, а уж там как выйдет.

Он взламывал правила, пугал, от него веяло дикостью, и это тянуло

к нему. Он был как зубр среди медлительных волов, среди домашнего стада; зверь эпохи двадцатых годов, о которой они знали меньше, чем о декабристах.

Он был живой связью с прославленными учеными Европы и Америки. Люди, известные по учебникам и энциклопедиям, были его друзьями, приятелями, его соавторами, его оппонентами. Одно это было непостижимо. Он сам был частью того мира. Он принадлежал одновременно и западной науке и русской, соединял их. Он гордился русскими учеными и все сделал для их пропаганды на Западе, но внутри науки, на кухне какой-нибудь проблемы ему было все равно, кто ее решит — мы или американцы. Вопросы приоритета его начисто не волновали. Конкуренция между нациями его не затрагивала.

Он не был стеснен догмами, идеализм не был для него пугалом. Он не боялся хвалить западных ученых, перед иными из них преклонялся, ругал без оговорок Россию и русских за расхлябанность, хамство. Уважал немцев за пунктуальность. Не желал считаться с тем, что имя его одиозно из-за того, что жил в Германии всю войну, работал там при фашизме. Слухи ходили о нем (и пускались кое-кем, тем же Д.) самые невыгодные. Ему бы сидеть тихо-мирно, помалкивать в тряпочку. Он же трубно возвещал, что Лысенко — это Распутин, и это в тот год, когда Лысенко опять вошел в фавор.

Ясно было, что он не изменил своей манере: ругал что хотел, вел себя так, как всегда вел — и в Германии, и в лагере, и в уральской ссылке, и здесь, на воле. «Вольность» — это слово, которое подходит ему больше, чем «свобода». Вольность требует простора, пространства, полей, запаха неба и запаха души. Это более русское понятие, чем свобода.

В нем сохранялся запал десятых — двадцатых годов, того пьянящего воздуха расцвета русской культуры, которого он успел наглотаться. То был праздник, подъем — и в живописи, и в музыке, и в поэзии, и в науке, эпоха Возрождения, которая вдруг неизвестно почему вздымает нацию на гребень.

Нельзя считать его борцом. Он не боролся за свои убеждения, он просто следовал им в любых условиях. У него выходило, что всегда можно быть самим собой. Ничто извне не может помешать этому. Все дело в препятствиях внутри человека, их больше, чем снаружи.

Подход его к научным проблемам ошарашивал еретизмом.

— Мудрый господь учил: все сложное не нужно, а все нужное просто.

— Заниматься важными и неважными проблемами в науке одинаково трудоемко, так на кой черт тратить время на маловажные вещи?

— Когда ты себя последний раз дураком называл? Если месяца не прошло, то еще ничего, не страшно.

— Дай боже все самому уметь, да не все самому делать.

— Надо не только читать, но и много думать, читая.

— Пока нет не то что строгого или точного, но даже мало-мальски приемлемого, логического понятия прогрессивной эволюции. Биологи до сих пор не удосужились сформулировать, что же такое прогрес-

сивная эволюция. На вопрос: кто прогрессивнее — чумная бацилла или человек? — до сих пор нет убедительного ответа.

Он считал глупыми претензии ученых на то, что они изучают какие-то механизмы. Он говорил:

— Вы получаете факты, вы получаете феноменологию. Механизм — продукт ваших мыслей. Вы факты связываете. Вот и все.

Он был противником прорывов, открытий, озарений, сенсаций, переворотов. Он считал, что важнее систематическое развитие науки, которое естественным образом приведет к переворотам. Не надо гнаться за единичными актами. Нужна вся череда событий, которая приводит к количественному скачку. Для него самого характерны не открытия, скорее, он определял развитие науки. Были у него, конечно, и крупные открытия, но все же он был, как уже говорилось, скорее, не открыватель, а пониматель. Первый понимал и объяснял всем. Это был огромный талант обобщения.

— Задача научного исследования в этом вечно текущем и таинственном мире — находить закономерное и систематическое. За это нам и жалованьишко платят.

— Наука — это привилегия для очень здоровых людей. Слабые могут в ней только прозябать. Вот, например, Вавилов, сколько экспедиций выдержал.

Его спросили: «А если заболел?» Он решительно ответил:

— Не замечай. Те, кто лечится, жалуется, настоящими работниками быть не могут!

Они сидели в маленьком стылом кабинетике Зубра в Миассове. Все в одеялах — так холодно было. На спиртовке грелась колба крепчайшего темно-коричневого чая. Зубр рассказывал, почему и как пришла ему в голову одна работа по радиобиологии. Набилось человек десять. Слушали упоенно. Это была логика науки. Наташа Ляпунова пробовала записывать, получались обрывки, потому что слишком интересно было, запись отвлекала, мешала... Так бывало часто: чувствовала, что следовало бы записать, жалко упускать такое, но слушание забирало все внимание, все силы.

Миассово... О нем вспоминают до сих пор: «Мы все вышли из Миассова», «Это было как лицей». На юбилее Зубра читали стихи про то, что вначале было слово, которое они услышали в Миассове:

Ведь человек и суетен и грешен,
Не отличает в слепоте своей
Немногие существенные вещи
От многих несущественных вещей.
Чему вы только нас не обучали!
Но если все до афоризма сжать,
То главное — и в счастье и в печали
Существенное в жизни отличать.

Быть великим при жизни он не умел. То и дело срывался с пьедестала. Однажды к Тимофееву приехал молодой генетик Варгаш Г.

Он прибыл в Миассово как в Мекку, как ходили в Ясную Поляну. Предстать пред очи самого Зубра со своей работой. Чтобы тот взглянул. А работа, по общим отзывам, была замечательная: он статистически прослеживал старую генетическую задачу — когда рождается больше мальчиков, когда девочек, от чего это зависит, дал определение пола потомства; результаты были интереснейшие. Но достоверны ли? Зубр, не вникнув, накинулся на него как на шарлатана. Страшно слышать было, когда такой большой зверь орал и топтал этого юнца. Это было нехорошо, некрасиво.

Срывался, потом страдал, стыдился. Так что у Зубра все было как у людей.

Он был свободен и не зависим от своей славы.

Завидуя свободе его поведения, я часто спрашивал себя: откуда она, какова природа ее, почему мы не такие? Скованные, зажатые, контролируем себя. Сперва думалось, что причина в независимости, которую ему дает талант. Но не все же талантливые люди так свободны. Талант, конечно, вселяет уверенность в себе, достоинство. Однако и от своего таланта он был не зависим. Не заботился об оправе, о первенстве. Независимость его имела скрытые опоры, глубокие корни. Каждый человек мечтает о независимости, но силы духа для этого не всегда хватает, трудно освободиться от желания славы, успеха, денег. Что касается Зубра, то ему эту силу придавала вера. Он верил в справедливость, в превосходство добра над злом, в абсолютность добра.

Независимость связана была и с родословной, с предками, правилами чести. Связь эту гениально уловил и сформулировал Пушкин:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам...

На них основано от века
По воле бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Задумываясь над секретом Зубра, убеждаешься, что в нем было развито именно самостоянье — слово, изобретенное великим поэтом. Самостоянье как объяснение величия, как ощущение себя продолжателем знатного рода, обязанным охранять его честь.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

— У меня по морской линии в предках в восемнадцатом веке адмирал Сенявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой кильватерной колонной. Сенявина была моя прабабушка. И Головнина была прабабушка — из тех самых Головниных, помните, адмирал Василий Головнин, который кругосветно плавал, у японцев в плену сидел,

изучал Курилы, Камчатку и прочие острова. Еще Нахимов был мне и родственник и свойственник. Последний в роде Нахимовых был почетный нахимовец, мой внучатый племянник. А. Невельской был моим родственником по «матерной» линии. По настоянию министра иностранных дел Нессельроде его разжаловали в матросы за «неслыханную дерзость». Состояла она в том, что, исследовав Амур, его устье, Татарский пролив, он, несмотря на все запреты, основал там зимовья и сделал все для присоединения Амурского края к России. Вызвали его во дворец. Николай сказал ему: «Здорово, матрос Невельской, следуй за мной». В следующем зале царь сказал: «Здорово, мичман Невельской!» В следующем: «Здорово, лейтенант Невельской!» И так до контр-адмирала, пожал ему руку и поздравил. От Николая поначалу утаили всю историю расхождений Невельского с Нессельроде и особым комитетом по амурскому вопросу. Узнав, в чем дело, он его и вызвал, а на докладе комитета написал: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен!» А Нессельроде, промежду прочим, тоже в родственниках.

Историю эту я сверил по обстоятельному повествованию Н. Задорова об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, которая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого Г. И. Невельского. Но меня удивило, как сохранилась изустная история, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду. С какой сравнительной точностью прозвучала она в очередном трепе Зубра о своих предках.

Он не изучал исторических книг, не любил исторических романов, но был пропитан русской историей, был ее частью. Восемнадцатый век, девятнадцатый и двадцатый, наше время, наша обыденщина представляли в его рассказах равноправно, пронизанные единым ходом истории. Ему не надо было дистанции, чтобы увидеть историчность нашей жизни. К современности он относился как летописец. Так же как в своей генетике он умел находить в каждой проблеме существенное, так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло время. Это было отнюдь не очевидное. Как докладывал один биолог: «Таким образом, в настоящее время этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его слабой изученности».

Историки у нас хватает, а вот летописцы — специальность не частая и не популярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоящего.

Он был благодарен любознательности молодых, от этого прошлое сопровождало его постоянно, было под рукой, не истлевало где-то позади в забвении, не осыпалось в пропасть. На эти свои рассказы он не жалел времени и тратил его щедро, как деньги.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Завенягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра. Какие-то бумаги затеряли, и не так-то просто оказалось его найти. Завенягин настойчиво заставлял продолжать поиски. Ему докладывали, что тако-

го нет, не числится, не обнаружено. Завенягин не верил, что эта машина, мастодонт может незамеченно исчезнуть. И он добился своего, отыскал Зубра в Карлаге. Был он в тяжелом состоянии, обессиленный, с последней стадией пеллагры, страшной лагерной болезни, когда от голодухи наступает авитаминоз, такой, что никакая пища уже не усваивается. Соседи по бараку тащили его на работы в котлован, сажали там к стенке, и он пел. Единственное, на что еще хватало сил, — петь. Ради этого и возились с ним заключенные.

Он умирал. Казалось, при его здоровье, силе он мог выдержать и не такие лишения. Но в том-то и штука, что для него беда была не в лишениях, не они сыграли роковую роль. У него не осталось ничего, за что стоило бы держаться.

Самочувствие ученого, которого лишили работы, лаборатории, опытов, настолько тяжелое, что не ученому его трудно понять. Резерфорд, тот мог понять Капицу, который в Москве, в нормальных бытовых условиях, но лишенный возможности работать, бесился, впадал в депрессию. Беспокоясь за его состояние, Резерфорд писал: «Как можно скорей принимайтесь за научную работу (пусть даже это не будет эпохальная работа!) — и Вы почувствуете себя более счастливым. Чем труднее будет эта работа, тем меньше времени у Вас останется на другие заботы. Как известно, сколько-то блох собаке нужно, но, как мне кажется, Вы считаете, что Вам блох досталось больше нормы».

Сам Капица писал Бору: «Наш институт находится в стадии завершения. Мы получили научное оборудование, надеюсь возобновить нашу научную работу. Испытываешь огромное облегчение, приступая к исследовательской работе после двухлетнего перерыва. Я никогда не думал, что научная работа играет такую существенную роль в жизни человека, и быть лишенным этой работы было мучительно тяжело».

В положении Зубра все несравнимо заострилось. Жажда жизни покинула его, жизнь лишилась прелести, смысла...

Его положили в сани и повезли на станцию. Приказ есть приказ, тем более категорический — доставить немедленно в Москву. Раз немедленно, то лечить не стали. Сто пятьдесят километров предстояло скрипеть на лютom морозе. К тому же на прощанье уголовники, те самые, что возлюбили его за бас, за разбойные песни, вырезали бритвочкой спину его суконного бушлата. Все равно доходит профессор, доедет мертвяком, так что ж добру пропадать, из сукна теплые портянки выйдут. Труп зла не помнит...

Сани двигались в ледяном мареве, розовое туманное свечение застилало ему глаза. Чудно, не было никакого беспокойства и серьезного отношения к пропащему своему положению.

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая...

На станции погнали в вошебойку, у него сил не было идти, потащили на рогоже. Поезд в Москву вез его через всю Россию, трясая по раздолбанной, надорванной войной железке. Организм пищу не принимал, все проскакивало. И боли не было, изболело все что могло, все

внутренности, осталась легкость пузырьчатая, даже на стоны сил не мог набрать. Ехал в полном беспамятстве. Звуки к нему еле доносились, только по дрожанию пола под ногами понимал, что все еще едет. Конца не было этому пути. Сознание вспыхнет иногда копотно, и не понять — неужто жив еще, за что она цепляется, душа, кажись, все оборвано, а не отлетает, какая-то жилка осталась, держит, дряблая, тонкая, не натягивается, сил нет, но что-то пульсирует в этой жилке еле слышно. Чудеса да и только. Всякий раз, выныривая из обморочности, равнодушно удивлялся самостоятельной живучести своего организма. Прерывистое сознание перешло в прерывистое забытие, просветы возвращались все реже, исчезновение из жизни не вызывало огорчения.

Однажды, очнувшись, он увидел над собой женщин в белых одеяниях, они бережно обмывали теплой водой его невесомую плоть. Он понял, что это ангелы, следовательно, он умер и пребывает в чистилище. Ангелы улыбались ему, прикосновения их слабо ощущались. Кругом было бело, стены блестели непорочной белизной, струилась вода, он куда-то плыл. Серая скомканная кожа была как мешковина, внутри этого мешка глухо клацали кости. Тело ему было уже ни к чему, но ангелы зачем-то еще возились с этой изжитой оболочкой. Никак не мог он разглядеть у них крылья за спиной.

Вспомнилось, как его приятель Джон Бердон Холдейн вычислил, каковы должны быть мускулы у ангела, чтобы он летал. Фигура ангела получалась с тонкими птичьими ногами, а грудь обложена мышцами такой толщины, что впереди выступал бы большой горб. Эти же настоящие ангелы были стройны и красивы. Рассуждения Холдейна, когда-то веселившие, показались ему кощунственными. Жизнь, вроде большая, пестрая, сжалась в маленький, исчирканный помарками листок, черновик чего-то. Солнечный греющий свет переполнял его и относил, точно былинку. Он попробовал осмотреться. Река Стикс, перевозчик Харон — видимо, все это осталось позади. Но тут же он подумал, что эта его страсть наблюдать осталась от прежней жизни, надо просто отдаться этому теплему свету и нестись с ним...

В следующий раз, открыв глаза, он увидел наверху белую лепнину, появлялись и исчезали какие-то лица мужские в накрахмаленных шапочках. Не скоро он понял, что находится в больнице. Подмигивая и похохатывая, он признался мне, что и не спешил понимать и признавать себя живым. Позже он узнал, что происходило с ним. С вокзала его привезли в больницу МВД и стали всеми силами вытаскивать из смертельного беспамятства. Был разработан метод кормления его внутривенным способом. Причем вводили не просто глюкозу, а все необходимые аминокислоты, потому что при пеллагре, когда она в последней стадии, разрушается синтез белков, по-простому же значит, что пища вовсе не усваивается. Лечащему врачу поставили рядом с больным койку, чтобы он находился при нем неотлучно. Судя по всему, нагнали страху: делайте что хотите, но чтобы спасти!

Время от времени он видел перед собою полковников и прочих чинов в накиннутых на мундиры халатах. Они стояли над ним, ожидая, не попросит ли он чего-нибудь. Приносили горы масла, шоколада, фруктов, раздобывали ветчину, всякие вкусности.

Через месяц он заговорил. Утром появлялся шеф-повар, спрашивал, что приготовить на обед, на ужин. Зубр обсуждал меню охотно, это напоминало раннее детство, когда маменька так же обговаривала меню с поваром.

Сам Зубр ел еще мало и тайком подкармливал продуктами бывших ангелов — сестричек, санитарок.

— ...Учинили мне переливание крови. Сделали грязно. Пошло рожистое воспаление. У нас ведь не могут удержаться, где-то обязательно нагадят. Поднялся переполох, я думал, посадят главврача, еле-еле вызволил... Перемогся и пошел, пошел набирать силы...

Выздоровление признавали чудом. Кроме могучего здоровья тайлась в недрах его существа как бы сила предназначения. Незавершенность его жизни была настолько очевидна, что судьба не могла отпустить его из этого мира.

Без последствий, конечно, не обошлось — резко ухудшилось зрение, так что читать мог только с лупой.

Кроме физических были последствия и душевные. Его стали волновать вопросы бессмертия души. Он продолжал строить свою веру. Добро абсолютно — это ясно. Зло относительно. Мир устойчив, потому что строится на добре, в этом есть изначальность духа, духовная сущность мира. Зло же преходяще и случайно...

Когда он начал выздоравливать, то стал учить медицинский персонал церковным песнопениям. Начальство вздыхало, но спорить с ним не решалось.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

В Миассове наладился первый в стране после сорок восьмого года — так биологи обозначают роковую сессию ВАСХНИЛ — практикум по генетике. Несмотря на то, что лысенковщина вновь набирала силу. Страхи возвращались на свои обжитые места. Слишком много людей пострадало, а то и погибло в прошлые годы. У всех, кто боролся с Лысенко, оказалась так или иначе испорчена жизнь, работа. Людям приходилось браться за любое подсобное дело — переводили, устраивались счетоводами, скрывались на захолустных агростанциях. З. С. Никоро работала тапером в клубе, Ю. Я. Керкис уехал зоотехником в совхоз, Н. Соколов — в Якутию, А. А. Малиновский стал врачом, Б. А. Васин отбыл на Сахалин. Это все были первоклассные ученые. Годы истрачены были зря. А те, кто не боролся, — преуспели. Обросли званиями, наградами, выдвинулись. Молодежь имела перед собой поучительный пример приспособления.

Что такое лысенковщина, Зубр стал понимать лишь здесь, в Миассове, сталкиваясь с живыми ее жертвами и противниками. Не сразу открывались размеры нанесенного урона. Пострадали не только ученые, пострадали — и надолго — агрономия, селекция, животноводство, физиология, медицина, пострадало мышление людей.

Не так-то легко было переубеждать тех, кто поддался Лысенко. Отсутствие реальных результатов не обескураживало его последователей. Когда опыты не получались, Лысенко объяснял: «Вы не верили. Надо верить, тогда получится».

Силы биологии были подорваны. Сами биологи — это он чувствовал — не в состоянии были завоевать свободу научного творчества, слишком много было повырублено, переломано, наука упала духом. И тут на помощь биологам пришли физики и математики. В Миассово со своими теоретиками из Свердловска приезжал академик С. В. Вонсовский, приезжала группа кибернетиков во главе с А. А. Ляпуновым. Приходили письма от И. Е. Тамма, Г. М. Франка, П. Л. Капицы.

В октябре 1955 года Игорь Евгеньевич Тамм пригласил Зубра выступить в Москве в Институте физических проблем у П. Л. Капицы с докладом о генетике. Ни в одном биологическом институте доклад на такую тему был в то время немыслим. Все институты находились еще под контролем лысенковцев. Одни физики пользовались автономией. У них была своего рода крепость, и в стенах этой крепости они решили организовать публичное выступление Зубра. Вместе с ним на этом «капичнике» должен был выступать Игорь Евгеньевич Тамм. Его интересовали только что сформулированные представления Уотсона и Крика о двойной спирали как основе строения и репродукции хромосом. Структура ДНК стала сенсацией тех лет. Он решил доложить об этом на «капичнике». Зубра же Игорь Евгеньевич попросил рассказать о радиационной генетике и механизме мутаций. Согласовали с Петром Леонидовичем Капицей. Он одобрил темы, и в программу первого годового собрания были поставлены оба доклада.

Известие об этом взбудоражило ученых Москвы. Шутка ли — публичные доклады о генетике, которая еще пребывала под запретом. О генетике, о которой не разрешали читать лекции. Многие побаивались, что в последнюю минуту все сорвется, лысенковцы добьются отмены. В сущности, это был вызов, публичный вызов монополии лысенковцев. И то, что появится сам Зубр, что впервые в Москве перед всеми выступит человек, о котором ходили разные слухи, тоже вызывало интерес. Капица попросил повесить всюду объявления — и в институте и в физическом отделении Академии наук, чтобы все носило открытый характер. За три дня до заседания кто-то из начальства позвонил в институт и дал указание снять с повестки генетические доклады как «не соответствующие постановлению сессии ВАСХНИЛ». Этот кто-то добивался самого П. Л. Капицы, но не добился и вынужден был передать сие референту. Выслушав референта, Капица спокойно сказал, что постановление ВАСХНИЛ не может касаться Института физических проблем. На следующий день звонок повторился. На сей раз голос в трубке звучал категорично, сослался на указание Н. С. Хрущева. Тогда Капица решил выяснить положение у самого Хрущева.

Личность П. Л. Капицы всегда пользовалась особым уважением. В свое время, когда его привлекли к работам над атомной проблемой, он столкнулся с Берией. Берия был груб, бесцеремонно и невежественно вмешивался в работу ученых, кричал на Капицу. После одного из резких столкновений Капица написал возмущенное письмо Сталину, не побоялся пойти на открытый конфликт со всемогущим тогда министром. Жаловаться на Берию — поступок для того времени безрассудный. Мало того, со свойственной Капице открытостью он

просил Сталина показать это письмо Берии. Разумеется, без последствий это не осталось, вскоре Капица был отстранен от работы, снят с должности директора созданного им института. Он уединился на даче и, как известно, упрямо продолжал вести эксперименты в сарае, соорудив там себе примитивную лабораторию. Это был поистине героический период, который продолжался до 1953 года, до падения Берии.

В 1937—1938 годах Капица не побоялся вступить за несправедливо арестованного академика Владимира Александровича Фока, замечательного физика-теоретика, вытащил его из тюрьмы, так же как позже спас Л. Д. Ландау.

Они, все эти исполины, отличались бесстрашием. И Капица, и Прянишников, и Тимофеев. Мужество мысли, ее отвага у них соединялись со смелостью гражданской. В этом была цельность их натур.

С Капицей вынуждены были считаться, его поведение создавало ауру неподчинения, а неподчинение — то, что всегда смущает чиновные души.

Итак, Капица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил: правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного! Известно ли Хрущеву о звонке в институт? В ответ получил заверение, что ему, Хрущеву, ничего не известно, что, если бы было надо, он сам позвонил бы Капице и что программа семинаров — их внутреннее дело и зависит только от П. Л. Капицы.

На следующий день, 8 февраля 1956 года, в семь часов вечера, как обычно, открылось триста четвертое заседание «капичника». Зал института был забит, заполнены были коридоры и лестница, ведущая в зал. Физикам срочно пришлось их радиофицировать. Наплыв предполагали, но к такому ажиотажу готовы не были. Набилось от академиков до студентов. Тогдашние студентки Наташа Ляпунова, Елена Ляпунова до сих пор помнят подробности заседания, хотя к ним доносились лишь голоса из репродукторов. Бывают не только в политике, но и в науке исторические доклады. Все понимали — это прорыв блокады, это начало восстановления нормальной биологии.

Доклады не носили боевого характера. Докладчики не занимались выпадами, полемикой, разоблачениями. Игорь Евгеньевич Тамм сделал обзор работ в связи с открытием двойной спирали. Зубр нарисовал картину развития радиационной генетики и механизма мутаций.

Успех, как позже говорил Зубр, был вызван не «искусством докладчиков», просто научная публика, особенно молодежь, истомилась по современной генетике. Впервые за много лет открылся блистательный мир новых идей, движение мировой мысли — все то, что так долго скрывали. Генетический «капичник» стал событием не только для Москвы, новость восприняли как выход научной генетики из заключения, как прецедент, как благую перемену.

После успеха этого «дуэта» Игорь Евгеньевич Тамм с новыми силами отдался увлечению генетикой. Именно в генетике он ждал важнейших открытий ближайшего будущего. Он говорил, что важна битва за

знания, а не победа. За каждой победой, то есть за достигнутой вершиной, наступают «сумерки богов», само понятие победы растворяется в тот самый момент, когда она достигнута.

Зубр не был защищен, как И. Е. Тамм, ни званием, ни специальностью физика. И эпитет «одиозный» продолжал волочиться за ним. Смелость его выступления признавалась всеми, для него же в этом не было никакой смелости, просто была возможность исправить положение в биологии и надо было этой возможностью воспользоваться. Что значит нельзя, если можно? Он не нащупывал предела «можно». И после его выступления вдруг все обнаружили, что можно говорить о генетике, о законах Менделя, о новых работах американцев. Это воодушевило молодых. Конечно, петух не делает утра, но он будит!

По мере того как он узнавал о лысенковщине, откуда она появилась, разрослась, набрала силу, он все меньше понимал, почему же это произошло. Он назвал Лысенко Распутиным, лысенковщину — распутинщиной. Фигура Распутина была единственным аналогом в истории этого абсурда.

Наследственность — результат воспитания! Перерождение овса в овсюг, сосны в ель, подсолнуха в заразиху! Превращение животных клеток в растительные и обратно! «Какие могут быть наследственные болезни в социалистическом обществе?» «Из неживого возникает живое!» Все это преподносилось директивно еще в 1963 году! Зубр хватался за голову, рычал в ярости. Он не представлял себе, как широко распространилась эта бредовина, как внедрилась средневековая чушь в умы, особенно молодежи. Даже критически настроенные говорили: «Все же тут что-то есть».

Царила, расцветала фикция, то, чего не существовало, не могло существовать. Миражи были объявлены явью, мистификации утверждены. А то, что существовало, то, чем занимался весь мир, было объявлено несуществующим. Гены — не существуют. Хромосомы — не существуют. Посвященные изгонялись из храмов науки. Тех, кто не отрекался от истины, называли шарлатанами. Добытые великими трудами факты выбрасывали, как мусор. Кумиров сбрасывали с пьедесталов. Среди обломков резвились бесы. Они дудели в рожки и трубы во славу своего вожака. Водружали его портреты — аскетическое, изглоданное лицо с косой челкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд. То, что он, самоучка, «не кончая академиев», запросто одолел, разоблачил мировых корифеев, льстило чиновникам, к тому же его учение было понятно любому невежде, каждый становился посвященным. Не требовалось ни знаний, ни тем более таланта, можно было судить, рядить, поправлять любого специалиста. Требовалось всего лишь верить. Вера творила чудеса, делала опыты успешными. Не получилось — значит, не верил. Вера влияла на урожай, на удои, на лесопосадки. Истовые крики Самого порождали верующих. Он обещал чудо, и не когда-нибудь, а вот-вот, через год, через два. К нему устремлялись доверчивые души, уставшие от недородов замученной земли, от реформ, починов, невыполненного плана, понукания толкачей, поста-

новлений, оравы уполномоченных. Ему устраивали овации, не согласных с ним освистывали. Он умел вовремя пообещать. За тем, кто обещает, всегда идут.

Находились, конечно, скептики, которые кричали: «Король голый!» Находились и такие, которые требовали проверки, ссылаясь на заграничную науку. Их хватали, выкручивали руки, мордовали, затыкали рот.

В научном фольклоре гуляет фраза из какого-то журнала тех лет: «Проявил полную беспринципность, отказавшись признать ложность своих взглядов».

Юрия Ивановича Полянского, известного генетика, сразу после сессии ВАСХНИЛ сняли с должности проректора Ленинградского университета. Выгнали с кафедры профессора Стрелкова за то, что он сказал, что был и останется другом Полянского. Затем Полянского исключили из партии за такие-то и такие-то методологические ошибки по генетике. О том, что было дальше, он рассказывал мне так:

— Вызывают меня в райком. Докладывают: «Единодушно исключен своей организацией! Какие будут мнения?» Смотрю, слово берет генерал-лейтенант, член бюро райкома, начальник Академии тыла. Бывший мой командир. Я даже постеснялся с ним поздороваться, чтобы не смущать его. А он: «Кого? Полянского? Это за что же? Это того, который у меня на фронте был? Да вы что, с ума сошли? Да он же у меня четыре года!.. Да вы!.. Да что!..» Вот такая штука! Все растерялись, он кричит... И представьте, отменили решение собрания! Дали просто строга. Вот такое было неожиданное бюро. Я иду домой. Жена стоит на лестнице, а я иду и песенку пою. Она говорит: «Ты что, с ума сошел?» Дальше сижу выгнанный. Жил я в доме института, на служебной площади. Они же могли меня выселить к черту. Никто не тронул, ни единого слова. Сижу месяц. Сижу три. Кушать нечего. Никаких денежных запасов не было. Никто на работу не берет. Один был звонок, мерзкий звонок! Вечером сижу, перевожу Мечникова для серии «Классики науки». Оказалось, некоторые работы Мечникова на русский язык не переведены. И вот я из немецкого журнала перевожу про медуз. Вдруг звонок. Из Москвы. «Кто говорит?» — «Заместитель министра Светлов. Как вы себя чувствуете, Юрий Иванович?» — «Ну как вы думаете, как я могу себя чувствовать?» — «Хотели бы, чтобы все вернулось?» — «Ну естественно! Но каким путем?» — «Вы числитесь в лидерах вейсманизма-морганизма. Нам нужна большая развернутая статья в центральной газете, разоблачающая это направление, полностью поддерживающая Лысенко. Ну, что вы скажете?» Я не мог выразиться по-настоящему, потому что в комнате была жена. Но все-таки я достаточно крепко сказал. Я говорю ему: «С кем вы имеете дело? Вы имеете дело с элементарно порядочным человеком. Что вы мне предлагаете? Полное предательство!» И повесил трубку. А что я мог сказать? Какая мерзость! Я этот звонок никогда не забуду.

Любая вера находит поклонников. А уж если она побеждает, то у нее появляется множество ревнителей. Один из ученых сказал Лысен-

ко: «Позор, когда теорию охраняют не факты, а милиция!» Почувствовав охрану и поддержку, ревнители немедленно стали захватывать кафедры, институты, издательства, лаборатории, журналы. Лжепрофессора принялись читать лженауку, ставили лжеопыты, выпускали лжеучебники, молодые приспособленцы защищали лжедиссертации.

Ложь обретала ученую солидность. Вместо результатов она изготавливала обещания. Снабжала их цифрами, графиками. Обещания росли, взамен невыполненных обещаний преподносились новые, еще заманчивее, еще краше.

Ложь выглядела прочной, всеильной.

Несмотря на страх, то там, то тут появлялись смельчаки, которые вызывали ее на поединок, бросали ей в лицо свои докладные записки, письма. А. А. Любищев написал целый том исследования «Вред, наносимый Лысенко». Показал, как упала урожайность, снизилась продуктивность животноводства, как загублена селекция, выведение сортов. Том прочитывали, сочувственно вздыхали и прятали в сейф. Когда-нибудь будет написана история сопротивления с такими героями, как Астауров, Сукачев, Хаджинов, Сахаров, Формозов, Эфримсон, Баранов, Дубинин, Рапопорт, Полянский, Александров, Жербак. Многих еще я не знаю, имена их затерялись. Это славные страницы, которые говорят не о позоре нашей науки, а о ее достоинстве. Сопротивление действовало без надежды на успех, но оно не сдавалось. Это Сопротивление заслуживает того, чтобы писать его с большой буквы. На собрании в Ленинградском университете докладчик-лысенковец прямо спросил: «Неужели среди вас нет морганистов?» Встал Д. Лебедев: «Почему ж нет, есть, я морганист!» Их было много, тех, кто не отрекался, вставал.

Слишком многие из коллег, друзей, знакомых изменились, и неузнаваемо. Внутренне изменились. Что-то с ними произошло. Какой-то общий недуг постиг их. Притихли, сжались, взвешивали каждое слово. Те, кто не избегал Зубра, слушали его беспокойно оглядываясь. Отмалчивались. П. переходил на шепот, ежился, существенно уменьшался в размерах. Виноватая улыбочка так не шла его грубой распаренной физиономии. Он помнился Зубру забиякой, весельчаком, говорили, что в войну он выделял чудеса в артиллерийской разведке. Выдвинулся он как специалист по селекции животных, несколько его работ получили мировую известность. Ныне же, особенно при посторонних, трибунным голосом он одобрял лысенковское: «...в главном они правы... в принципе... надо брать философскую сторону... и практически... недаром практика за них...» Зубр тряс его, требовал доказательств, орал, что они загубили земледелие. Картофель, кукуруза, цитрусовые, везде, где вмешивался Лысенко, происходило снижение урожайности. «Опричники,— кричал он,— кромешники!» П. зажмурился от испуга, умолял замолчать. Стыдить его было бесполезно. «Ты не знаешь, что это такое, ты не испытал»,— твердил он в ответ. П. не верил никаким переменам. Когда стали разоблачать фальшивые опыты Бошьяна, высмеивать бредовую теорию Лепешинской, он продолжал отмалчиваться.

У каждого был свой страх. К. Т. долго терпел проработки и в конце концов сдался, перешел на службу к лысенковцам. Явился к ним и предложил мировую. Они с удовольствием ухватились за него. Полемист он был блестящий, хорошо писал. Он включил в свою монографию главу о мичуринской агробиологии, украсил ее портретом Лысенко, покритиковал «плоскую эволюцию» Дарвина, и книга вышла без задержки. Он не стеснялся, наоборот, хвалился, что по дешевке откупился. Цинично предлагал и Зубру переход на почетных условиях: «За академика ручаюсь, а то и институт дадут! А так что — протомитесь в злобе...»

Дочь старинного друга Зубра, известного эволюциониста С-ва, после сессии ВАСХНИЛ, когда ее отца заклеямили вейсманистом, публично отреклась от него. Отец уехал на Дальний Восток, устроился в совхозе звероводом. Дочь, женщина толковая, выдвинулась, стала начальником в Министерстве сельского хозяйства. Несколько раз она порывалась поговорить с Зубром, он отказывался. В шестидесятых годах отец ее вернулся в Москву, его восстановили в институте, он приехал к Зубру, они обнялись, расцеловались.

— А дочь ты не должен осуждать, — сказал С-ов, — я ее не осуждаю, и ты не должен. Она кормила всю семью, квартиру сохранила, библиотеку. Я благодарен ей, она своей честью пожертвовала.

Зубр упрямо сопел, мотал головой.

— Библиотеку сохранила! А душу? Разве такую жертву можно принести?

Простить он мог, понять отказывался.

— Ты европейский человек, тебе не пришлось всего этого пережить.

У них произошел тяжелый разговор. С-ов привел в пример их общего друга Михаила Михайловича Завадовского.

— Ты его винил за ту историю в Аскании-Нова, а ведь он боролся с Лысенко в самые страшные годы, когда это требовало мужества, может, больше, чем в гражданскую войну. Он тебе не рассказывал, как его выгнали из университета? Его, Шмальгаузена и Сабинина в сорок восьмом году выгнали. Все шепотом возмущались, и никто не встал на их защиту. Никто не подал в отставку в знак солидарности, как это сделали в том же университете в девятьсот одиннадцатом году. У Завадовского был инсульт, Сабинин застрелился. Так что война у нас была не словесная. Кровь лилась.

Зубр готов был отдать должное и Завадовскому и Сабинину, всем, кто выстоял, но примеры на него не действовали. Слишком много имелось оправданий. Никто не замечал, как разительно переменялась наука. Та русская, советская наука, которую он оставлял в полном расцвете, которой привык гордиться, пропагандировал ее на Западе... Она заросла сорняками, опозорила себя средневековыми ахинеями: ель порождает сосну, граб порождает дуб, пшеница превращается в рожь. Научные журналы публиковали эти случаи, находились свидетели, которые подтверждали. Не стеснялись клясться. Академики покорно заверяли — да, все так и есть.

Сам Лысенко перещеголял своих учеников: у него пеночка породила кукушку.

Налетели на легкую поживу — посты дают, звания! Бери, хватай! Тут не до чести. С идеями и принципами потом разберемся. Сейчас не упустить, места освобождаются. Признавай, разноси всех, кто против Корифея нового учения, поноси немичуринскую генетику! Брань произносили, как нечто положенное, таков был ритуал посвящения, так же как акафист Корифею. Отбирали тех, кто истовее других славил.

Какие измятые судьбы обнажились перед Зубром, какие разоренные характеры предстали. А что творилось с молодежью. Она видела, что ценить стали не самостоятельность, а послушание. Талант становился подозрительным. Газеты и журналы славил правоту нового учения. Разве можно было сомневаться? Были пересмотрены учебники всех вузов. Эмбриология, семеноводство, физиология, лесоводство, медицина, ихтиология, цитология, овощеводство, ботаника, — куда ни кинь взгляд, во всех науках, теоретических, практических, появились энергичные молодцы-корчеватели «в свете сессии ВАСХНИЛ». Крупные чиновники поддерживали Новатора, он поддерживал их, отладилась система...

Немало людей сделали в те годы карьеру. Ученую, наиболее надежную. Заняли места в ученых советах, на кафедрах, в институтах, в редколлегиях. Обрели себе репутацию борцов. Они разгладили науку — утюги, — им несвойственны были сомнения, инфаркты, укоры совести. Лысенковщина, или как тогда говорили — облысение науки, привела к тому, что позволяли себе подделывать данные, передергивать цитаты, приписывать себе чужие идеи. Приемы были отработаны.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Открытое выступление Зубра против лысенковщины не могло остаться безнаказанным. В нем учуяли противника опасного, с мировым именем. Не физик, не почвовед, самый что ни есть биолог чистых кровей, генетик, причем, как говорится, непуганый, не прошедший проработку, не имевший ярлыков... В 1948 году с ним бы расправились быстро, но времена пришли другие, удавку не накинешь. «Буржуазная наука», «мухолюбы-человеконенавистники», «генетика — продажная девка империализма» и тому подобные приемы не проходили, шел все же 1957 год. Надо было сокрушить этого шедшего на них зубра чем-то другим, как-то припугнуть, подрезать ему жилы. Пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, занимался опытами на людях, на советских военнопленных. Пошли анонимные письма в ЦК, в Академию наук. Фактов не приводили, клевета не нуждается в фактах: «Как известно, он был главным консультантом Гитлера по биологии», «Был близок с Борманом». В измышлениях не стеснялись. Человек, который жил в Германии во время войны, уже за одно это принимался неприязненно. Тем более работал. Тем более русский...

В 1957 году, когда я впервые был приглашен издательством в ГДР, друзья осуждали меня: как ты можешь ехать в Германию? Офи-

циальная пропаганда настойчиво отделяла немцев от фашистов, в народе же еще пылала ненависть за причиненное горе, не разбирали — кто фашист, кто не фашист.

Мало того что он остался в Германии, так он еще на отечественную науку нападает... Наветы действовали. Близкие ему люди и то избегали его расспрашивать о немецкой жизни. Тем более что и Зубр не рвался оправдываться, протестовать. Это много позже, помимо него стало выясняться насчет помощи военнопленным, подробности ареста Фомы. Он молчал. Молчание усиливало подозрения. Клевета расплзлась, формально никто обвинений ему не предъявлял, но холодок отчуждения сопровождал его. Перешептывались при его появлении, чинили ему препоны. Посторонние люди в разных учреждениях встречали его недружелюбно. В те годы ничего не было позорнее, чем быть пособником фашистов.

Это была искусная расправа. К тому же безопасная. Заплечных дел мастеров за руку не хватали, и они громоздили ложь на ложь.

— Пусть докажет свою невиновность! — требовали они, пользуясь испытанным в годы репрессий приемом.

Судьба отняла у него сына, бросила его самого в лагерь, теперь в довершение лишала его чести. Похоже, что под личиной судьбы, случайности скрывался рок. Разве Иову не казались случайностями кары, которыми испытывал его бог? Дети погибли. Мор охватил скот... А ведь это господь испытывал его веру. Рано или поздно Иов догадается об этом. Может, и Зубра испытывало провидение? И ныне — этой клеветой, ложью, которые облепили его? Но возникал вопрос: на что испытывало? Он не находил ответа. Рушились небеса, он барахтался под обвалом, униженно беспомощный, подавив крик боли. Глыбы должны были придавить его, распластать, он был слишком большой зверь, чтобы уцелеть. Злой рок лишал его то родины, то сына, то свободы и, наконец, честного имени. Любое из этих лишений было убийственным, раздавливало и душу и ум. Почему? За что? — вопрошал он, как вопрошал во все века человек, будучи не в силах найти свою вину. За что, о Господи? — теряя веру, обращал он взор в сияющее синее небо. Все зло, был убежден он, шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где чувствовал свою силу. А политика настигала его за любыми шлагбаумами, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее.

Его сторонились: падший ангел. Но унижение не устраивало его врагов. Унижение — это субъективное переживание, как говорил Д. Задача состояла в том, чтобы обезвредить его. Для этого надо было сломать его независимость и закрыть ему путь вверх. Путала карты таинственная сила, что всякий раз возрождала его из небытия. Когда все бывало кончено и он лежал бездыханный, заваленный, пригвожденный, оказывалось, уцелела последняя жилочка и жилки этой хватало, чтобы удержать душу. Злому року противостояла другая сила. Что это было? Везенье, удачливость, счастье? Что бы то ни было, эта сила вызволяла его, поднимала из-под руин. Удачливость и рок боролись, и ареной борьбы была его судьба.

Был ли у него свой Бог? Я никогда не мог уяснить себе этого до конца. Достоевский полагал, что если бога нет, то все дозволено, а раз дозволено, то можно и духом пасть, отчаяться. Но и эта гениальная мысль не исчерпывает человеческой души, человек есть тайна, от себя самого тайна. Не верит ни в черта, ни в дьявола, тем не менее что-то его останавливает. Не позволяет. Бога нет, страха нет, а — нельзя. Тот, кто преступает, тот и с богом преступал, поклоны бил и все равно преступал. Когда вера религиозная схлынула, думали, наступит вседозволенность. Не наступила. Необязательно, значит, что неверующей душе запретов нет. Всегда они были, запреты, во все времена, они-то и роднят поколения, народы, всех, кто когда-то плакал и смеялся на этой земле.

Что же это такое, что за сила удерживает человека, не позволяет сдаться перед злом, впасть в ничтожество, потерять самоуважение, запрещает пускаться во все тяжкие, пресмыкаться, подличать?

Вот вопрос вопросов. Вот вопрос, который пытался я постигнуть на судьбе Зубра.

Что касается бога и веры, то мне так и не удалось выяснить, был ли он верующим человеком, имел ли своего бога. Одни считали — был, имел, другие уверяли, что не был, не имел, что он материалист, атеист. Спрашивать напрямую о таких вещах и вообще-то не положено, а у него было просто невозможно. Он не позволял непрошено приближаться к себе вплотную, появлялась надменность, высокомерие породистого аристократа, неприятное, замораживающее любого.

Впрочем, потом кое-что набралось от разных людей, с которыми у него с глазу на глаз происходили откровенные разговоры. Но к этому мы еще вернемся.

Он продолжал отмалчиваться. Ему ничего не стоило собрать свидетельства военнопленных, которых он спасал в Германии, прятал у себя. Живы были еще Бируля, Борисов, был Лютц Розенкеттер, о котором известно лишь, что он бежал из Дрездена и скрывался в Бухе у Фомы, был некий П. Вельт, у которого мать погибла в концлагере, был какой-то грузин, еще итальянец... Можно было запросить сведения у буховских немцев, сотрудников Кайзер-Вильгельм-Института, у многих немецких ученых, которые находились в ГДР или уехали в Западную Германию, — все еще были живы, переписывались: Мельхерс, Шарлотта Ауэрбах, Борис Раевский, французы братья Перу. Наверняка можно было собрать письма, справки, показания спасенных при его участии людей, тех, кому он в годы фашизма оказывал помощь. Сотрудники Буха опровергли бы измышления о каких-то опытах над людьми и тому подобную клевету. Многие дали бы свидетельства — и Лауэ, и Гейзенберг, и Паули. Зубр посрамил бы клеветников и появился бы перед нами как один из героев антифашистского Сопротивления. Это была бы славная история о советском ученом, который, отвергнув свое безопасное существование, включился по-своему в борьбу с фашизмом в центре Германии. История о том, как, потеряв сына, он не отступил, продолжал... Оснащенная документами, датами, именами, фотографиями, она выделилась бы из многих других.

Ничего этого сделано не было, теперь приходится заниматься археологией, искать черепки. Недаром в ту пору вокруг Зубра вертелись журналисты. Чутье подсказывало им, какой тут скрывается клад.

Пущенные слухи делали свое дело. Близкие ему люди понимали, что ничего такого не могло быть. Незнакомые — те верили.

Шла реабилитация незаконно осужденных, возвращались из лагерей пострадавшие, их принимали как мучеников. Его же арест и ссылку клеветники истолковывали как наказание справедливое, за сотрудничество... Никто не задавался вопросом, почему следователи не предъявляли ему подобного обвинения, почему и в приговоре такого не было. Никто не ставил ему в заслугу сорок пятый год. Недоверие окружило его петлей, чуть что — она затягивалась.

Не пригибая головы с лохматой, заиндевелой уже гривой, шел он сквозь недобрые косые взгляды, не желал отвечать тем, кто кидал ему обвинения. Однажды такое произошло при мне. И не от какого-нибудь проходимца, от вполне уважаемого, порядочного человека. Я бестолково кинулся на защиту Зубра, что-то кричал, возмущался, сам же Зубр ничего не ответил, выпятил брезгливо нижнюю губу, запыхтел и молча вышел.

Когда повесть была напечатана в журнале «Новый мир», я стал получать письма читателей, прежде всего людей, знавших моего героя. Их было сотни. Тех, кто откликались. У каждого из них встреча с Зубром осталась в памяти, они сообщали подробности, желая помочь мне, чем-то дополнить повесть.

Если бы я писал теперь, эти сведения, конечно, можно было использовать и, наверное, характер повести изменился бы. Но вещь была выстроена, закончена, и вставлять туда что-то уже было нельзя. Когда пишешь — соразмеряешь, ищешь ритм, чтобы не было пауз, длиннот, вставка же, хочешь не хочешь, нарушает, она обязательно перекосит. Вставка обычно так и останется вставкой.

Однажды, среди писем, пришло письмо из Харькова, от Владимира Григорьевича Кучерявого. Он спрашивал, не интересуют ли меня более полные сведения о Фоме Тимофееве, он мог бы сообщить, поскольку, сидя в лагере Грюневальд, входил в подпольный «Берлинский комитет ВКП(б)». На самом деле он не был всеберлинским, успев охватить один из южных районов города. Связь с этим комитетом шла через Фому. Один из руководителей комитета, Евгений Васильевич Индутный, виделся с Фомой в пересыльной тюрьме, это уже после провала организации, и есть воспоминания Индутного.

Разумеется, я попросил Владимира Григорьевича прислать эти воспоминания. Вскоре я получил объемистую рукопись в семьдесят с лишним страниц воспоминаний Индутного, умершего в 1980 году. Сильно сокращенный их вариант был напечатан в 1985 году в харьковском журнале «Прапор». Вслед затем, нежданно-негаданно я получил из Архангельска подробное письмо-воспоминание о работе Фомы в антифашистской группе. Письмо было от Михаила Ивановича Иконникова, который знал Фому по подпольной работе в Берлине. Икон-

ников тоже был связан с «Берлинским комитетом ВКП(б)», который возглавлял полковник Бушманов.

Из уцелевших членов комитета за эти годы почти все ушли из жизни. Но вот эти двое прислали свои воспоминания. Даже первое чтение материалов поразило меня. То, о чем я лишь догадывался, о чем писал по слухам, по обрывкам сведений, дошедшим через не то что третьих, через пятых лиц, стало подтверждаться документально, облекаться подробностями. Откровенно говоря, до этого кое-что из рассказов казалось мне приукрашенным, домысленным для сюжета, никто из них не был очевидцем, никто не работал с Фомой в антифашистском подполье. Поэтому я оставлял самую суть, лишь бы не преувеличивать.

Записки Индутного писались в семидесятые годы, Фома там — всего лишь эпизодический герой, о нем сообщается попутно, надо думать, объективно. Письмо Иконникова, оно о Фоме, всего лишь дополняет этот материал. Образ Фомы стал наполняться для меня делами, добровольной бесстрашной работой подпольщика, и многое открылось в той атмосфере, что царила в семье Тимофеевых в годы войны.

В конце концов я все же решил вставить в повесть сведения об участии Фомы в «Берлинском комитете ВКП(б)». Может, рассказ этот не включится, останется заплаткой, но я не могу отказаться от счастливой находки, от щедрого подарка судьбы, от поразительных свидетельств жизни сына, неизвестных и Зубру и Елене Александровне.

В 1941 году Евгений Васильевич Индутный не успел эвакуироваться со своим заводом из Харькова, остался в городе и вскоре при облаве был взят и эшелоном отправлен в Германию. В лагере получил нашивку «OST» и стал «восточным рабочим». Его направили в Грюневальд в районе Берлина, на завод, где он грузил на складе метизы. В конце 1942 года он стал создавать подпольную группу из восточных рабочих. Группа занялась антифашистской пропагандой и диверсиями. При ремонте вагонов сварщики пережигали металл, слесаря плохо крепили, повреждали оси. Индутный узнал, что в Берлине действуют подпольные организации военнопленных, и решил связаться с ними. С помощью одного из заводских мастеров, немцев, он заполучил старенькую штатскую одежду и начинает выходить в Берлин. Разговорным немецким он овладел, и в городе пытался установить связь.

«Через несколько дней во время моих вечерних прогулок, недалеко от лагеря я познакомился с русским парнем, проживающим в Берлине со своими родителями. В разговоре он подробно расспрашивал о нашей лагерной жизни, об условиях работы на заводе. Интересовался, как мы попали в Германию, чем занимался до войны. Сочувственно относился к моему рассказу о страшном карантинном лагере в Дабендорфе. Чувствовалось, что он как-то заинтересован во мне, что «прощупывает» осторожно мою настороженность, мои оценки положения, мои реакции на события. Что же это? Какая-то полицейская провокация или что-то иное? Мы условились о следующей встрече здесь же, в ближайшем лесу. Грюневальд (Зеленый лес) врезался с запада в черту города прекрасным живописным лесом.

В следующую нашу встречу Фома Тимофеев много рассказывал

о себе. Это было необычно и очень интересно. Отец Фомы, профессор Тимофеев, видный советский ученый-биолог, в тридцатых годах выехал в длительную научную командировку в Германию. С профессором выехала его жена и сын, Фома. Живя в Берлине, профессор занимался наукой в одном из биологических институтов, а Фома стал студентом Берлинского университета. Фома чувствовал, что не сможет найти себе настоящих друзей среди немецких ребят, воспитанных при гитлеризме в организациях „Гитлерюгенд“ в остро националистическом, шовинистическом и антисемитском духе.

Вскоре немцы предательски напали на СССР, и началась вторая империалистическая война. Теперь, казалось, все мосты окончательно сожжены. Единственным утешением пока было то, что он не был немецким подданным и мобилизовать его в армию не могли. Он всеми силами старался как-то помочь своей родине, своим сверстникам, своим товарищам по детству, с оружием в руках защищавшим Родину от варварского нашествия озверевших фашистов. Но как помочь? Что сделать? Мучаясь в поисках средств и возможностей, по его словам, ему удалось познакомиться с людьми, которые организовали активную борьбу против фашизма в Берлине. И вот теперь, когда он сам включился в эту борьбу, он почувствовал, что снова нашел себя. Фома сказал, что, познакомившись со мной, почувствовал, что я тоже ищу возможность активно включиться в борьбу.

В то время он не сказал мне, что приехал в Грюневальд по поручению Н. В. Казбана, которому не удалось вызвать меня на полную откровенность, но он почувствовал, что, может быть, можно при моем участии провести работу с русскими рабочими „Райдсбан-Грюневальд“.

Можно ли было верить всему, что рассказал Фома Тимофеев? Не хитрая ли это гестаповская провокация? Почему Фома вышел на меня, фактического организатора и руководителя подполья в „Грюневальде“? Может, меня выследили и теперь так хитро заманивают в ловушку? Эти мысли не давали мне покоя. Я начал еще пристальнее присматриваться к обстановке на заводе. Все шло нормально, своим чередом, ребята продолжали портить вагоны, экспроприировать из них продукты, саботировать, где только можно. Начатое дело продолжалось.

Следовало думать, что если бы гестапо заподозрило «недоброе», то меня должны были немедленно арестовать, под пытками вынудить назвать истинных виновников вредительства и прекратить, пресечь продолжающееся вредительство. Нет, видимо, Фома не гестаповский провокатор. Наверное, мне можно дать ему согласие на участие в работе Берлинской подпольной организации, не рассказывая пока об уже действующей группе „Грюневальд“. Так я рискую только собой.

При следующей нашей встрече я дал согласие на вступление в подпольную организацию. Фома сообщил мне о том, что он и Н. В. Казбан докладывали обо мне руководству организации, и было принято решение о моем приеме.

Фома рассказал мне о том, что организация называется „Бер-

линский комитет ВКП(б)“. В нее входят только советские граждане, многие из числа военнопленных. Благодаря разветвленной системе подпольных групп на заводах, стройках, в лагерях русских рабочих и военнопленных проводится большая работа по подъему патриотического духа советских людей, сообщению им правдивой информации о положении на фронтах и внутри страны, организации саботажа и вредительства, созданию боевых отрядов, способных наносить относительно мелкие, но чувствительные удары в глубоком тылу, сбору и передаче советским органам ценной военной и промышленной информации, агитация против вступления в ряды власовской армии и РОА (русская освободительная армия).

В конце нашего разговора Фома достал из-за подкладки пиджака несколько экземпляров листовок, отпечатанных на папиросной бумаге. В листовках была помещена свежая сводка Верховного командования, а также обращение комитета к русским рабочим, временно находящимся в фашистской неволе. Короткие, но очень теплые выражения были написаны простым и доходчивым языком. Организация призывала всех советских людей, временно находящихся на фашистской каторге, твердо помнить о своем гражданском долге, и повсеместно организовывать и осуществлять борьбу со зверствующими немецко-фашистскими оккупантами. Листовка была подписана „Берлинский комитет ВКП(б)“.

Я нес листовки в лагерь как что-то особенно дорогое. Придя в барак, я их прежде всего надежно спрятал. Затем я встретился с моими ближайшими товарищами Василием Поляковым и Николаем Михно и подробно рассказал им свои новости, конечно, не называя имени своего связного».

В листовке была сводка о разгроме немецких армий под Сталинградом. Всех поразило, что здесь, в Берлине, рядом действует комитет ВКП(б). «Люди были просто в шоковом состоянии от этой листовки». Через связных Фому Тимофеева и Федю Чичвикова стали регулярно поступать листовки. Росли диверсии. Листовок не хватало. Тогда в комнате Фомы в родительской квартире наладили печатание листовок стеклографическим методом. Снимали зеркальную дверцу платяного шкафа, укладывали на стулья, на зеркало наносили клише текста, затем печатали листовки. «Тираж регламентировался только наличием бумаги и временем, когда в квартире отсутствовали родители Фомы». Индутный несколько раз бывал в этой квартире, получая листовки. С руководством комитета он не встречался. Однажды за городом хотели устроить эту встречу, но, приехав на станцию, он увидел в условленном месте Фому с красной хозяйственной сумкой в руках. Это значило — немедленно уезжайте. От Фомы было известно, что руководит организацией полковник Бушманов Николай Степанович, комиссар Рыбальченко Андрей Дмитриевич. Они и пишут листовки. Еще Фома сообщил, что установлена связь с организациями сопротивления чехов, поляков, французов.

31 июля 1943 года Индутного арестовали. Провокатор, Владимир Кеппен, выдал все руководство комитета. Далее следовали непрерывные допросы, избиения. В конце октября Индутного приго-

ворили «за распространение коммунистических идей» к пожизненному заключению в лагере строгого режима. Приговор подписал Кальтенбруннер.

10 ноября в пересыльной тюрьме Евгений Васильевич встретил Фому Тимофеева и рассказал, как провалился Берлинский комитет.

О стойкости Фомы на допросах в гестапо было уже известно арестованным. Михаил Иванович Иконников узнал об этом в тюрьме на Принцальбрехтштрассе и крепости Торгау. Поведение Фомы многое решало, он знал всех, все руководство и всех представителей на местах. Михаил Иванович познакомился с ним весной 1943 года и регулярно встречался в Зоологическом саду, на Александерплатц.

«Не принято было знать подробности друг о друге в условиях подполья. Поэтому в то время я знал мало о нем, да и присущая нам подозрительность к бывшим белоэмигрантам мешала близкому сближению».

Поначалу Фома рекомендовал своих родителей как людей аполитичных, просил товарищей держаться с ними настороже, не раскрываться. Он делал все, чтобы не вовлечь родных в свою опасную деятельность. Если что случится, подполье должно знать о их непричастности. Более того, он намекает, что отец его отказался вернуться в СССР. Конечно, кое-кто из руководства комитетом догадывался об истинных настроениях родителей, ведь долго скрывать постоянные встречи на квартире, печатание листовок, хранение их — все это было невозможно.

Фома к моменту знакомства с Михаилом Ивановичем уже возглавлял группу русской эмигрантской молодежи. Все они входили в известную молодежную организацию «Норма» (национальная организация русской молодежи).

Оказывается, первым из военнопленных познакомился с Фомой Федор Чичвиков. В одном из кафе на Александерплатц собирались иностранцы — «западные рабочие». Чичвикову понравился «красивый, интеллигентный молодой человек, который родился в России, но вырос в Берлине». «Главное, что отец его не был белоэмигрантом, а был профессором, выехавшим в Германию для работы, — пишет М. Иконников. — Нам было известно, что такой обмен специалистами у нас был. Обычно мы не доверяли белоэмигрантам, но здесь был исключительный случай. О Фоме Чичвиков доложил полковнику Бушманову, который посоветовал основательно «прощупать» Фому. И, если ему можно доверять, установить с ним контакт. Были подключены ряд подпольщиков с этой целью, в том числе и я. Меня познакомил с Фомой Антипин Николай. Мы, бывшие студенты, вскоре нашли общий язык. Фома знал в совершенстве французский, немецкий и английский. Его знания помогли нам переводить листовки с русского на эти языки, Федор убедился, что Фома надежный товарищ и познакомил его с полковником Бушмановым. Фома горячо откликнулся на предложение Бушманова участвовать в подпольной работе. В мае 1943 года Фому Тимофеева ввели в руководящий состав «Берлинского комитета ВКП (б)». Так подписывались листовки, которые печатали болгарские

антифашисты в тайной типографии немецкой коммунистки Эвы Кэмлайн-Штайн».

Фома помнится Иконникову, как общительный, умный собеседник. У него появлялось множество идей, планов, он рвался выполнять любые задания и хотя он был моложе Михаила Иконникова на три года, не служил в армии, не знал войны, но, как признается автор письма: «я преклонялся перед его умом и чистотой души... Он был порой детски наивен, слишком откровенен, не умел скрывать свои мысли».

Выдал группу Владимир Кеппен — сын белоэмигранта. По его доносу (он был связан с абверовцем Эрвином фон Шульцем) были арестованы подпольщики, в том числе — Фома, Александр Романов, Николай Капустин (это его письмо родным Фомы сохранилось и приводится в повести, как свидетельствует Иконников. — Д. Г.).

В 1944 году Иконников встретил Федора Чичвикова в Тегельской тюрьме, Федор сообщил, что Фома вел себя мужественно, ничего не сказал в гестапо, несмотря на пытки. Чичвиков признался, что не ожидал от него такой стойкости.

После войны Иконников встретился в Москве с Бушмановым и тот рассказывал о большой роли, которую сыграл Фома в Берлинском подполье. Перед кончиной (в 1976 году) Бушманов просил продолжать поиски материалов о погибших товарищах. О том, что Фома погиб в Маутхаузене, было ему неизвестно.

Евгений Индутный еще в камере узнал от Фомы, что следствие шло долго. Фому избивали, устраивали очные ставки и приговорили Чичвикова и Тимофеева к смертной казни. «После хлопот отца и матери Фоме заменили смерть пожизненной ссылкой в концлагерь. Мы надеялись, что, может, нас сошлют вместе. Но утром увели сначала Фому, а позже пришли за мной». Это было в ноябре 1943 года.

Всего вместе с Фомой Тимофеевым погибло восемь участников Берлинского подполья. Судьба остальных складывалась по-разному — они устраивали побеги, участвовали в других подпольных группах. М. Иконников весной 1944 года в Тегельской тюрьме встречался с Мусой Джалилем. И В. Кучерявый и М. Иконников достойны специального повествования, настолько интересно складывались их жизни и настолько это малоизвестная страница войны. Но как бы потом ни трепала судьба этих людей, все они, оказывается, сохранили в памяти своей трогательный облик этого берлинского советского юноши Фомы Тимофеева.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Конец пятидесятых годов пылал счастливым ожиданием новых перемен. Кроме всеобщих надежд вскипали еще свои, научные: создание новосибирского Академгородка, при нем интернатов для одаренных детей — математиков и физиков. Собирались на московских квартирах, страстно обсуждали — как воспитывать в закрытых учебных заведениях, кого там выращивать. А. А. Ляпунов заманивал лингвистов,

гуманитариев ехать преподавать этим вундеркиндам, вычислял норму чтения художественной литературы, составлял программу его — что именно полезно для будущих математиков. Всерьез считали, что под покровительством математики станут развиваться искусства. В Академгородке организовали выставку картин Павла Филонова, которого еще нигде не выставляли, затем сделали выставку Фалька.

Лихорадочная путаная кривая мечтаний ученой братии в те годы то взмывала вверх, то круто осаживалась. Кибернетику, за которую ратовал А. А. Ляпунов, один из замечательных математиков страны, объявили «лженаукой, порожденной империализмом». На кибернетику нападали не специалисты, а философы вроде В. Колбановского. Его профессией была битва «за советскую науку против ее идейных противников». Он громил генетиков И. Агола, С. Левита, Н. Вавилова, пока их не арестовали. Затем боролся с О. Ю. Шмидтом. Присоединился к Лысенко. От одной борьбы переходил к другой. Ни дня без борьбы. Он был из тех философов, которые ничего другого, кроме борьбы, не умели. Против кибернетики он открыл самостоятельный фронт борьбы, тут он был командующим и все силы положил на то, чтобы задержать развитие этой науки. Надо признать, он добился своего, добился бы и большего, если бы не активность Алексея Андреевича Ляпунова, который целиком отдался защите кибернетики, ее пропаганде, утверждению.

Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с Ляпуновым, это неисчерпаемая доброта. Однако этот добрейший человек проявил в битве за кибернетику беспощадность, неслыханную твердость и изворотливость. Привлек академика Акселя Ивановича Берга на свою сторону, добился выпуска сборника «Проблемы кибернетики», старался обеспечить кибернетику базой математических исследований.

Ляпунов и Зубр сошлись сразу и полностью, как будто дружили с детства. Понимали друг друга с полуслова. Так же у Зубра происходило с И. Е. Таммом и П. Л. Капицей. Никто из них не считался с тем, что Зубр не академик, и Зубр тоже не считался ни со своей «безлошадностью», ни с ихними титулами. Особенно вцепились друг в друга Ляпунов и Зубр. Ляпунов проектировал курс математики для биологов на восемьсот часов. «Замысел этого курса,— пишет он Зубру,— возник еще в Миассове под Вашим влиянием». Зубр отвечает: «Я взял и написал для вас, кибернетиков, „Микроэволюцию“. Постарался, с одной стороны, охватить все существенное, с другой — выразаться просто. Получилось тридцать два параграфа в афористическом стиле, иначе, чем все писания об эволюции».

Никто не хотел приютить крамольную кибернетику. Ляпунов дома собирал своих учеников, они слушали доклады, обсуждали их. А летом все вместе уезжали в Миассово. Ученый понимал, что, как бы ни ругали кибернетику, все равно надо готовить для нее кадры, готовить теорию, математический аппарат — задел, который он мог создавать своими силами.

Домашние сборы запрещали, но Ляпунов продолжал читать на дому лекции по теории программирования. Использовал малейшую возможность выступить с лекциями по кибернетике у инженеров, у

военных, у медиков. В домашнем кружке читал для студентов-биологов теорию вероятности, показывая, как статистическая безграмотность приводит некоторых агробиологов к фантастическим выводам. Он стал как бы связным лицом между математиками, физиками и биологами. Он боролся за реабилитацию одновременно гонимых кибернетики и генетики. Организовывал письма физиков в ЦК партии о бедственном положении генетики. Война избавила Алексея Андреевича Ляпунова от чувства страха за себя. Он начал воевать с декабря 1941 года и дошел до Кенигсберга старшим лейтенантом.

Из-за роскошной черной бороды его иногда принимали за Курчатова. Они были совсем разные с Зубром, и тем не менее Ляпунов хорошо дополнял нравственный климат, который сложился в Миассове. Ляпунов, например, никогда ни с кем не публиковался совместно. Зубр почти всегда совместно. При этом и тот и другой исходили из одинаково высоких принципов. Зубр считал, что раз он вынужден пользоваться собеседником, оппонентом, то они должны быть соавторами. Алексей Андреевич был бесконечно добрым человеком, никому не мог отказать. Зубр мог отказать, но мог и сам, без просьбы помочь неожиданно.

Познакомились они на вокзале в 1955 году. Никогда до того не виделись, слышаны были друг о друге. Собирались в гости на дачу, где их хотели познакомить. Стояли порознь в очереди в кассу. И вдруг Зубр подошел: «Вы — Ляпунов?» Каким-то нюхом вызнали друг друга.

Я спрашивал: что привлекло Ляпунова в Зубре? Мне отвечали: кипучая натура, широта научного мировоззрения, стремление к четкости научных формулировок, стремление выделить единицы в биологических процессах. Но ведь ничего этого не было, когда они стояли в очереди в кассу... Людей притягивает друг к другу не сходство взглядов на элементарные единицы. Есть скрытая магнитная сила, которая влечет нас к одним и отталкивает от других одинаково незнакомых людей. Они оба были действующими вулканами, в их грохоте и пламени ощущался жар подземных сил. Старомодные рыцари порядочности, они сразу узнали друг друга.

Сколько с тех пор прошло разочарований, сколько надежд высмеяно. Стоит узаконить кибернетику, и пойдет. Восстановим генетику, и начнется изобилие. Расцветет наука в Академгородках, и оценят таланты...

История разочарования — самая полезная история, если вообще знание истории может чему-либо научить. И все же те пятидесятые годы вспоминаются с нежностью.

Сочетание Зубра с Ляпуновым, с другими производило неожиданный эффект. Академик Лев Александрович Зенкевич был старше Зубра, помнил его еще студентом. «Оба огромные дяди, глыбы, ходили почти молча, понимая друг друга без слов, — вспоминает С. Шноль. — Они напоминали мне древних ящеров. Я с опаской полоскался между ними. Они как два философа на картине Нестерова, ход мыслей их связан со вселенной, верой, сознанием, идут, погруженные в молчаливый спор».

Зубр с Зенкевичем сидели за праздничным столом и громко обсуждали, почему стало много инсультов. Пришли к мысли, что раньше, во времена их детства, на постоянных дворах, в гостиницах клопы производили кровопускание, вводили в кровь антикоагулянты, и инсультов было меньше. У Зубра никогда нельзя было понять, что означают его шутки, — вроде чушь, а что-то в них есть...

Явился на юбилей Зубра Борис Степанович Матвеев, один из учителей Зубра. Молодым, конечно, было удивительно видеть живого учителя их учителя. Борис Степанович вел у Кольцова практикум по позвоночным. Вдруг он спрашивает при всех Зубра:

— Колюша, мы хорошо вас учили?

— Хорошо, Борис Степанович.

— А скажи мне тогда, Колюша, пожалуйста, как называются рудиментарные вены у млекопитающих, оставшиеся от рептилий?

Все замерли. Отмечали семидесятилетие Зубра. Борису Степановичу было за восемьдесят, но для молодежи оба они были одинаково ветхозаветными старцами.

Зубр засопел, насупился и выпалил:

— *Vena azygos* и *vena hemiazygos*!

Этого Борис Степанович не вынес, заплакал, и Зубр тоже умилился.

Сукачев, Прянишников, Астауров, Вавилов, Кольцов, Зенкевич... Из таких людей составлялась горная цепь. Они создавали масштаб высоты. По ним мерили порядочность. Их боялись — что они скажут? Настоящего, постоянно действующего общественного мнения не хватало, не было того, что называется обществом, научной средой, которая определяла бы нравственные критерии, осуждала бы такого-то за плагиат, за эксплуатацию учеников, за бесчестные поступки, хвалила бы за гражданскую смелость, за порядочность. Общественное мнение заменяли отдельные ученые, в которых счастливо соединялся нравственный и научный авторитет. Но, как говорится, дни их угасали, великаны отходили во тьму, никто их места не замещал. По крайней мере так нам казалось.

Все меньше становилось тех, чьего слова боялись. Не перед кем было стыдиться. Одни умирали, других усылали, одни замолкали, другие отчаялись. Их правила чести становились слишком трудными, поэтому их называли старомодными. Они уходили в легенду — Пророки, Рыцари Истины, Хранители Чести.

Теории, работы, созданные когда-то товарищами Зубра, разрослись так, что первоначального ствола не стало видно. Открытия, вызывавшие некогда восторг, изумление, превратились в само собой разумеющееся, труднодоступное — в наивные рассуждения. Те мамонты, которые еще доживали, многого в новейшей науке не понимали и не принимали. Как говорят, ученые не меняют взглядов, они просто вымирают. Новые поколения со школьной скамьи усваивают новые взгляды: через два-три десятка лет их надо опять менять.

Все меняется — трактовка, объяснение, связи, понятия гена, клет-

ки, законов наследственности. Но есть вещи, которые остаются от ушедших ученых. Их нравственные поступки, их нравственные правила, законы их порядочности. Это живет — в той же среде биологов, например, — долго, удивительно долго, передается от учеников к ученикам учеников, составляет основу каждой «гильдии». Зерна чести прорастают сквозь поколения, раздвигая камни, надгробия.

Когда речь заходила о Сукачеве, говорили прежде всего о том, как он выступал в защиту леса, против хищнических лесозаготовок в те годы, когда подобные мнения считались вредными и были опасны.

О чем, допустим, вспоминали на заседании, посвященном столетию крупнейшего гистолога Алексея Алексеевича Заварзина? О его доброте, неутомимой заботливости, о шумной веселости и — о непримиримости к злу. О том, как после доклада О. Лепешинской, заполненного ненаучной ахинеей, Заварзин поднялся на трибуну и сказал: «Если бы студент мне показал препараты вроде ваших, выставленных к докладу, я бы его выгнал вон!» — и с раскатистым хохотом сошел в зал.

Иногда подход этих людей к обычным для нас делам поражал. Однажды я спросил у Симона Шноля: не обкрадывали ли Зубра, не присваивали ли идеи, которые он так беспечно высказывал любому? Шноль обрадованно подхватил:

— Стащить? Стащить можно часы с рояля, а рояль не стащишь. Зубр иногда умолял — стащите! А никто не тащит. Говорят — слишком тяжело. Украденная вещь требует внедрения. В технике тащат то, что очевидно, что можно сразу пристроить. Мутагенез стащить нельзя. Дельбрюк, например, когда приезжал сюда, всячески убеждал нас, что главный автор его открытия — Тимофеев-Ресовский, его идея... Правда, когда он получал Нобелевскую премию в Стокгольме, почему-то не сказал этого. Забыл, наверное. Но я уверен, что Николай Владимирович не обратил на это внимания, он рад был, что идея его пошла.

Для С. Шноля, оказывается, с этого «не тащат» начинается другая проблема, которую он развивал Зубру: почему не тащат, почему не замечают, почему пропадают великие открытия?

— Открываем, потом забываем, потом воскрешаем. Сперва хорошим, потом эксгумируем, и начинается новая жизнь. Безумие! Расточительность! Может, можно не хоронить? Есть же закономерность нового знания. Муки рождения мысли связаны с суммой взглядов на мир. Дарвин дал теорию эволюции. Эта теория могла быть создана за пятьдесят лет до него. Почему надо было ждать полвека? Великий биохимик Дэвид Кейлин открыл то, что за сорок лет до него открыл шотландский физик Мак-Мун, он посмотрел на крылышко моли в спектроскоп и пришел к выводу, что гемоглобиноподобные вещества есть всюду, и был раздавлен великим австрийским биохимиком Комо-зани. И вот Кейлин получил Нобелевскую премию, прославив Мак-Муна, прославил себя. Но зачем надо было давить Мак-Муна? Это просто была уверенность в себе, уверенность в том, что другие дураки.

Отблески вулканического пламени Зубра полыхали на его остром

лице. Когда они — и С. Шноль, и А. М. Молчанов, и Володя Иванов, и другие — начинали говорить о Зубре, во всех них что-то светилося. Они стараются быть беспристрастными и строго отмечают всякое нарушение нравственных правил, ставят в вину Зубру неприятнейшее ехидство, грубость. Коля Воронцов вспоминает, как сурово кидался Зубр на него, на Яблокова.

— Очень тяжелый был собеседник, синяки, которые от него оставались, долго не отходили. То, что я тратил время на общественные дела, вызывало у него ярость.

И по лицу Воронцова ходят счастливые отсветы давних огней.

Нравственный уровень Зубра открывался не сразу. Вначале производила впечатление его манера общения, его эрудиция, сила мысли.

В его присутствии молодые проходили труднейший урок — доблесть не в том, чтобы доказать преимущества своей идеи, а в том, чтобы отказаться от своих заблуждений, позволить себя опровергнуть, сдаться истине. Это бывает горько, но это единственная возможность остаться в строю.

Гёте писал в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Владимир Павлович Эфроимсон сказал мне когда-то по этому поводу: «Энвэ был выше меня потому, что я его не понимал. Но дело в том, как я его не понимал. Так вот, так не понимал, что он был на две головы выше меня. Поражала его работоспособность, энергия. Все равно он многого не успел, но он успел связать нас с теми, с кем цепь времен порвалась».

Я спросил у Валерия Иванова:

— Попробуйте рассуждать без личной заинтересованности. Наука, как вы понимаете, не знает границ, ей все равно, где был открыт ген — в Канаде или Японии, важно — когда. Она интернациональна по своему смыслу. Какая ей разница, где работал Зубр — у нас или в США, куда его звали после войны? Уехал бы из Берлина на Запад и тоже работал бы успешно, избежал бы обид и неприятностей, а прибыль науке была бы та же.

— Извините, это представить себе невозможно, чтобы он у нас не остался. Моя личная заинтересованность — это заинтересованность целой школы. Создать школу удастся не многим. Человек сто, если не больше, обязаны ему. Это не профессорское обучение. Это было воспитание. Нет, нет, науке не все равно. Нигде бы он не сумел развернуться так, как на родине. От его присутствия наша наука получила... как бы это сказать?... Достаточно несколько крупных ученых, чтобы определить расцвет. Вот из фашистской Германии уехали десять больших ученых — и все, вышел воздух. Физика, затем математика и биология пришли в упадок. То же было в Италии. Критическая масса нужна. В Сибирь Лаврентьев взял с собою человек восемь — десять больших ученых — и появился настоящий центр науки...

Склонности к философии у Зубра не было. Однако биология заставляла его задумываться над вечными вопросами о смерти, душе, а

значит, и о вере. Мысли его были не вычитанные, а нажитые. Молодые тянулись к нему с этими вопросами. Вот один из таких разговоров.

— Мы с тобой оба глубоко верующие,— говорил Зубр.— Только разница между нами в том, что я верю в существование высших сил, а ты веришь в их несуществование. Доказать ни я, ни ты свой тезис не можем, и никто не может.

— Но я все время вижу отсутствие этих высших сил, их ненужность. Мир обходится без них и действует на основе других сил, познаваемых, логичных.

— А эти высшие силы недоказуемы по определению. Они — высшие, непознаваемые. Доказать их существование нельзя. Иначе они утратят свои атрибуты как высшие... Я считаю мою систему более простой и удобной для человеческого бытия. А у тебя надо все время признавать веру в несуществование.

— Вы вот отлучаете науку от религии, а наука занимается существованием.

— Наука может устанавливать связи между явлениями, а решать исходную задачу философии она не может и за это не отвечает.

— Любая религия — это просто ошибочная наука, потому что настоящая наука способна на основании своих постулатов и логики описывать факты и часто предсказывать действия материального мира...

Это был не спор, а именно разговор, не философов, а естественников, обсуждение на их уровне проблемы, в частности проблемы души и ее бессмертия, что тогда волновало Зубра. Шла речь о том, что научная постановка проблемы души бессмысленна. Существует или нет душа — научно рассмотреть нельзя. Это дано каждому непосредственно, и тут другому ничего нельзя доказать. Наука не может доказательно опровергнуть тезис о бессмертии души. Но и религия также не может доказать свой догмат о продолжении существования души после гибели тела.

— К сожалению, проверить экспериментально, сохраняется ли твоя душа, никакой другой возможности, кроме смерти, не существует,— заключил Зубр.

И опять все повисло между шуткой и серьезностью.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

То, что он все еще не был членом Академии наук, создавало неловкость. Не для него. Не тот был характер, чтобы из-за этого чувствовать себя ущемленным. Неловко чувствовали себя другие биологи, увенчанные и признанные. Для учеников Зубра положение представлялось несправедливым, более того — абсурдным. Решено было втайне от него что-то предпринять. Главные хлопоты взял на себя Николай Николаевич Воронцов, а затем к нему подключился Алексей Владимирович Яблоков. Написанные ими тогда бумаги составили большую папку, по ней можно судить, какую огромную работу они на себя взвалили. Прежде всего надо было расчистить путь, разъяснить историю его пребывания в Германии, отвести ложные обвинения. И вот с конца

шестидесятих годов Воронцов и Яблоков посылают запросы, собирают свидетельства, документы, поднимают архивы, пишут справки. Н. Н. Воронцов и А. В. Яблоков — ныне известные биологи, со своими учениками и школами. Н. Воронцов — доктор биологических наук, А. Яблоков — член-корреспондент Академии наук СССР, оба признанные, много сделавшие, прославленные... Они уже не помнят, что в те годы они, занимаясь делами Зубра, рисковали своей карьерой. Им давали понять, предупреждали. На них ничего не действовало. Они жили в счастливом убеждении, что если защищают правое дело, то бояться нечего. Они добиваются приема у руководителей разного рода инстанций. Показывают материалы, разъясняют, убеждают. Их поддерживают академики, те, кто имел представление о работах Зубра. Можно лишь поражаться энергии и самоотверженности и Н. Н. Воронцова и А. В. Яблокова, я уж не говорю об А. А. Ляпунове, М. В. Волькенштейне. Я находил в этой папке письма академиков А. Яншина, Л. Зенкевича, В. Меннера, А. Прокофьевой-Бельговской... Не скрою, мне доставляет удовольствие перечислять фамилии людей, которые выступили в поддержку кандидатуры Тимофеева.

Ценность собранных документов в том, что они официально и окончательно снимают все формальные возражения, слухи, какие циркулировали в то время. Например, я нашел там примечательное письмо президента Академии сельскохозяйственных наук ГДР Ганса Штуббе академику Энгельгардту:

«...Николай Владимирович известен мне с 1929 года, когда он был руководителем отдела Кайзер-Вильгельм-Института в Берлин-Бухе. Нас связывали в то время общие научные проблемы. При обсуждении этих проблем и во время следовавших затем вечерних прогулок было удобно беседовать и о все более обострявшихся политических вопросах. В Бух тогда был приглашен Г. Мёллер, американец, нобелевский лауреат, и его присутствие вызвало споры с национал-социалистами буховского института. С полной ответственностью утверждаю, что Тимофеев-Ресовский постоянно был на стороне антифашистов. Это могут подтвердить другие свидетели, такие, как профессор Мельхерс (Тюбинген), профессор, доктор Баур. Из нашего общения постепенно образовался маленький кружок ученых, который превратился в активную группу Сопротивления. Ученые, которые в последующие годы притеснялись фашистскими властями, находили при встречах в Бухе возможность откровенного обмена мнениями, получали указания о наиболее целесообразном поведении. Сам я преследовался в 1936 году за антифашистскую деятельность и был уволен из Института гибридизации. Тимофеев был для меня в это время образцовым советчиком. Молодые коллеги удерживали его от излишней активности, что позволяло относительно спокойно вести научную работу. Кое-кто из его сотрудников вел антифашистскую деятельность вне института, и, если я не ошибаюсь, некоторые из них переходили на нелегальное положение, чтобы избежать ареста».

Далее он пишет о гибели Фомы, судьбой которого он занимался после войны, и завершает:

«С момента моего знакомства с Тимофеевым и до конца войны он был для меня не только учителем в науке, его высокие человеческие качества привели к нашей тесной дружбе, которая неизменно сохраняется до сих пор».

Я знал Ганса Штуббе, они с Зубром однажды нагрянули ко мне в Ленинграде. Мы просидели целый вечер, но мне не пришло в голову спросить Штуббе про антифашистскую группу в Бухе. Однако и сам Зубр не заводил разговора об этом, не воспользовался приездом Штуббе в СССР, не заручился его свидетельством.

Неверно было бы считать, что его не заботила собственная репутация. Еще как заботила! Почему же он молчал, так упорно отмалчивался? Я настойчиво допытывался об этом у Воронцова и у Яблокова. С некоторыми оговорками они сходились в одном — гонор мешал. Оправдываться не желал, доказывать свою честность, порядочность, любовь к родине. Не желал защищаться гибелью сына. Гордость не давала. Самолюбие.

Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести? Кровь потомственного русского дворянина заставляла его молчать. Он-то знал, что ни в чем не виноват, и этого знания ему было достаточно. Гонор его захлестывал: если вы мне не верите, я не унижусь до объяснений. Что говорить, спесь не ум, а далеко ведет. Но было тут и самоуважение, дающее свободу от всех суждений. Прежде всего он был ответствен перед своими предками, перед честью своей фамилии. А перед вами, господа любезные, — нет и нет.

Чувства эти мало кто понимал, слишком они были архаичны.

В нем вздыбился аристократизм. Это с ним бывало. Не зря биофизики выбрали для своего юбилея его фотографию, где он восседает на ступеньках лестницы закутанный в одеяло, — ни дать ни взять римский патриций на ступеньках сената. Патриций это время от времени надувался и перед нами без меры. Но тот же аристократизм заставлял его к рабочему человеку относиться уважительно, без хамства. Он мог уничтожить кого-либо пренебрежительным взглядом, словом, и опять же в этом не было хамства. Была разница происхождения, таланта, воспитания — разница между мрамором и булыжником, гончей и дворнягой...

Отмалчиваясь даже перед друзьями, он поступал неумно. В этом, кроме прочего, было еще обидное высокомерие. Теперь, оценивая случившееся, можно понять Зубра, но нельзя его оправдать. Он позволял себя любить, и только. Он не разрешал себе быть перед нами несчастным, обиженным, не искал наших утешений. Это было неравенство, тайное чувство превосходства человека иных сил, прав и обязанностей.

Он ведь и в трамвае не ездил. Только на такси. Расплачивался бумажками. Мелочь не признавал — плебейство! Спесь пучила его и в большом и в малом. Яблоков неумоимо ходил по учреждениям, хлопотал за него. Но однажды сорвался: «Какого черта, почему сам не шевельнется, не походатайствует о снятии судимости?» Он ответил: «Я никогда ни о чем не просил и просить не буду». Проявить бы хоть немного гибкости: написать о ком-то рецензию, похвалить, упо-

мянуть, сослаться, признать — мало ли возможностей? И это помогло бы решить вопрос с Академией наук. Но он ни на что не шел.

Интересно, что Яблоков не заспорил, не воспринял его ответ как чванство, снобизм. Фраза вырвалась у Зубра из глубин родовых, стародавних. Яблоков точно уловил в ней принадлежность к другому веку, нрав предков. В чем-то Зубр ощущал себя ближе к Александру Невскому, чем к современникам.

Он был случайно уцелевшим зубром. Когда-то они были самыми крупными из зверей России — ее слоны, ее бизоны. Тяжелая махина, плохо приспособленная к тесноте и юркости нынешней жизни, одинец, небывалый бычище...

«Исчезновение зубров — безвозвратная гибель частицы опыта адаптации к изменяющимся условиям существования. Миллионы лет копила жизнь этот опыт адаптации...» — прочитал я в одной работе о зубрах.

Конечно, мы не знаем, как эта «частица» поддерживала равновесие, как она способствовала развитию человека, но как-то она действовала. Без зубров что-то изменится и в человеке.

Библейский Иов вел себя человечней: «Вот я кричу „обида!“, и никто не слушает; вопию, и нет суда». Иов призывал бога к ответу, искал справедливости, требовал встречи с богом, чтобы доказать свою невиновность. Он не боялся единоборства. Он горько жаловался друзьям на беззаконие бога, на безжалостность его, оправдывался перед ними, просил их внимания, сочувствия: «Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражение уст моих».

Зубр на месте Иова, наверное, надменно молчал бы, презирая оправдания, жалобы. В этом была его независимость и свобода от всех властителей вплоть до Вседержителя. Собственное достоинство было для него превыше всего. Пусть другие выясняют правду, тем более что правда, обнаруженная другими, убедительнее.

Так ничего он и не открыл про антифашистское Сопротивление в Бухе, про то, чем занимались Фома и его друзья.

Утрата оказалась непоправимой.

Но глубоко в душе, сквозь все осуждения и попреки я завидую его безоглядной свободе.

С Академией ничего не получилось. Кандидатуру его не допустили до выборов. Начальство убоялось. И с начальством спорить тоже убоялись. А ему это было вроде бы совсем безразлично. Не получилось, и ладно. Может, это поражение, а может, так и надо. Все относительно, и вчерашняя ошибка может стать победой. Стоит повернуть выключатель, и минувшее осветится иначе. Щелчок — и все хорошо; щелчок — и все плохо. Щелчок: прошлое — цепь потерь. Щелчок — и оно предстает как цепь везений, открытий. В самом деле, сколько их было, угроз неминуемой гибели, а ведь уцелел, жив курилка. Можно было печалиться о том, как он терял родину, о том, как неприветливо она приняла его. Можно было радоваться тому, что он вернулся на родину и как горячо она приняла его.

Несколько жизней осталось позади. Три? Пять? Он не подсчитывал.

Где-то дымили потухшие вулканы его увлечений. Текли реки. Воды их опали, вошли в русло. Шумели рощи. Раскинулись долины, пройденные им когда-то. Туманы ползли в неведомых нам ущельях.

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая...

Путешествие по Америке, мраморные столы в греческих рестораниках, высокие стаканы с мутной мастикой, итальянские дворники, тень олив, залы конгресса... Некоторые его жизни так и остались скрытыми, знание мое было неполным, я неуверенно обводил лишь известные мне контуры, прерывистые пунктиры жизни, соединял точки, между которыми зияли провалы. Там смеялись неизвестные мне женщины, пылали вожделения и страсти, происходили попойки и драки.

Архив Зубра пропал. Пропали письма, документы. Пришлось собирать его жизнь по обрывкам. Иногда отыскивалось такое, что никак было не пристроить, черт те знает откуда оно вывалилось. Ну кто бы мог подумать — законопослушность! Качество, которое, оказывается, свойственно ему было так же, как еретичность. Судебный приговор, например, он принял как должное. Был закон о невозвращенцах? Был. Нарушил он этот закон? Нарушил. Все.

Стихи были для него дороже, чем его наука. Он ставил их высоко, как музыку. В глубине души он признавал талант живописца, талант поэта даром божьим, как, например, красивый голос. То есть это было нечто ниспосланное свыше. Наука была для него иное. Ученый обладает способностью задавать точные вопросы природе, находить, улавливать, понимать ответы на них. Тут нет ничего исключительного. Раз я, Тимофеев, это могу, следовательно, и другие могут. А вот стихи настоящие написать — это я не в состоянии (а сколько я их прочел!), рисовать не могу, музыку сочинять не могу. А в науке все и всё могут.

Как выглядел мир его мечтаний? Куда он уходил в них — к звездам, к травам, букашкам? Что подавлял он в себе, какие страсти и желания?.. Что знаем мы про внутренний ход жизни человека, совсем не схожий с его речами и поступками? Что знаем мы про тайные страхи, несостоявшиеся подвиги, укоры совести?.. Что знаем мы про людей, о которых, казалось бы, знаем все, — что творилось в душе у Пушкина или Гоголя? Разве стихи исчерпывают душевную жизнь поэта? По капле дождя разве поймешь, что делается в облаке?

В 1965 году Зубра наградили Кимберовской медалью «За замечательные работы в области мутации». И до этого его награждали весьма почетными медалями — Дарвиновской (ГДР), Менделевской премией (Чехословакия), медалью Лазаро Спаланцани (Италия). Он был действительным членом академии немецкой, почетным членом — американской, Итальянского общества биологов, Менделевского общества в Швеции, генетического общества Британии, научного общества имени Макса Планка в ФРГ. И многих других организаций, которые ему надоедало перечислять. Подобные знаки внимания были, конечно, приятны, но он не придавал им значения. Кимберовская медаль была

крупнейшей наградой генетиков, она заменяет Нобелевскую премию, поскольку Нобелевской для биологов нет, в ней — признание серьезных заслуг, признание международное, и Зубр с удовольствием показывал всем ее большой золотой диск и бронзовую копию. Тщеславие его было удовлетворено. Особенно его веселила бронзовая копия:

— Предусмотрена на тот случай, если золотой оригинал придется загнать для пропитания, то есть предвидится будущая нужда и безработица награждаемых корифеев. В основе, так сказать, славы заложена ее непрочность...

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Одним из поздних учеников Зубра был Анатолий Никифорович Тюрюканов. Большой, мужиковатый, с физиономией грубой, как он сам говорил, «шлакоблочной», по виду недалекий, простак, по выговору работяга, из разнорабочих — словом, не скажешь, что ученый, да к тому же тонкий, культурнейший человек. Не то чтобы он специально создавал такой свой образ (хотя это часто бывает!). Но природа явно готовила его для одного, а в последний момент душу и ум вложила совсем иного предназначения, как бы показывая, что всякие соответствия формы и содержания, то бишь вида и сути,— ерундовина, человека предугадать невозможно, по внешности определять — пустое занятие, и сколько бы мы ни изучали, как соотносятся обличье и душа, человек остается загадкой. К счастью.

По специальности Анатолий Никифорович почвовед. Посему Калужскую область в числе прочих он исколесил, исходил пешком и в свободное время тешил Зубра рассказами про «Калуцкую губернию».

— ...Вообще-то слушать он никого не любил, а тут слушал...

Было это уже в Обнинске, куда Тимофеевы переехали в шестидесятые годы. Калужская губерния была родиной Зубра. И, слушая рассказы Тюрюканыха, как он его звал, Зубр вздыхал, причмокивал, мычал: «Да-а-а...» Что-то у него там внутри ворочалось и томилось.

В девяностые годы отец Зубра, будучи уже солидным инженером-путейцем, возрастом под пятьдесят — не шутка! — строил в здешних местах железную дорогу от Сухиничей. В один прекрасный день, шествуя куда-то по просеке, сломал ногу. Рабочие оттащили его в ближайшую усадьбу. Пришлось отлеживаться недели три. Ухаживала за ним помещичья дочь, милая, тихая, застенчивая девица, с которой образовался роман, роман их развивался в точности по традициям, установленным со времен пушкинского «Станционного смотрителя». Правда, молодой человек был не гусар, не офицер, но в девяностые годы инженер-путеец был фигурой модной, не менее романтической, чем гусар. Нечто вроде космонавта сегодня. Молодым он тоже не был, но и девица засиделась, по тем понятиям двадцать девять лет — перестарок. Любовь их вспыхнула без оглядки на возраст, не считаясь с деспотичным нравом матери невесты. Захудалый род Тимофеевых не устраивал Всеволожских, гордых своим происхождением от Рюриковичей.

— Сегодня первым делом смотрят, кто родители, их образование, положение,— заметил Тюрюканов,— тогда ж в расчет брали дедов, прадедов, происхождение, так сказать, генетику, какого ты рода.

Чтобы как-то подравняться, Тимофеев приобрел поблизости от Всеволожских большое поместье у речки Рессы. Средств у него хватало. Тем самым он вошел в калужское дворянство. От речки Рессы стал Тимофеевым-Ресовским. Речка Ресса течет до сих пор и, по словам Тюрюканова, остается самой чистой речкой, какую он знает. Воду из нее можно пить.

— Случайно, видать, уцелела, поскольку не имеет промышленных постояльцев и стратегического значения.

Раньше Русскому географическому обществу дано было право по случаю свершения какого-то полезного дела присваивать человеку двойную фамилию. Например, Семенов-Тянь-Шанский, Муравьев-Амурский. Тимофееву пожаловали Ресовского ввиду его путейских заслуг.

Переселение Зубра в Обнинск было возвращением в калужское детство. Счастье, подаренное как раз тогда, когда память о детстве оживает сладкой печалью. Любимой темой Зубра было героическое прошлое Калужской губернии. В пятнадцати километрах от Обнинска находится Тарутино, там происходил марш-маневр кутузовской армии. Далее на реке Протве стоит церквушка, построенная боярином Лыковым по случаю изгнания поляков из Москвы и воцарения Михаила Романова в 1613 году. Церквушка — красавица, и стоит — загляденье. Рассказывал он про подвиг судьи Саввы Беляева в войне 1812 года. Французы, наступая, из пушек палили нещадно. Как их остановить? Савва Беляев сообразил: спустить воду из запруд. Вокруг было много мельничных запруд. В одном Козельском уезде во времена Петра было сто четыре водяных мельницы на маленьких речушках. Разобрал Савва первую запруду, затопил часть пушек французских, редуты. Все было потоплено. Пришлось французам возвращаться на старую Смоленскую дорогу.

Рассказывая это, Зубр страшно возбуждался, заставлял Тюрюканова возить гостей на те места, показывать что да как.

В один из таких моментов, взволнованный, схватил он лист бумаги, нарисовал план тимофеевского поместья: «Вот какое у нас было расположение в Концеполье».

Название происходило от конца мешковского ополья на границе моренных и лесных ландшафтов — конец поля.

Рисовал он кухню, галерею у дома, липовую аллею, где грачовник был, плотину на речке, улицы деревенские.

Тюрюканов тут возьми да скажи: «А почему бы нам не податься туда? Посмотрим, что осталось».

Зубр зафырчал, руками замахал, но его стали уговаривать, упрашивать: чего, мол, бояться? Конечно, им-то чего бояться, им не страшно. Однако позже Тюрюканов признавался, что почувствовал, как коснулись они столь глубинного, чего и сам Зубр в себе не подозревал.

Уломали. Раздобыли машину, поехали. Перед самым выездом слу-

чилось одно происшествие: Зубр ни с того ни с сего вспомнил про какого-то тамошнего продавца — ворюгу, подонка, прохиндея и всякое такое. Распалился, занегодовал, а почему — неизвестно, да и неинтересно, поскольку никто понятия об этом типе не имел, и вскоре про этот взрыв возмущения забыли.

Сопровождали Зубра несколько его учеников. Сам он сидел впереди, на капитанском месте, возбужденный, восторгался ландшафтами, узнавал их, то есть характер ландшафта, дух, потому что полвека прошло (поездка эта была в 1967 году) — многое изменилось, забылось.

Проехали Мещовск, старинный городок, где, по рассказам Зубра, обитали лучшие басы. Двинулись дальше. Тюрюканов поднапутал, велел свернуть не там, однако признаваться не стал, чтобы не сбить настроение учителю, тем более что беды особой нет, так или иначе должны вырुлить на Концеполье. Добрались до Серпейска, ну тут Тюрюканов решил уточнить дорогу. На крылечке сидит милая старушка с самоваром. Подошел Тюрюканов к ней, она объяснила, как ехать. И тут вдруг он спросил, не слыхала ли она про Тимофеевых-Ресовских. К ним они едут.

Она отвечает:

— Как же не слыхать, я ведь их меньшего сына Виктора нянчила...

А Виктор — это брат Николая Владимировича. Известный в нашей стране соболятник. Между прочим, полная противоположность Зубру. Нетороплив, тих, застенчив. Он восстановил стране соболя. Во многом именно ему мы обязаны тем, что численность соболя стала больше, чем во времена Ивана Грозного.

— ...И Николая я знала.

Вернулся Тюрюканов к машине растерянный.

— Представляете, Николай Владимирович, эта женщина вашего Виктора нянчила.

— Как?!

Он выскочил, побежал к ней, целует, обнимает, чуть не плачет. Потом из Обнинска он ей посылки отправлял, заботился.

Едут дальше, выехали из леса на поляну. Глядь, стоит домик. Развалюха. Появляется у домика старик. Тюрюканов выпрыгивает, идет к нему проверить — правильно ли едут. Тот что-то бурчит. Воодушевленный встречей с няней, Тюрюканов спрашивает, слыхал ли он про Тимофеевых-Ресовских. Старик скривился да как зашипит, как кулачками затрясет и принялся поносить их: кляп им в рот, сукины дети, бары с барчуками, угнетатели трудовых масс... Выяснилось, что это не кто иной, как тот самый продавец, который Зубру безо всякого повода вспомнился перед выездом.

Естественно, Тюрюканов ничего про этого встречного не сообщил, чтобы Зубра не расстраивать. Про себя же подивился происшедшему. Хороша случайность, чтобы именно на этой лесной дороге пересеклись пути двух человек, расставшихся полвека назад! А если прибавить сюда же встречу с няней, то никакая теория вероятностей не справится. Нет, извините, тут, верно, вмешалась чертовщина.

Подъезжают к Концеполью, и — о радость! — сохранилась березовая аллея!

— Это матушка Екатерина распорядилась, — пояснил Зубр, — насадить вдоль дорог березы, чтобы путники не сбивались. Березы ночью в темноте лучше других деревьев видны.

Вековые березы выстроились белой колоннадой. Увидел он грачовник и ахнул — надо же, и он сохранился с начала века! От кирпичных же строений усадьбы остались развалины, торчали заросшие камни фундаментов — единственное, что не растащили. Стояло несколько лип старого парка. Спуск к реке еще существовал. Все-таки природа мудрее человека — она не меняет без толку хорошее на плохое. Все лучшее отбирает и оставляет, наподобие этого грачовника, что пребывает в березах столько грачиных поколений. Птицы гнезда свои не порушили, сберегли.

Все вышли из машины, один Зубр сидит, застыл, на приглашение не отвечает. Молчит, насупился. Еле уговорили его, считай, под руки вытащили из машины.

Спустился он к пруду, сделал буквально несколько шагов, все замерли, ждут от него ахов, чуть ли не сцены из «Русалки»: «Вот мельница, она уж развалилась...» Развалилось действительно все. Или развалили. Но все же на память должно приходить былое и всякие воспоминания должны ожить. Он же стоит, оцепенев.

Как раз в эти дни чистили пруд. Воду спустили, обнажилось дно — грязная жижа, в вонючем месиве лежат железные банки, ржавые колеса, гнилая лодка, торчит остов пружинного матраца. Зубр голову в плечи втянул, как от мороза, — ни шагу дальше. Потемнел лицом. Его просят в парк пойти, показать, что где было. Может, что уцелело. Он не отвечает.

На берегу из старинного кирпича сложена кособокая хибара, на ней вывеска «Сельская библиотека». Для безразличного зрения Тюрюканова и прочих — домишко ничем не приметный. Для Зубра же... Сопит хрипло, не сдвинуть его с места, никаких уговоров не слышит. Вдруг рванулся, прямо-таки стряхнул всех с себя и бегом назад, в машину. Уселся, ни на кого не смотрит, скомандовал сиплым голосом: — Домой! Поехали домой!

И больше ни слова. Закрылся наглухо. По себе знаю, по своему печальному опыту — лучше не возвращаться в места детства. Они никогда не становятся краше. Для Зубра на той детской картинке, которую он бережно сохранял в памяти, и эта хибара возникла своеобразной кляксой. Куда-то исчезла вода... Куда-то исчезло все, осталось страшное нутро пруда.

Спустя несколько дней он пробурчал:

— Тюрюканыч, ты того... лучше сам съезди в Концеполье, потом расскажешь, какие там почвы.

— ...Поехал я. Пробовал там расспрашивать старожилов. Никто ничего не знает — кому принадлежали эти земли, кто чего строил, делал. Живут Ивановы, не помнящие родства. Однако знаю, в любой глухомани все же кто-то наверняка краеведничает. Большой частью среди

учителей. Так и оказалось. Был там директор школы, который записывал рассказы стариков. Про здешних помещиков Всеволожских, соседей их Тимофеевых, про сыроварню — сыры у них делали. Швейцарца они пригласили, он наладил технологию, так что производилось по наилучшим образцам. Сыры доставляли в Москву. Дворяне они были из тех, что сами работали от зари до зари. Любопытно, как они молоком снабжали московские магазины на Арбате, как ловко это у них организовано было. Молоко в бидонах, вечернего надоя, везли до станции двенадцать верст. Поспевали точно к поезду. Поезда тогда ходили по расписанию, тютелька в тютельку. По гудку паровозному часы сверяли в деревнях. Грузили бидоны, ехали до станции Сухиничи. В Сухиничах вагон с бидонами прицепляли к киевскому поезду, и ранним утром свежее молоко было на Арбате. Все длилось одну ночь. Это с двумя пересадками, из глуши, из дыры, из Концеполья — до Арбата! Молоко приходило в Москву невзболтанное. Поставляли и сыры. Все это описано было в тетрадке учителя. Любопытным получился образ бабки Зубра. Писал ее учитель под Салтычиху, как нас учили про крепостников. Ругалась по-черному. Обливала девок кипятком в своих отчаянных злобах. Но уловил в ней учитель и нечто своеобразное, нарождавшееся тогда в России: образ толковой хозяйки современного, передового по тем временам производства молочных продуктов. Проживи она еще несколько лет, и швейцарца бы обогнала, такую бы индустрию наладила... Про Салтычиху я, естественно, Николаю Владимировичу говорить не стал. Доложил только, сколько в почвах азота, калия — обычный анализ, чтобы ему мозги запудрить.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Деньги свои он раздавал без счета. Пока жива была Елена Александровна, финансы находились в ее руках. Время от времени он орал: «Лелька, дай на книжки Тюрюканычу!», «Дай на дефективы!». После смерти жены, оставшись один, деньги он ссужал всем, кто просил. Студенты приходили просить, соседи, мастера. Брали взаймы, затем вскоре понимали, что он за человек, и долги мало кто возвращал. Не давать он не мог, неприлично. Просят, допустим, пятерку, он вытаскивает бумажку из кармана, вот, говорит, пятерки нет, бери десятку. Стали ходить нищие, сперва клянчили, потом настаивали. Бывали дни, когда он для них последнюю мелочь выгребал из карманов.

Дошло до того, что милиционер явился: «Николай Владимирович, прошу вас, не давайте вы всем этим прохиндеям. Слухи пустили, что у вас в коробке деньги. Мало ли чего удумают».

— Он всегда жил как на площади, — точно определил один из его обнинских сотрудников. — Ему нужно, чтобы кругом были люди, слушатели.

Хорошо, если людей много, но можно и мало. Он мог увлеченно ораторствовать в камере, и перед конвойными, и перед уборщицей. Когда в Ленинграде он заболел и слег в больницу, я навещал его. Палата была большая, человек на двенадцать. Его хотели перевести

в маленькую. Он воспротивился. Тут была аудитория. Подле него всегда сидели любопытные, приходили слушать и врачи. До сих пор они помнят его. То, что он говорил, запоминалось навсегда — такая сила была вложена в его слова. Он забивал их, как гвозди.

А. Ярилен так говорил про отношение Зубра к нищим: он считал себя обязанным подавать. Не то чтобы видел в этом христианский долг: мол, милосердием очищаемся от грехов — нет, не это лежало в основе его поступков. Их дело, считал он, просить, мое — давать. И обсуждать тут нечего. Так устроено, таков социум.

— У нас есть три категории, которые работают хорошо, — говорил он не то шутя, не то всерьез, — это артисты балета, артисты цирка и таксисты. А есть такие, что работают более или менее, во всяком случае лучше, чем научные работники, — это нищие.

Обирали его беззастенчиво. Брали книги и не отдавали. А. Ярилен и другие друзья вынуждены были буквально выдворять настырных посетителей.

У него случались пароксизмы отдачи. Дни дарения.

— Допустим, начнет перебирать книги или пластинки. И примется тут же дарить. Не может остановиться. Отдавать ему интереснее, чем брать. Приходилось как-то прерывать это расточительство.

Мы возвращаемся к проблеме нищих: как к ним относиться? Мне, откровенно говоря, позиция Зубра непонятна и принимать ее не хочется. Ярилена это не занимает: идеи, может, и завиральные, но он принимает Зубра целиком со всеми его недостатками. Зубр мил ему именно такой, какой он есть.

Да и я ведь обсуждаю все эти теории отдельно как таковые, они же были частью его характера, его поведения, без них он был бы другим, а хочу ли я, чтобы он был другим, пусть даже лучше? Нет, ни в коем случае. Для любви нужны не только достоинства.

Дни переборки книг, приведения в порядок книжных полок были праздниками. Тюрюканов, например, считал, что большей радости лично он не испытывал. Они могли возиться целый день. Зубр брал книгу, листал, вспоминал, что у него с ней было связано, какие мысли, возражения она возбудила, с каждой был свой спор, свои отношения. «Нет, это не тот Фомин, который... Это другой, не путай, он в таком-то году то-то сделал, а брат его...» И начинался рассказ про автора. Он не так про книгу любил, как про автора. И так книжка за книжкой.

Любовь к книгам Зубр считал врожденным качеством.

Тюрюканов вспомнил, как они писали вместе статью:

— Разумеется, основополагающую, мы других не писали. Страниц двадцать на машинке получилось — биосфера, почвы, то да се. Двадцать страниц, и все от себя, никаких ссылок. Я говорю: неудобно, нужны, как водится, цитаты, ссылки. Конечно, на это Энвэ заругался. С какой, говорит, стати! «Да разве мы с тобой не сами, не своим ходом шли, чего мы будем сажать себе кого-то на шею?..» Ругался, ругался, потом бурчит: «Ну, кто там у нас больше всех строчил по этому вопросу и ничего в нем не понимает? У тех всегда длинные списки литературы». Достāju какой-то талмуд и нахожу огромный список ли-

тературы. Пошли мы по алфавиту. Моя обязанность читать имя автора. Идет Аболин. Он повторяет: «Аболин, Аболин, по-моему, подвергался гонениям. Ну тогда ставь галочку. Дальше?..» — «Берг», — говорю. «Лев Семенович? Упомянуть надо, хороший человек. Но сколько там Берга?.. Шесть названий... Куда к черту, это не годится, давай четыре. Дальше?.. Вернадский... Вернадский — душка... Шестнадцать его?.. Много. При всем уважении оставим девять». Так мы и шли: «Это приличный человек, это цивилизованный господин, а это путаник, этот — прощелыга». Набралось примерно двести из шестисот. Так много нашел он достойных людей. Происходил поучительный, интереснейший отбор. Затем производили дальнейшую чистку, уже с развернутыми характеристиками авторских взглядов, пока не ужали до полусотни. Он говорит: «А где мы эту пеструю компанию цитировать будем? О господи Иисусе, давай читай нашу статью». Читаю первую фразу: «За последние годы в современном естествознании было много сделано в том-то и том-то...» «Вот, — говорит, — тут пиши скобку, и с первого до пятидесятого сюда вбухаем, в конец». Так и сделали, все были довольны, ничего читать не надо.

Каждый соавтор удивлялся его манере работать.

Николай Воронцов красочно рассказывает, как по утрам вместе с Алексеем Яблоковым они отправлялись в Обнинск на электричке к Зубру работать.

— Елена Александровна кормила нас и уходила на работу. Энвэ требовал, чтобы она кормила как следует, иначе мы помрем и ничего не напишем. «Начнем. Что в прошлый раз было?» Практически всю книгу он надиктовал. Шаггал быстро из угла в угол и диктовал. Алеша с обезьяньим проворством успевал все записать, когда раздавался рык: «Ты погоди, погоди. Ты чего написал?» Тот читал. «Убери. Надо не так, а так. Это же лучше». Был такой случай. Алеша одну главу потерял. Явился к Энвэ с повинной. Ну что делать? Тот снова отдиктовал. Глава нашлась. Сравнили. Сошлось слово в слово, так все у него было продумано. Были разделы, которые писали мы. Читали ему. «Это хорошо, — заключал он, — а здесь мы напишем преамбулу».

Про то же самое рассказал мне А. Яблоков. Мне нравилось сопоставлять рассказы разных людей.

— Я брал на себя чтение литературы и перелопачивал за неделю все, что имелось по очередной главе. Кратко выписываю, делаю схему этой главы, как бы я ее написал. Приезжаю, читаю ему. Он начинает кипятиться: «Как это можно? Что ты берешь за основу? Да ты дурень!» — и принимается диктовать, не дает мне больше встреть. Я все же встречаю. Иногда после вспышки невероятной ярости его мысль поворачивала: «Черт с тобой, пиши!» И диктовал, учитывая мою точку зрения. Получалось чудо. Он диктовал готовый текст, который не надо было править. Происходила вспышка гения. Иногда на следующий день приеду и говорю: «Все-таки хотя мы и упомянули о том-то, но для дураков это не ясно». Он кричит: «Ну и черт с ними, пусть не ясно! Ну, ладно, пиши». И выдает то, что я просил, но выдает совсем не в той форме, в какой я говорил. Много времени он уделял оглавлению, то есть композиции книги. Метод у него был такой. В первом плане,

который умещался на одной страничке, намечалось подробнее, где, что потом расположится. Далее, после обговаривания, возникали детали — десять, а то и пятнадцать страниц. Вот эти пятнадцать страниц были уже подступом к книге, каждая глава была раздраконена хотя бы на полстраничке, все выстроено. Метод этот я принял и для себя — очень долго придумывать общую схему работы, ступенька за ступенькой расширяя ее...

Один он работать не мог. По молекулярной биологии, например, все его работы написаны с Дельбрюком. Тогда Дельбрюк был молодым физиком. Он выступал перед Зубром в той же роли, что Воронцов и Яблоков.

В человеческой культуре самое древнее искусство — искусство общения. Когда не было ни театра, ни живописи, ни музыки, было общение. Из него родились все искусства.

Трудно определить, в чем состояло искусство общения Зубра и можно ли назвать это искусством. Он не навязывал себя, не захватывал площадку и в то же время мог ворваться бесцеремонно в любой разговор, расшвырять собеседников. Он выигрывал тем, что слушать его было интересно. Все оживало с его появлением, попадало под напряжение. Его просили говорить, его хотелось слушать.

Делать доклад он шел как на праздник. В этом было для него больше самовыражения, чем в написании статьи. Шел счастливый от возможности что-то сообщить, в чем-то убедить, и люди тянулись к нему, чувствуя, что живое общение ему дороже всего остального.

Силы влияния или обаяния его личности были таковы, что люди, сами того не замечая, перенимали его выражения, его манеры.

— Годами я говорил, интонационно подражая Энвэ,— признался мне Молчанов.— Я даже не сопротивлялся, а активно вживался в эту роль, обезьянничал.

Его это не тяготило, у него не возникало комплекса Демочкина. Он подражал охотно, как и другие.

— Меня не волновала проблема обезьянничанья,— продолжал он.— Бывали у меня периоды, когда я прекрасно имитировал Энвэ, потом это исчезало.

Главным было — перенимать его мысли. Происходило запечатление, импринтинг — есть такой термин в генетике, запечатление на таком глубоком уровне, что спустя десятилетия мне воспроизводили его слова, его выражения, как он вскакивал, носился взад-вперед, как свирепел, добрел...

В Миассове большинство не понимало докладчиков. Как, впрочем, и на других симпозиумах, школах подобного рода. Да еще если математики и физики намешано, то не разберешь, в чем там суть. Зубр на докладах обычно подремывал, опустив голову, свесив губу. Когда действие кончалось, он открывал глаза и подводил итоги. Все прояснялось. У него был талант извлечения смысла. Он умел соединить частные, казалось бы, разрозненные вещи и сказать, зачем это нужно в-пятых. Это был один из его любимых вопросов: «Почему сие важно в-пятых?» И, бывало, следовало печальное заключение: «В-пятых, сие вовсе и не важно».

Ему помогала замечательная память. Память — это не талант, но талант, обладая памятью, успевает во много раз больше. Анна Бенедиктовна Гецева рассказала: когда она приехала впервые в Миассово, познакомилась с Зубром и представилась, что она из зооинститута, то он спросил, кто у нее заведует отделом. Ах, Попов? Так это Владимир Вениаминович, он напечатал статью в 1921 году в таком-то журнале о таких-то таракашках? Как же, известно!.. А она сама и понятия не имела об этой работе шефа...

В Обнинске вокруг него по-прежнему бурлила, клокотала молодежь его лаборатории, и те молодые, что наезжали из Москвы, и те, что тянулись, не могли оторваться от него со времен Миассова, и те, что прилеплялись к нему после каждой биошколы.

Собирались на его обнинской квартире (а где же еще?), обычная трехкомнатная квартира в стандартной новостройке, с низкими потолками. Урчал помятый самовар, Лелька разливала чай, он же носился взад-вперед по столовой, по своему кабинетику, был так же размашист, зычен. Невозможно понять, как он мог бегать среди людной тесноты, неразберихи рук, ног, голов.

Ничто не менялось. Если не считать генетики, радиологии, биофизики и прочих наук.

Со времен Дроздора порядок оставался тем же, все происходило точно так же, как в Берлине, как на Урале. Незыблемо, несмотря ни на что. Как-то мы приехали в Обнинск вместе встречать Новый год. В молодежном застолье Зубр и Лелька мало отличались от своих аспирантов, сотрудников, от этих наехавших из Москвы и еще невесть откуда молодых. Песни они пели громче, слова знали лучше, он так же танцевал, так же дурачился. Читали стихи. Устроили капустник. Стоял Большой Всеобщий Треп. Все смерчем завивалось вокруг Зубра, никто не ревновал, не соперничал с ним.

Наутро, выспавшись, катались на лыжах (вот этого он не признавал), а с обеда опять сидели за столом, допивали, доедали и уже не могли оторваться от ученых, то есть своих рабочих, разговоров, в которых я не смыслил, но из любопытства записывал отдельные фразы. Его и не его, спровоцированные им:

— Инженеры забывают, что биосфера нужна не только в виде пищи.

— Избавиться от дураков нельзя, мы можем только тормозить их деятельность.

— Верхний ярус леса, если он мощный, например затененный, определяет нижний ярус — тенелюбы, теневыносливые. При лучевых поражениях страдает верхний ярус, освобождая нижний ярус, и тот начинает формировать верхний ярус.

— Синтетика, когда одно биосырье заменяют другим. Овцы осинной... А что можно уничтожить быстрее? Это еще вопрос!

— Я думаю, что мы можем задохнуться быстрее, чем помрем с голоду.

— В природе есть угнетенные и угнетатели.

— Апостол Петр трижды отрекся от Христа, и это не помешало ему стать одним из главных апостолов.

— Давайте нарушим изоляцию популяции и проверим давление изоляции.

Они теребили какую-то идею накопления радиомутации, выхватывали ее друг у друга, грызли ее и так и этак, тянули в разные стороны. Это была игра, и это была работа.

Притомясь, запустили на проигрывателе грузинскую музыку.

Музыка входила в процедуру их общения. Зубру мало было рабочих споров, он организовал у себя на дому (опять же — где же еще?) нечто вроде семинара по истории музыки и вообще искусств. Собирались раз в две-три недели. По очереди выступали с разными сообщениями. Гуманитарное образование, рассуждал он, закончилось у всех его гавриков в школе. Музыкой, например, они последний раз занимались в седьмом классе, на уроках пения. С тех пор только укрепились в своем невежестве и деградации. Поскольку в университетах на биофаках никакого гуманитарного пополнения организма не происходит. Несмотря на диплом высшего образования, а также аспирантуру, то есть наивысшее образование, все равно цивилизованными людьми их считать нельзя. И в этом дремучем состоянии они хотят превратиться в профессоров и наставников. Что окончательно опозорит нашу интеллигенцию.

Речи эти сопровождались наглядной демонстрацией серости, а то и полной темноты деградантов, которые пытались отстоять себя. Проверки позорили и приводили строптивых к общему знаменателю.

Начались занятия семинара. Совершенно новая пища ума увлекла молодых. О грузинских песнях, инструментах. О Гайдне. О Рерихе... А. А. Ярилену, например, поручили доклад о старых полифонистах. На плохоньком тимофеевском проигрывателе иллюстрировали.

Набивалась орава двадцать — тридцать душ. Сидели кое-где, в коридорчике, на полу, под столом. Потом чаевничали с печеньем. Кто пристраивался ближе к хозяйке получить чай покрепче — «без обману». Собирались в восемь вечера, расходились в двенадцать.

— Хорошо нам было не информацией, а духом расположения, — рассказывал Александр Александрович Ярилен. — Мы ведь невесть какие знатоки, а он делал так, что мы не стеснялись. Может, потому что он встречал, подначивал. Он любил выдвигать формулы: «В девятнадцатом веке я знаю четырех великих художников — Александр Иванов, Делакруа, Ван-Гог и Врубель». И все. Спорить бесполезно. Он так считал, и попробуй Сурикова вставить. Не получится. Сомнет. Изрешетит. Но при этом формулы его запоминались, усваивались: «Леонардо всерьез гениальный человек. Всерьез гениальный человек это здоровый человек. Бывает такой масштаб личности, что не поймешь, человек это или бог».

Ярилен вспоминал свою борьбу за Скрябина, которого он любил. Удалось добиться, что Скрябин пианист хороший, есть фортепианные вещи удачные, симфонические же ерунда.

— И я соглашался, не сумел отстоять. — Ярилен не стесняется своего поражения, он посмеивается, разглядывая те проигранные Зубру схватки. — Зато Римского-Корсакова он мне открыл. Я обожал Стравинского и узнал, что он тоже любил. Радости было, много, мы

обнялись. Густава Малера он, например, считал безнадежно скучным. Самое замечательное, когда он сам брался делать доклад. Все вырастало. Появлялись иные мерки. То, чего он не знал, угадывал, тоже было интересно. К своим докладам он готовился. Придешь чуть пораньше, он ходит, нервничает, бормочет. Так было и когда к нему приезжали школьники из Москвы, восьмой-десятый класс. Тоже готовился, материалы заказывал. Ему безразлично было, академикам или ученикам читать лекцию — одинаково ответственно...

Года полтора семинары эти шли как нельзя лучше, пользовались огромной популярностью. Счет их пошел на четвертый десяток, когда вдруг разразилась гроза. Появилось в городе новое Л и ц о, новый начальник. Отличался он твердым убеждением, что на нынешнем этапе наибольшее зло и неприятности происходят от интеллигенции.

Проведав о каких-то семинарах на дому, он установил, что они нигде не оформлены, следовательно являются недозволенными. Значит, не могут называться семинарами, а представляют из себя недозволенные сборища. Кто же их проводит? Ученый, который во время войны работал в фашистской Германии. Между прочим, насчет ученого тоже вопрос — что за ученый, если не имеет положенных дипломов. Он и не профессор, и не доцент. Сидел. Вообще личность, не заслуживающая доверия.

На семинары стали приходить посторонние люди. Молча записывали. Затем с трибуны начальник разразился гневной речью с цитатами. Ничего эдакого-такого в цитатах не было, но в то же время они выражали аполитичность, безыдейность, отсутствие марксистского подхода. Сборыща, как он выразился, имеют «душок». Куда смотрела общественность? Как позволили, чтобы нашу молодежь... Кому доверили... При своей гордыне Зубр и пальцем не пошевелил бы в свою защиту. Но семинара было жалко, и Зубр решил отправиться на переговоры с начальством. Его отговаривали. Никакое замирение с этим Лицом невозможно, зачем ему замиряться, у него совсем другой интерес. Однако Зубр был уверен, что сумеет растолковать, опровергнуть наветы, любому человеку можно показать, какое полезное дело эти семинары для ребят.

Явился он на прием. Смирненно сидел в приемной. Час, другой. Накалялся, но терпел. К обеду секретарша, притворив дверь кабинета, сказала: «Идите к инструктору, сам вас принимать не будет». Сказала, восхищенная могуществом своего тщедушного шефа над этой косматой громадиной.

Ученики его, эти молокососы, которым он втолковывал про Рубенса и про Стравинского, куда лучше него разбирались в порядках этих канцелярий и кабинетов.

Семинар прикрыли. Ничего не помогло. А раз прикрыли, то можно было искать виноватого. Виноват руководитель. Предложено было его из института уволить.

Оборвались работы. Один за другим стали уходить его ученики, кто куда. Самого Зубра вскоре пригласил к себе в московский институт академик Олег Григорьевич Газенко, и там он проработал до последних своих дней.

В Кембридже, где была лаборатория Резерфорда, на стене изображен крокодил. Таково было прозвище великого физика. В Обнинске, может, когда-нибудь повесят доску с изображением зубра. Но тогда, в начале семидесятых, городскому начальству хотелось избавиться от этого человека, им и в голову не приходило, что память его будут чтить.

В сентябре, перед тем как лечь в больницу, Зубр собрал друзей, старых и молодых. Ему шел восемьдесят второй год. Смерть Лельки пригнула его, словно тяжесть жизни навалилась уже неразделенная, тащить надо было за обоих. Нижняя губа еще больше выпятилась. Краски на лице поблекли, в бледных чертах резче проступила древняя его порода. Старческого, однако, не было, заматерел — да, но стариком так и не успел стать.

Мысль его оставалась свежей и острой. Недавно вдруг взял и продиктовал статью в «Природу» о том, что следует изучать в биологии. Статья произвела впечатление. Ему не было износа, хватило бы на столетие, если бы рядом оставалась Лелька.

Все понимали, что собрал он их неспроста. Старались шутить, вести себя, как обычно. Не получалось.

Он сказал, что жизнь его была счастливой благодаря хорошим людям, окружавшим его и Лельку. Это была правда. У него не было ни горечи, ни обиды за все то, что пришлось перетерпеть, за клеветы, за несправедливые удары, за то, что «недодали»... Оказывается, куда дороже академических и прочих званий, кресел, наград было то, что много людей любили его, помогали. Ходили по очереди читать ему, держали его в полном курсе, вели его домашнее хозяйство. Народу вокруг него не убавлялось. Какие-то юнцы, совсем молодые, никому не знакомые, липли к нему, толклись табунами, хотя теперь у него вовсе не было ни положения, ни должности. Приходили слушать, поднабраться, попользоваться, и это было хорошо.

Слово «прощание» он не произнес. Но понимали, что это и есть прощание. Происходило как у древних римлян — уходящий, покидающий этот мир призывал друзей, чтобы проститься с ними. Спокойно и мужественно они рассуждали о смерти. Например, — бывает ли смерть славной, или же она безразлична. «Никто не хвалит смерть, хвалят того, у кого смерть отняла душу, так и не взволновав ее».

Он пребывал еще с ними, но в каком-то ином времени. Может быть, в прошлом? Но иногда он взглядывал на них затуманенно из такого далека, где вообще не было времени. Все понимали, что дойти туда необходимо, а вернуться оттуда нужды нет. И смерть оттуда никакое не явление, не загадка, — она всего лишь конец жизни; можно этот свиток взвесить на руке, развернуть, посмотреть, что же там за рисунок получился, ибо жизнь сама по себе ни благо, ни зло, как догадались те же римляне, она лишьместилище блага и зла.

Он не горевал, расставаясь с ними, то есть с жизнью. Может быть, потому, что ему мечталось встретиться с Лелькой. Не то чтоб он верил в загробное существование, но душа-то должна остаться. На это он надеялся. Душа ведь существует в виде какой-то психической точки,

значит, души их могут встретиться. Это была вера для себя. Всего лишь вера, которую он не путал со своими знаниями.

Каждому он что-то присоветовал, мимоходом, чтобы без торжественности. А. А. Ярилену, например, сказал об иммунитетах: «Он, который этим не занимался, сказал мне несколько фраз, я запомнил их навсегда, они касались самой глубины, сути дела».

О своих работах он не говорил. Раньше или позже они станут «историческим этапом». В них будут обнаружены, уже обнаруживаются ошибки, погрешности, то, что он принимал за один процесс, на самом деле было три одновременных процесса, — все это называется прогресс. Новое объяснение ждет та же участь...

Он уходил, как уходит зверь, почуяв приближение смерти. Звери забиваются в глушь, в тайные убежища. Люди уходят в себя, спускаются в долины памяти...

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Биофизиков собралось много. Съехались они со всей страны. Формально — на праздник, но под предлогом праздника, развлечений и банкетов они проводили симпозиум. У них все шло наоборот. Впервые я видел столько биофизиков сразу. Выглядели они одинаково молодыми. Двадцатилетние, тридцатилетние, сорокалетние — при этом одинаково молодые. Свежие, загорелые лица. Усатые, бородатые, лысеющие мужчины, совсем юные девицы... Они одинаково бесились, у всех мелькали одни и те же словечки, шуточки, они одинаково хохотали, вернее гоготали. Сходство объяснялось тем, что они имели одних и тех же «родителей», происходили из одного гнезда — из кафедры биофизики физфака МГУ, которая справляла свой юбилей — четверть века существования. Я попал к ним случайно. Мне давно надо было поехать в Пущино. Там у С. Шноля хранились пленки с записями рассказов Николая Владимировича. Мой приезд совпал с празднованием юбилея кафедры, которую Зубр хорошо знал. С Зубром мне везло, удача преследовала меня.

Билет на юбилейные празднества был сделан затейливо — со стихами и карикатурами на нынешних руководителей кафедры. На развороте билета выстроилась шеренга бюстов создателей, вдохновителей отечественной биофизики в университете. Бюсты корифеев напоминали римских императоров. Они все были академиками — Петровский, Тамм, Семенов, Ляпунов, все, кроме Зубра, но его бюст нарисовали в центре. А в зале заседаний, куда поставили большие фотографии, его портрет был самый большой — тот, где он сидел на лестнице закутанный в байковое полосатое одеяло. Одеяло выглядело как тога, сам он мог сойти за Цезаря.

Его давно уже не было в живых, но, похоже, никто с этим не считался. Обстановка была, как в Миассове, как на его семинарах. Здесь царил его дух.

На сцену выходили докладчики, воспитанники кафедры. Они рассказывали о себе — кто что сделал после окончания. Говорили просто и весело, так что даже я кое-что понимал. Из зала перебивали репли-

ками, острили. Сами докладчики подтрунивали над собой больше всех. Они предпочитали иронизировать, нежели преувеличивать значение своих работ. Такова была традиция — «никакой звериной серьезности». Судя по их сообщениям, биофизика была сродни ловле лукавых бесов, выглядела наподобие игры в жмурки или игры «вверх-вниз». Правда, было не похоже, чтобы эта игра доставляла им большое удовольствие.

Принято считать, что научная работа дает человеку высшее удовлетворение. Открытие и есть подлинное счастье, бескорыстное, пример всем, кто хочет быть счастливым, — на этом вырастали поколения, это обещали романисты, да и сами патриархи науки утверждали так в своих обращениях к молодежи.

— Боюсь, что занятия наукой — патология, — сказал Лев Александрович Блюменфельд. Он выступил последним, в заключение как заведующий кафедрой. Он не хотел ничем отличаться от своих студентов. — Многие из вас убедились, что удовольствие от науки — приманка для непосвященных. Радость успеха, что маячит впереди, достается так редко, что не следует на нее рассчитывать. Да и, кроме того, удовольствие вовсе не связано с большими результатами. Занятие наукой скорее напоминает мне болезнь вроде наркомании или алкоголизма. Пьешь потому, что не можешь не пить. Отказаться нет сил. Пьешь — и противно, как говорил один алкаш, но не пить еще противнее.

Лев Александрович припоминал, сколько у него лично было случаев такой радости за эти четверть века. Насчитал всего пять. То есть в среднем раз в пять лет выпадает успех, удовольствие найти что-то стоящее. И то один из случаев был ликованием неоправданным. Потом выяснилась ошибка — результаты пришлось опровергнуть, удача не состоялась. Остается четыре. Четвертый раз был десять лет назад, когда, чтобы что-то понять в неравновесных состояниях, пришлось писать о них книгу. До этого Лев Александрович сделал несколько докладов, в которых никто ничего не понял. Сам он понимал не больше слушателей. Когда же написал больше половины книги, сообразил что к чему. Все прояснилось — и это было наслаждение.

Другой случай произошел, когда он лежал в больнице с инфарктом.

Нельзя было ни читать, ни писать. Оставалось думать — «занятие малопривычное для научного работника». Стал он думать и обдумал проблему слабых взаимодействий в биологии.

Удачи и неудачи играют с исследователем в прятки. Возглавлял он одну работу, где обнаружили некие новые магнитные свойства в клетках. Обнаружили, возликовали, опубликовали. Потом усомнились, испугались, стали перепроверять, нашли грязь и опровергли собственную работу. Было, конечно, огорчительно. Но, как говорится, за честь можно и сгинуть. Однако кое-кто продолжил работу и позже нашел, что сомневались зря, ферромагнитные вещества, о которых шла речь, все же существуют... Это была самая шикарная неудача... Остальное время потрачено на рутинные опыты, на занудную обработку данных, никому не нужные отчеты...

Мне было странно, почему он не щадил себя, с какой стати надо было подставлять борта этой стае юнцов, не знающих снисхождения.

— У меня есть работы, которые я делаю один, без соавторов,— продолжал он.

По залу прошел смешок. Это оценили. Не то чтоб ему внимали. Нисколько. Он не имел никаких преимуществ. Скорее наоборот — возраст был его недостатком. У него было всего лишь превосходство пройденной дистанции. Кое о чем он мог предупредить.

Непросто было соревноваться с молодыми. На классиков они смотрели с тайной улыбкой жалости. Они знали больше, чем покойные лауреаты Нобелевских и прочих премий. Им были известны их ошибки, несовершенство их методик. Приборы старинные, примитивные. Классики — значит, освоенное, устарелое. Наука — это не музыка и не литература.

Молодые были правы, и было что-то грустное в их правоте, в их беспощадности. Великим именам оказывалось должное уважение, им кланялись, но живого чувства не было. Зубра все помнили, но и он уходил в прошлое, полное заблуждений. Задевать его, однако, побаивались. Эти ребята обходили его с осторожностью. Он продолжал действовать, и в один прекрасный день могло стать, что прав он, а не они. На этом некоторые уже обожглись.

Оставаться лидерами среди них можно было, очевидно, только выступая на равных. Руководители кафедры сохраняли форму, потому что не пользовались никакими скидками — ни Л. А. Блюменфельд, ни старожил Пущина С. Э. Шноль. Им ничего не нужно было от своих бывших учеников, так же как и тем от своих бывших учителей.

Я спросил одного парня из Риги, чего ради он приехал сюда, взял три дня за свой счет и приехал.

— Соскучился по ребятам,— с ходу объяснил он. Подумав, добавил: — Надо проверить свои идейки, обговорить.— Замолчал, наморщив лоб. Ему не хватало еще какой-то причины.— Может быть, потому, что здесь не стесняешься всякие глупые мысли высказывать.

Но чувствовалось, что и это было не все. Никто из них не мог точно объяснить — зачем им надо время от времени слетаться к бывшему гнезду.

Выпускники сидели по годам. Вдоль длинных столов ресторанного зала кучковалось более двухсот человек. Произносили тосты, выступали с воспоминаниями, с капустниками. Для выпускников последних лет Зубр стал легендой. Я подсел к первым выпускникам, где все его знали. У них до сих пор ходили прозвища, которыми он их окрестил. Вот — Трактор, а вот — Хромосома. Они проходили практику у Зубра в Миассове. Там им прочищали мозги, вправляли мозги, доводили до дела, до ума. Они пользовались остротами тех лет, фольклором, который передается из поколения в поколение: «Есть две точки зрения — моя и неправильная», «Нельзя спрашивать, как это происходит, надо спрашивать, как это может происходить».

Здесь все обращаются друг к другу по имени. Дяди и тети, они здесь становятся мальчишками, девчонками, им приятно, когда их отчитывают. Если бы я разговаривал с Андреем Маленковым в его институте, передо мной сидел бы солидный ученый муж. Сейчас мне рассказывал о Зубре мальчик, один из его поклонников:

— Я по образованию физик. Руководители нашей кафедры не биологи. Настоящее генетическое образование мы получили у Николая Владимировича. Мне вообще везло на учителей. Ляпунов научил меня мыслить математически. Последнее время я об этом размышлял, потому что мне надо определить стратегию моих работ. Важна школа, преемственность. Тимофеев — главное звено. Он во многом определил мою судьбу. Он научил рассматривать биологию эволюционно. Научить мыслить биологически — самое трудное. Связь физики и биологии, принцип дополнительности, мутации — все это врубилось в меня. Он был достаточно эгоистичен, свои устремления ставил на первое место. При этом к своим работам относился критично, критичнее, чем другие ученые... Отличал его оптимизм. Я занимался геронтологией и убедился, что долголетие невозможно без оптимизма. Оптимизм дается генетически. Нажить его трудно. Несмотря на исключительную свою судьбу, Николай Владимирович был самым последовательным и энергичным оптимистом... Он обращался с нами беспощадно. Услышать его одобрение было непросто, а уж чтоб заинтересовать его, чтоб он начал вас слушать внимательно — для этого надо было все силы напрячь. К уровню мышления он был требователен, если кто-то начинал малоинтересное, не доказанное, он обрывал: «Чушь! Грязь!»

Кто-то еще включается в разговор с ходу, как будто мы обсуждаем актуальную проблему:

— ...Старые его меньше интересовали. Поэтому он так прилепился к нашей кафедре. Он, конечно, приукрашивал молодых, наносил на них лак двадцатых годов, но довольно успешно. У него было два принципа: один — хорошие люди должны размножаться, второй — наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там как выйдет.

Они повторяли вещи, уже известные мне, но я не останавливал их.

— Лучших лекций я не слышал, чем у него, — вступает еще один из молодых. — По генетике, популяционной генетике, кроме того, по искусству: Чехов, Врубель и Серов. Всего у него было шесть лекций по искусству.

На следующее утро перед симпозиумом Андрей продолжил свой рассказ:

— С точки зрения науки, масштабности мышления Энвэ был намного выше всех. Вначале производили впечатление его темперамент, манера общения, эрудиция, значительно позже я мог оценить глубину его мышления. Мы с ним даже договорились написать одну работу о России. Он считал, что Россия не страна, а нечто большее — некий мир. Существует арабо-иранский мир, существует Дальний Восток, существует латиноамериканский мир, и существует Россия — материк со своей судьбой, путем, предназначением. У каждого материка есть свой смысл... Его волновал в последние годы вопрос о бессмертии души. Если добро абсолютно, рассуждал он, то это и есть бог. Зло относительно, а добро абсолютно — вот на чем зиждился его оптимизм. Он отличался при этом конкретностью мышления. Никогда не рассуждал о чем-то вообще. Человек во многом запад-

ный, он был рационален. Культура мышления не позволяла ему заниматься химерами. Это был русский западник, петровская натура, с тем отличием, что высоко ценил людей... Расхождения у нас были. Я, например, в бессмертие души не верю. Бессмертие души значит сохранение индивидуальности. Бессмертие в делах есть, но остальная личность растворяется, как бы человеку ни хотелось сохранить себя. Растворяется в некоторой цели развития, хотя цель эта, по-моему, существует.

— ...Он был географ, генетик, ботаник, зоолог,— добавляет Шноль.— Но дело не в широте, а, я бы сказал, в протяженности. Для него родной человек — Крашенинников, который пошел на Камчатку, исполняя волю Петра...

— А как вы думаете,— это кто-то из молодых обращается ко мне,— почему после разоблачения лысенковцев никто из его последователей не застрелился?

Этот вопрос вызывает общий интерес, отвлекает от Зубра.

Впрочем, дела давно минувших дней занимают их недолго. У них идут свои битвы. Лысенковщина — история такая абсурдная, что они не понимают торжества старших, неостывшего их гнева.

О Зубре им интереснее. Каждый что-то хранит в памяти о нем и преподносит мне как сувенир.

Вскоре спор перекинулся на тему, можно ли считать, что «Пиковая дама» — трагедия неньютоновской науки: я вот делаю так, должно из этого получиться что-то, а не получается! От этого можно с ума сойти.

Слушая их, я обнаруживаю словечки, обороты речи, заимствованные у Зубра. Они усвоили его манеру мыслить незаметно для себя. По крайней мере еще одно поколение он проживет, «разобранный» их душами. Все мы состоим из чьих-то советов, примеров, кому-то следуем, кого-то повторяем. Зубра осталось много. Казалось, он тратил себя нерасчетливо. Ничего подобного! Это был, пожалуй, самый верный способ передать себя другим... Как он говорил, наше поколение должно все лучшее передать следующему, а там как получится.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Жизнь обладает одним чудесным свойством: она, как хлеб, не приедается. Обнинск был для Зубра не просто новым местожительством, новой работой в Институте медицинской радиологии, но и возвращением в Калужскую губернию, к родным местам детства. Родина — это всегда детство: старый деревянный дом, который живет в памяти,— огромный, со скрипами, вздохами, солнечной сухой пылью, запахом сушеных грибов, зеленым мхом колодца и запахом, влажным запахом реки из него, а еще роща со страхами перед совами и ужами, с крутой лестничкой вниз, к зеленому пруду.

Обетованная земля была ему дарована в завершении пути. Отсюда он никуда не уйдет, не уедет с земли своих предков. Пришел конец его паломничеству.

Новые ученики, новая молодежь, новые семинары, летняя школа на берегу Можайского моря. Все повторялось, как в Миассове, по следующему кругу.

Летом он отправлялся с Лелькой путешествовать пароходом по Енисею, Амуру, Каме, Волго-Балту, Оби, Белой. Его тянуло посмотреть новые края. Если бы он не был зоологом, он был бы путешественником. Он сидел бы на палубе, часами глядел на медленное кружение берегов, деревень, на пристани, на полеты чаек. Он упивался Россией. Месяц проплывал огромный, как целая эпоха. Экскурсии он пропускал, в города не сходил, его влекла природа. Он смотрел, думал, работал.

Особенность его таланта состояла в том, что он умел находить главное и заниматься им. Ныне, когда времени для жизни оставалось в обрез, дни стали короче и стрелки вращались быстрее, предстояло выбрать последнее главное.

Замечу, что его отношения со временем всегда были уважительные, он чтит своенравность этого неслышного потока, который то мчался, то еле двигался. Все в мире было сделано временем и из времени. В том числе и человеческая жизнь. Но время было не однородно и не равноценно. Из него можно было выбирать лучшее, превращать пустое время в золотые часы и минуты.

Однажды вечером я застал его ликующим: домашние собрались в кино, он же в самую последнюю минуту отказался идти, остался дома и выиграл два часа превосходного времени.

По глади водохранилища плыли желтые листья. Это под водой в разгаре лета осыпались несрубленные березовые рощи. Сердце у него болело при виде больных, заваленных гнилыми бревнами речек, опустевших лесов, озер, затянутых нефтью и грязью. Зеленый покров России рвали на части, сдирали до подзола. Лучше других он понимал, как уникально чудо, сотворенное природой после миллионлетних поисков. Чего стоило хрупкое равновесие тайги, степей, равновесие ландшафта, что удерживают лисы и синицы, божьи коровки и кроты, черви и бабочки — две, а то и три тысячи составляющих, сложнейшая система переменных. Система саморегулирующаяся, устойчивая, пока в нее не вмешается человек.

Откуда ее устойчивость — вот над чем он размышлял. Каковы пределы устойчивости? Как живые существа приспособляются друг к другу и сохраняют из поколения в поколение равновесие?

Он решил ввести в эту задачу человека. Решить проблему взаимодействия биосферы и человека. По крайней мере очертить эту проблему.

Природа болела человеком. Человек не умел видеть землю как живое страдающее существо. Как укрепить силы этого существа? Как повысить производительность биосферы земли? Он предложил основы для анализа развития биосферы, ее взаимодействия с человеком.

До сих пор люди видели в природе прежде всего лакомые куски, жадно хватались за них, не заботясь о последствиях. Колокол тревоги звучал слишком тихо.

Одно дело заповедники, крохотные резервации, из милости оставленные природе, другое дело природоохранная деятельность.

В семидесятые годы его высказывания встречали отпор. Большинство людей, даже среди ученых, считали, что главное — это показатели производства, сельского хозяйства. Охрана природы — сантименты, занятия для интеллигентов, людей непрактичных. Считали, что природа безгранична, воздействие на нее человека ничтожно. Настойчивые призывы Зубра вызывали раздражение. Ему намекали на саботаж: «Вы что же, хотите остановить работы? Нам не нужна забота о природе, которая мешает развиваться промышленности». Его обвиняли в политической безграмотности — природу надо защищать от хищничества капиталистов, а не социалистического хозяйства. С грустным смешком применял он тут слова Капицы: «Это напоминает мне девицу, которая хочет отдаться по любви, а ее непременно хотят изнасиловать». Правда, Капица говорил это по другому случаю, о себе, о своих мытарствах. Но хорошее сравнение работает как поговорка.

В Институте медико-биологических проблем академик О. Г. Газенко с трогательной заботливостью опекал Зубра, дал ему возможность до конца дней осуществлять себя. Занимался он там вопросами космической медицины, наладил генетические исследования. Относился к нему Газенко с почтением и нежностью. Под конец жизни еще раз повезло!

Некоторые из ученых вызывали у Зубра недоумение. Они покорно соглашались с варварскими проектами, мало того, давали одобрительные заключения строить гибельные предприятия на озерах, вырубать леса, возводить плотины, рыть каналы... Другие копошились в своих углах, избегая всяких конфликтов. Наука помогала человеку покомфортнее устроиться за счет природы. Мелиорация, атомная техника, химикаты — повсюду происходили непредвиденные последствия, тяжелые ошибки, наука теряла престиж. Порой она выглядела угодливой служанкой.

Обсуждая науку, он пробовал найти причины опустошающей ее беззаботности. Неумно ведь осуждать волков, пожирающих оленей, или саранчу, истребляющую зелень. Разум — продукт природы, он не может возвышаться над ней; то, что он творит, входит в неведомые нам закономерности... Он не оправдывал — он искал сочетания наимыгоднейших вариантов сосуществования разума с биосферой.

Красавицы сосны стояли, заломив ветки над зыбким вечерним туманом. Березы сохраняли свет, кроны их золотились, озаренные закатом, сосны были черными, от них начинались сумерки.

Дни его убывали. Пребывание на этой земле заканчивалось. Не было уже Лельки, и он так до конца не мог понять, как жить без нее. Оставалась наука. Наука не имела конца, да и то, чего он достиг, потеряло былую цену. То, над чем он трудился все годы, загадки этого мира, которые он раскрывал, которые пожирал с неослабным аппетитом, на которых рос его дар, — все это померкло перед главной тайной жизни.

Ему не хотелось ничего переиначивать в своей судьбе. Он понимал, что главную тайну разгадать не удастся никому никогда, и это утешало его.

Вновь он сидел в кресле на верхней палубе, над ним, крича, кружились чайки. Когда-то он занимался ими. Среди зоологов он более всех чтил орнитологов. Он шутил, но с гордостью, что он единственный из зоологов, кого в «природных условиях обкакал пеликан»!

Птицы вели себя загадочно. Взять хотя бы их песни, их язык. О чем они переговаривались? Птенцы могли лететь через океан без сопровождения родителей. Как они находили свой остров в океане? Допустим, это записано в наследственном коде — но как эта запись переходит в ориентацию, в маршрут?

Река ширилась, величаво приближалась к устью. Жизнь его тоже приближалась к устью. Былые наветы, обиды, история с Академией наук — все, что когда-то волновало, осталось позади, виделось мелким. Он чувствовал себя рекой, текущей уже долго и бог знает откуда. В нем были воды верховья и тот исток, с которого все началось; в сущности, он жил много раньше, чем появился на свет, он был из прошлого века. Россия Тургенева, Чехова и Россия гражданской войны, Россия послевоенная, современная, Европа довоенная, гитлеровская Германия, атомный мир — в нем сошлись все эпохи нашего века, и все они продолжали пребывать в нем...

Иногда мне кажется, что он не умер. Если он мог прийти к нам из прошлого века, то он мог и уйти туда. У индейцев в одной из легенд говорится про день, когда с заоблачных пастбищ спустятся бизоны, помчатся по прерии. И мужчины племени будут бежать за ними, чтобы почувствовать дрожь земли под тяжестью исполинов, чтобы вернуть себе чувство страха и восторга.

ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА

РАССКАЗ

Случилось это в 1978 году. Мы с Алесем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добивались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам. союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного Комитета Обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны — государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-ов отнекивался, как мог, наконец сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, шепотливо проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовалось глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну, а сам Косыгин? Сам-то как, — волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председателе Совета Министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем Председателя Сов-

наркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило — а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать, как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину — «толцые и отверзятся», — вскоре он призадумался, закричал и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Всё же почти фронтовые кореша, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможности слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может, у них положена такая таинственность и постоянная опаска — «это не телефонный разговор».

Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да — да, нет — нет, что там мудрить. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад хода не было.

Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мною, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.

Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.

Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев — были с одной, были с двумя. Годами, десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индиви-

дуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?.. Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», — подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

— М-мда-а, — протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линиялы его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. Нельзя!.. Почему? — я недоуменно уставился на него. «Нельзя», — повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? — Это можно. И предупредил, что, когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как

было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо — предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г. (нарком военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командующий военно-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).

— ...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя — шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову — пойдем посмотрим, что делается впереди. Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете — наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивился. — Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд — два вагона плюс зенитки.

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущности, все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрагу. Вжались в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх — первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел — всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов, — как они держались, хлебнув на несколько минут хотя бы такой войны.

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько Военных советов — Северо-Западного направления, города, Красногвардейского укрепрайона и других — создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.

Формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, например, с фактами агитации и настроений тех дней, когда отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего города!», и это затрудняло организованную эвакуацию.

Комиссия должна была определить, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взаимодействие армии и Балтийского фронта. А за всем этим поднимался грозный вопрос — удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не удастся, — что делать тогда с флотом, с населением, с городом?.. На завтра разбились на группы. Молотов занимался Смольным, Берия — НКВД, Косыгин — промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвонимся». Косыгин остался организовать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили ему товарищеский обед, так что все было по-человечески, — подчеркнул Косыгин, — а не так, как изображено в некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появление его на передовой поднимало войска».

Мне вспомнилось августовское наше отступление и сентябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Легенды о Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-то, мол, он поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому научили, мы понимали, что если командующий фронтом ведет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда. Таково было наше солдатское разумение, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до Пулкова.

Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командование Ворошилова, до чего оно довело, и как переменилось на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видно, ему самому интересно было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированных. Память у него сохраняла фамилии,

количества продуктов, машин, названия предприятий. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал, вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило в какие-то отступления, которые вроде и не относились напрямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому. Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов, Академию наук, наркомов... Из руководителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организуя отправку, Косыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде. Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в Политбюро, а это много значило.

— Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слышал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более, что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеямили, прокляли, но толком никто не понимал, за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных и талантливых в том составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949—50 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом, даже для того времени — бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии, — наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского, — не разбери-поймешь. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий,

что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 49—50 годов за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно-прибранном лице.

— За что же его так, — начал я про Вознесенского, — если Сталин его привечал, то почему же...

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как шестнадцатого октября здание Совнаркома опустело, — двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: где будешь Новый год встречать? «Не знаю». «Давай у меня дома». «Хорошо, но я с Попковым приду». «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-ни-

будь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнездиковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает — каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставьте их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

— Так состоялось мое назначение.

— Ну и ну,— сказал я.— Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников.

У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг смаху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул.

— Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровно серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь. Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитает? Боится?

Исподлобья по-новому я озираю громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития,— не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы того же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных тысяч уничтоженных по «ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зощенками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, не сталинист — такое упрощенное определение не годилось. Он вспылывал не обязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его, как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это условие выживания. Не трактуй, и не трактован будешь. Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каждый жест, взгляд. Оплотка приводила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников довольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высывались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость — запугивали. Все боялись», — подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, было обожествление, надежда, радость свершений,— сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобраться, следующие и вовсе не собираются вникать. «Уважать? — спрашивают молодые.— За что? Предъявите!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Изю дня в день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. При-

шлось устранить излишества приказов, пустословия, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, в пятнадцать раз больше: из города — людей, а в город — муки, консервов, крупы, мяса... Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда — назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь с вражеского берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без фронтовой небрежности. Хлопотная была работа, на ногах, без кабинетов, бумаг. Боевая, и с точным результатом: каждый день столько-то тысяч спасенных людей — и тех, кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище Смольного. Странная вещь — для большинства блокадников, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора в то же время озарена счастливым состоянием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, была подлинность отношений, люди кругом открылись. Это, казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подметили и Ольга Берггольц в своих блокадных стихах, и Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование».

В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был избавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен. Поэтому ему вспоминалось иначе, с признательностью. Мотался по заводам, отбирал станки, прессы, приборы, специалистов — для вывоза. Скорей, скорей готовить в районах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для отправки их. Поездами с Финляндского вокзала, а дальше пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже наладить прием, кормление, медицинскую помощь и отправку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощных людей, с их малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежней жизни в глубь страны. Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с медиками, с железнодорожниками...

Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все делалось совместно, разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии... Произносил отчетливо, словно бы не только для меня.

...Тем более совместно, что кругом были друзья-товарищи: и А. А. Кузнецов (с ним в некотором роде родственники), и Яков Капустин, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов, и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал,

вернувшись с войны. Слой, что отстоялся после кировского дела. Когда убили Кирова, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде, почти все они погибли, ленинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена «ленинградского дела» опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся,— всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезали директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смоленском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда, одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят,— сердито недоумевал он.— Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

 Опасно возвращаться в места своего детства, большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно зарастало, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства, сам по себе, без делегации, посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? — вот что мне хотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более, что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал

плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были,— известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не упомянул Жданова, ни по какому поводу.

— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку.— Никаких разногласий быть не могло... Не могло,— повторил он, настаивая.— Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными,— как бы невзначай бросил он.— Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне,— подстанция, распреустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то мне пришлось работать под напряжением, у самых шин, вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле...

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу. Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более, что творили вы эту, нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И боль-

шие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделиться... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете. Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, баржами, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше, — людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами — или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, — ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали, и то и другое, — сердито настаивал Косыгин. — А как еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло, — было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или, наоборот, не помог, упустил...

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас

по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу, подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запахаться. В Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я плохо что видел и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут, — это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы, — говорит, — летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше.

Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили, что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошлась по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кой-чего как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слышал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладого. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл. И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл как нестоящее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил провести их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.

Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня уморил напруг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора было подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и геройство, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

— Только геройство признает,— сказал Косыгин.— Знаток,— и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

— И никто не вступится,— обрадованно сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем»,— должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно. Присты-

дить, подтвердить. Достаточно было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бесконечно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

— Что я?

— Подвели. Вопросыки ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.

— За вопросы? Да? А за ответы?

— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать — Жданов в то время был членом Политбюро.

— А Косыгин?

— Не был.

— И что с того. Теперь-то он...

Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно — церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выпрашивать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! Стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Неужели неизвестно, что литература имеет дело с человеком,

а не с организациями. Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не испугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе...

Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть, и выставить некуда. Заругался — писатель называется, насочиняют с три короба, а разобратся в живой душе — кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно — не посмел вступить за нашу книгу! Да какая она наша, она — голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части! Трепетный порядок зато соблюл...

— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! — прервал Б-ов и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смиренное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, пош ли бы мне навстречу, пох л о п о т а л и бы за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее захлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла — «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрасте пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему, — приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

— Фактически это, знаете, как выглядело? Как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! — С некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их обоих. Физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять, — сказал Б-ов, дожимая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было вообще-то нехотать. Потому и тянули. И все-таки не убоялись, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремнь-характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо

ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — они.

— Ладно, не унывай,— отходчиво сказал Б-ов.— Наука будет.

— Ох, и большая у вас наука,— сказал я.— Далеко видите.

Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы... Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там не было места расчетам, хитри не хитри, не выкroiшь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись! — сказал я.— Вы же были там, вам смерть была нипочем...

— Все относительно,— сказал Б-ов.

— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении,— взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава — одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только в Косыгине, написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, не с м е ю. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный...

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освободить нас.

МИМОЛЁТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

РАССКАЗ

Я застал его тогда, когда с ним почти не общались. Он жил в Ленинграде, изредка бывал в Доме писателей, то есть заходил, но как-то украдкой, избегая людей; с ним здоровались и с озабоченным видом спешили мимо. Словно чувствовали себя виноватыми. Некоторые сторонились на всякий случай. У каждого имелись свои опасения. Потом, когда мы познакомились, он с присущей ему деликатностью старался снять это чувство. Но оно все равно оставалось. До сих пор оно пребывает у меня среди прочих грехов и угрызений, что накопились за годы нашей путаной жизни.

Может, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зощенко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Этого запомнить невозможно, хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеямили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется, буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монументы Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть многие тысячи отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. История только готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины.

Неведомо как, только что опубликовали эренбурговскую «Оттепель», но сразу же на нее накинудись стражи вечной мерзлоты.

Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию — журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так и простоял до конца у стенки.

Докладчик — В. Друзин — бубнил о том, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли лишь, когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины — прежде всего по «Оттепели», это полагалось ритуально, затем шли местные нарушители—предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; он поучал и раздавал колотушки, уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года.

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут. Но уж больно яростно ругали, злобились не по размеру: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... как будто в самую последнюю минуту заменили на «блудницу». Принял бы и это, если бы не Жданов. Еще со времен Ленинградского фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запахло, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его у нас в армии не видали.

Винили и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они р а з д у в а л и авторитет Зощенко и Ахматовой, п р о п а г а н д и р о в а л и их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживал и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь я переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучали, мордовали, так нет, зачем-то опять вляпался в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождал бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел первым секретарем ЦК Н.С.Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять начинается, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать, что это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом в

октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили втык от начальства — что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте.

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Это ахнуло, как взрыв. посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

«Не согласен» — это, конечно, и на нас произвело впечатление ошарашивающее — как так сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина, если чем и запомнился мне, то исключительно тем, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил тот доклад, да и самого Друзина уже не помнят на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами — никто не мог назвать. Я ничего не понимал — почему же в таком случае он командовал журналом «Звезда», почему поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Словно бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью.

Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградской писательской организации В. А. Кочетов. Он посоветовался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.

Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, копичневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный. «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединялись в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающий настрой был задан.

Зощенко оглядел лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении, — голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно, что бы он ни сказал, все будет не так: «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» — обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность, это настораживало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думаешь, — этого никогда не требовалось, надо говорить то, что положено.

— Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный

пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союз я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель, — и опять повторил четко: — не могу согласиться!

— Зачем подчеркивать несогласие? — прошептал кто-то рядом. — Не стоит.

— Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние и я, главным образом, занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления — о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что потом имело место продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были не плохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принял все указания партии, какой должна быть литература.

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, еще носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на Первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в двадцать третьем году, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, — это существенно. Но сейчас, повторяю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно всем перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и отдельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20—30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только возникало, я писал о мещанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мещанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие. Прямо-таки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю Советскому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него были наставлены все прицелы, все мушки.

— Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо стал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зощенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зощенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адовы круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить:

передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что он хочет увильнуть, и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вывернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале.

Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Он надеялся, что ему удастся перешагнуть через все условности этой гражданской казни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все, как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкую критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

Перечитывая стенограмму, я вспомнил свое чувство досады на него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, он только усугублял, может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, заседающих на него.

— ...существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, то, что, нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, то достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжкий груз времен.

— ... да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом? — ехидно выпалил Друц.

Я знал, что это Друц, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писа-

тели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза, что Панова, что Друц и Неручев.

— ...я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения...». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов,— здесь Зощенко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смешил всю страну, чьи фразы повторяли, цитировали. В самые тяжкие времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зощенко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так, чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зощенко, как никто-другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это он годами был источником смеха, и что все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друц, всех их он смешил, все они обязаны ему многими часами радости.

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение — и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдали за него.

— Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он пунктами зачитал опровержения на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично ответить. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили всякого рода поклепы, небылицы и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— Я никогда не втирался в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал лезть в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от лада, от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегия «Звезды».

Про рассказ «Обезьянка», из-за которого, якобы, разгорелся сырбор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, во всяком случае, для нас молодых, это было совершенное открытие.

— ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно,

я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль, что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он окопался в войну в Алма-Ате, что он трус, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зощенко командовал взводом в первую мировую войну, был награжден двумя георгиями, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

— Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в радиокомитете, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе — сентябре 1941 года. Весь город был оклеен афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда, много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября месяца 1941 года провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаду в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем, создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллион ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зощенко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила всюду.

— ...Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла

над рядами. Оказалось вдруг, что Зощенко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против кочетовых и друзиных, которые были не сами по себе, а представляли власть, необозримые силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покался. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более ныне, низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного изничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

— Этого требуете вы? Вы! — крик его повис и сорвался.

Взгляд его толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжкая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгущалось чувством позора. И общего позора и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зощенко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне задают тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем, — ровно и холодно произнес он. — Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, — он посмотрел на президиум, — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнуто, но сквозь захлопнутые ставни словно пробивался непонятный свет.

Спускался, словно уходил от нас в небытие. Не раздавленный, отнюдь, он сказал то, что хотел. Отныне это будет существовать.

Оказалось, все эти годы проработок, анафем, отлучения ничего с ним сделать не смогли, и как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению!

...Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, без привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожали ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Поднялся Кочетов, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе, — предупреждающе покачал головой. Потом он перешептался с Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зощенко. Друзин сидел, изображая как бы горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зощенко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле, для Зощенко он был символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя.

Сколько этих друзиных, напыщенных, вельможных неведомыми путями пробиралось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой «крамолы», именно всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно. Год спустя после того собрания, с Зощенко, случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзиным. Саянов, человек компанейский, прихватил с собой выпивку, раздобыли кой-какую закуску, и после нескольких чоков Саянов стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его гнусавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого: они читали Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус, Надсона, Белого, — поэтов отвергнутых, запретных в ту пору, вовсе мне неведомых. Читали упоенно, без усталости, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. П. Друзин выступал и уныло крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу «не надо мне вашего Друзина» запомнили крепко. Спустя десятилетия я пытался опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М. М. Зощенко было невозможно. Но что любопытно, — все повторяли мне: «Не надо мне вашего Друзина!» Запомнили дословно эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться.

— Мы не будем преувеличивать значение того выступления, которое вы выслушали от товарища Зощенко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церквей. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И паперть и кликушество было грубо, но все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, вздыхали, задвигались, зашептались.

— Это была изворотливая речь...— настаивал Кочетов.— Почти весь Союз писателей возмущался после того, как произошло высказывание Зощенко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой, пострадал, отстаивая основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искренним убеждением. Почему вы все придаете такое значение выступлению Зощенко и самому Зощенко? Кто такой Зощенко, чего мы носимся с ним?..— таков был смысл его слов. Но они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зощенко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зощенко — это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху нэповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что у нас, мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подействовало. Встрепенулись только, когда объявили Константина Симонова. Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступления Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили дружины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат-фронтник. Я смотрел на него с надеждой. С Кочетовым было все ясно, но Симонов-то был настоящий писатель, любимый поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зощенко, досталась ему, но объединяла их талантливость, я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно — что же

вы тут, бедолаги-ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

...Советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным щенкам. Срывает у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше он выйдет на справедливость, которая, наконец прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю, — как бы поддержал он Кочетова, и тут же поднял палец.

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звезды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет, и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зощенко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

— Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зощенко и напечатали. Что же изображать из себя жертву Советской власти? Как вам не стыдно.

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне:

— То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зощенко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор «Нового мира», я буду печатать Зощенко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался и в самый последний момент скисал, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго еще присутствовало при нашем общении свернутое калачиком, упрятанное вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал, домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали... В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды при мне к Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать: «Врать не хочу, — запинаясь, сказал он, — а говорить, что думаю, не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощаю ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Нема-

ло ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклонение, за связь с «ленинградским делом»... Однако то собрание с Зощенко потрясло и бывалых ленинградских писателей.

...На сцене стоял большой портрет М. М. Зощенко, под портретом корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Это был тот же зал ленинградского Дома писателей. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амуры, такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Зал был битком набит, стояли вдоль стен, толпились в дверях.

Никого из тех, кто проводил то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что, когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого...

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Пробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зощенко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Когда, кем — неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни справлялся у писателей — как водится, никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое, и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожала плечами, вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Через месяца два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, ничего не объясняя, она протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться. Я пытался представить неизвестную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происходящее. И, однако, лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все годы.

СИСТЕМА И ЗУБРЫ

(РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКОНОМИСТА)

Памяти академика

Александра Ивановича Анчишкина

Повесть Даниила Гранина «Зубр» посвящена Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому. На примере судьбы этого человека и пользуясь подходом, уже опробованным при анализе книги А. Бека «Новое назначение» («Наука и жизнь», № 4, 1987), я попытаюсь высказать некоторые общие соображения об одной важной стороне Административной Системы — сложного механизма управления, действовавшего в стране десятки лет.

Такой подход — использование широко известного литературного произведения, его героев, описанных автором событий, созданных им литературных образов, использование всего этого в своего рода рецензии для того, чтобы проанализировать определенные социологические, экономические, политические аспекты, для читателя, мне кажется, привлекательнее или, по крайней мере, проще, наглядней и, хочется думать, убедительнее, чем классические научно-популярные статьи по экономике или истории. Признаюсь откровенно, я брался за дело, понимая, что жизнь Н. В. Тимофеева-Ресовского не самый лучший пример для размышлений о проблемах, о которых хотелось поговорить, — в его биографии есть особые страницы, нетипичные для других деятелей такого масштаба. Я имею в виду годы жизни Н. В. Тимофеева вне Родины, в Германии. С этой точки зрения лучше, может быть, было бы всмотреться в судьбу Королева. Или Туполева. Но что поделаешь — о них еще не написаны повести или романы, на которые можно было бы ориентироваться как на произведения широко известные. А повесть «Зубр» позволяет, пусть с некоторыми оговорками, кстати, непринципиальными, сделать из этой документальной истории важные общие выводы.

ПРИНЦИПЫ И КОМПРОМИССЫ

Даниил Гранин пишет, что когда-то зубры были самыми крупными из зверей России — ее слоны, ее бизоны. Теперь зубр — вид почти полностью истребленный человеком. Тимофеев и представляется писателю случайно уцелевшим зубром — тяжелой машиной, плохо приспособленной к тесноте и юркости современной эпохи.

Родился он в семье потомственных русских дворян. Среди предков — адмиралы Сенявин и Нахимов. Отец — инженер-путеец, строил Великий Сибирский путь. Сам Николай Владимирович в годы гражданской войны служил в Красной Армии. Учился в МГУ. Преподавал. Одним из первых начал изучать генетику, ставил опыты на мушках-дрозофилах. В 1925 году был командирован в Берлинский институт мозга по направлению наркома Семашко, где выполнил ряд выдающихся исследований.

В конце тридцатых годов Тимофеев пренебрег требованием вернуться в СССР и остался работать в своей лаборатории в Германии. Но принять немецкое подданство отказался. В конце войны Тимофеев отверг приглашение уйти на Запад и работать в США, дождался Красной Армии, его арестовали,

осудили как невозвращенца, отправили в лагерь. Заместитель наркома внутренних дел А. П. Завенягин привлек Тимофеева к биологическим исследованиям, связанным с использованием атомной энергии, он работал в секретной лаборатории в Миассове, на Урале. В 1956 году он впервые приехал в Москву.

О Тимофееве ходили легенды, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Ему приписывали изречения и поступки, казавшиеся совершенно невероятными. Ему была присуща полная раскованность, безоглядность. Всегда он оставался самим собой. Одни считали его дальновидным, другие — наивным, третьи — скрытным. Одни — верующим, другие — атеистом.

Жизнь Тимофеева-Ресовского была определена тремя принципами: верность науке, порядочность, долг перед предками.

Тимофеев посвятил себя науке тогда, когда из всех возможных занятий наука была самым невыгодным. Ни пайков, ни денег. Николай Владимирович шутя сказал Гранину, что пошел в науку «потому, что тогда этих паразитов, научных работников, было немного и большого вреда своему отечеству они не приносили».

После гражданской войны перед Тимофеевым распахивались двери в многообещающие кабинеты. Молодой, отличившийся на фронтах красноармеец. Студент. Родители — терпимые, не буржуи — инженеры. Родственник знаменитого Кропоткина. Оратор — это многое тогда значило. Он вполне годился для быстрого продвижения в большое начальство.

Выбор в пользу науки стал основой жизни Тимофеева. Ехать или не ехать в Германию? Его убедили: там не будет отвлекающих забот, жалованье и жизнь обеспечены, все время можно полностью отдать исследованиям. Значит, ехать. И когда он решил не возвращаться в СССР, то решающие аргументы опять были из области науки. Зубр твердо хотел ехать домой и развернуть генетические исследования. Но с 1929 года в СССР начались гонения на генетиков. В 1935 году отстранен от президентства в ВАСХНИЛ великий Вавилов. Идут судилища. Травля. Клеймят цвет нации. Отрекаются ученики и даже дети.

По возвращении самого Тимофеева скорее всего ждал арест. Но арест страшил его не сам по себе, а как перспектива прервать многообещающие генетические разработки. Он только что начал пробиваться к секретам мастерства природы: как она запустила живое, как оно потом развивалось самостоятельно. В Германии фашизм, во всяком случае в первые свои годы, никак не мешал работе Зубра. Он скорее всего просто не видел его, тот фашизм, который ужаснул мир. В тихом берлинском пригороде Бух мир Тимофеева — лаборатория, сотрудники, захватывающие эксперименты. Дома — перспектива остаться вне науки, здесь — продолжить работу.

А когда в 1945 году он очутился в лагере, его могучий организм сломили не лишения — в гражданскую войну он перенес и тиф, и голод. Но его оторвали от науки, и у него не осталось ничего, за что следовало бы держаться. Он заболел и был на краю гибели. После лагеря он мог запить, озлобиться, удариться в религию, стать циником. Но возможность вернуться к опытам предопределила все. Он не озлился, не пал духом, не разуверился. В Миассове работал в полную силу.

Помимо преданности науке Тимофеев твердо следовал второму принципу — порядочности. Интеллигент, подлинный ученый не может быть непорядочным человеком. Непорядочный будет завидовать, начнет бороться с опережающим его коллегой, порочить его и клеветать, может скатиться к плагиату, к подтасовке данных, к подгонке выводов под чьи-то решения.

Тимофеев говорил, что надо всегда быть готовым к смерти, всегда иметь чистую совесть. Смерть ведь ужасна, когда умираешь со стыдом за годы, прожитые в суете, в погоне за славой, богатством. Поэтому проверять совесть мыслью о смертном часе надо всегда.

И еще одна сила двигала Зубром — любовь к Родине. Предки, Россия, долг перед ними были составной частью личности Тимофеева.

Человек во многом западный, он был и глубоко русским. Рациональность сочеталась в нем с «любовью к отеческим гробам». Он считал, что Россия — не страна, а нечто большее — некий мир. Существует арабо-иранский мир, латиноамериканский мир. И существует Россия. Подобную почти дословно трактовку я встречал в книге известного русского капиталиста — откупщика прошлого века, интереснейшего человека своего времени В. А. Кокорева: Россия — это целый мир, разрешив ее проблемы, можно получить рецепт для всей планеты.

Патриотизм Тимофеева был интернационален. Безразлично, кто ты — татарин, эстонец, китаец. Поэтому он, не задумываясь, с неумелым акцентом рассказывал армянские, еврейские анекдоты и первым хохотал, высмеивал америкашек, итальяшек, армяшек. А больше всего от него доставалось русским, и никто его ни в чем не мог заподозрить. Когда фашисты дошли до поисков у ученых еврейских бабушек и прадедушек, Тимофеев и его жена без колебаний организовали изготовление фиктивных документов о расовой полноценности. Какая разница, сколько в ком течет какой крови, важен талант, добросовестность, умение решить задачу, найти истину.

Принципы Тимофеева органически увязывались друг с другом. Порядочность органически дополняла беззаветную преданность науке. Любовь к Родине долг перед многовековой вереницей предков исключали шовинизм и национализм и тем самым не противоречили ни науке, ни порядочности. Казалось бы, Тимофееву суждена ясная и спокойная жизнь большого ученого и незаурядной личности.

Но при этом подходе никак не объяснишь такую реальность, как уже хорошо всем заметный мощный механизм торможения, действовавший в нашей экономике. И не найдешь способов его преодолеть.

А как он вообще появился, этот механизм? И почему Административная Система не устранила его? Ведь она решала задачи, казалось бы, несравнимо более сложные — провела индустриализацию, выиграла войну, восстановила экономику, оснастила оборону страны ракетами и атомным оружием. Сторонники любых, даже самых разных оценок признают эти успехи. А если Система дефектна, то почему у нее все это получалось?

Я решил написать эту своеобразную рецензию потому, что именно образ Зубра помогает нам полнее уяснить очень важный аспект сложного комплекса, который образуют успехи прошлого.

Что собой представляет Административная Система в чистом виде? Пирамиду исполнителей. Они послушны и дисциплинированы, в идеале — добросовестны, в самом лучшем случае — фанатично преданны. Но по условию не могут генерировать новое, творить. В завершенном виде Административная Система может только реализовывать замыслы Верха. И то не все. Только те, где не требуется творчества и инициативы, поиска и самостоятельности. Система в чистом виде может только подражать, повторять, тиражировать. При этом каждый последующий цикл — хуже. Вот почему расцвет Административной Системы не мог стать ничем иным, кроме как механизмом торможения.

Откуда же успехи? Чтобы это понять, надо учесть, что Система развивалась. Ее главные успехи связаны как раз с периодом формирования, а не с периодом ее расцвета. В частности с тем, что вначале ключевые посты в Системе занимали руководители, преданность которых была воспитана не этой системой, а подпольем и революцией. Но по мере того как они уходили, в кадровом массиве все больше выступали черты, присущие именно Системе. И возрастали ее трудности.

В своей повести Гранин показал еще один фактор, обеспечивший успехи.

Для наших грандиозных масштабов строительства нужны были руководители и специалисты, а не просто люди, преданные идее строительства. Они должны действовать творчески, самостоятельно, инициативно. Пусть не в целом, пусть только на своих участках, пусть только в пределах своей профессии и своих обязанностей. Все это принесли в Систему Зубры. Они тянули груз индустриализации, войны, восстановления. Без Зубров ошибок у Административной Системы было бы неизбежно больше, их последствия — более трагическими. Чего стоили стране чистка армии от Зубров перед войной или чистка от них генетики? А были бы атомные бомбы или космические ракеты, не привлеки Система Зубров?

Именно стойкость Зубров, защищавших правоту своих профессиональных решений, отбивавших идущие порой сверху нелепости, страховала и укрепляла Административную Систему. Зубры создавали, предлагали, убеждали, пробивали. Они отвергали, вытесняли, предотвращали. Успехи прошлого отражают меру успехов Зубров. Там, где Зубрам удавалось больше, как, например, в космосе, там успехи значительны. Там, где им удавалось меньше, как в сельском хозяйстве, там и соответствующие итоги. Без участия Зубров Административная Система ничего бы не построила и никого бы не победила, осталась бы в нашей истории чем-то вроде бироновщины. Фактор Зубров чужд по духу Системе. Она их вынуждена была привлекать, она их терпела, присваивая себе их достижения. И славу. Известно, что короли снаряжали морские экспедиции, а папы и дожи заказывали картины и скульптуры. Но что можно было бы сказать, если бы юбилей плаваний Колумба, картин Леонардо или скульптур Микеланджело кто-то попытался бы превратить в чествование королевских домов, пап или дождей тех времен?

Когда я читаю захлебывающиеся от восторга статьи иных публицистов о заслугах Административной Системы, мне кажется, что мы учились с ними в разных школах и по разным книгам. Как писал Некрасов об одной из вершин тогдашнего прогресса? На вопрос: «Папаша, кто строил эту дорогу?» — папаша отвечает: «Граф Клейнмихель, душечка». Этот верный по форме ответ Некрасов исправил: «Прямо дороженька, насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты, а по бокам-то все косточки русские...»

Как специалист по управлению, я, конечно, изучал «эффект организации», открытый еще Адамом Смитом. И не считаю управление «непроизводительным трудом», знаю, что при одних и тех же ресурсах именно от уровня организации зависит разница в результатах. И что роль фактора организации гигантски возросла в XX веке и стала решающей в условиях производства, целиком охваченного общественной собственностью. Поэтому именно я менее всего склонен как-то умалять роль Административной Системы как организатора. Но как человек, «проходивший» в школе Некрасова, я никогда не разучусь на первое место ставить «работу народную».

Не льстецы и не фанатики, не винтики и святоши, не шкурники и приспособленцы создали успехи прошлого. Герои прошлого — те, кто творчески, инициативно, беззаветно работал на своих местах.

В чем же тогда вклад самой Административной Системы? Что творилось на другой стороне компромисса? Как соотносились Система и энтузиазм масс? Почему Система пошла на соглашение с Зубрами? И как вообще революционный механизм становился Системой?

В дореволюционные годы, в силу всего исторического стечения обстоятельств, когда и партия, и ее опора — рабочий класс — составляли явное меньшинство в стране; в силу характера руководителей партии, сформировавшихся еще при царизме, в условиях чудовищного гнета и репрессий; в силу того, что само вступление в партию требовало тогда от человека полного разрыва со всеми нормами, правилами, законами, ставило его вне общества; в

силу самой обстановки подпольной борьбы, когда даже член ЦК мог оказаться провокатором и никому нельзя абсолютно доверять; в силу невозможности в течение десятилетий применять в партийной работе элементарные формы демократизма и гласности; в силу неизбежного исключительного централизма, требовавшего полного подчинения вышестоящим руководителям; в силу характера процесса отбора руководителей; в силу потери всеми другими партиями всякого кредита у народа; в силу того, что основное население страны составляли десятки миллионов распыленных крестьян, — словом, в силу тысяч и тысяч объективных и субъективных обстоятельств, вплоть до многовековой бюрократической традиции Российской империи, вплоть до традиций восточного деспотизма у многих ее народов, — для того времени и тех условий почти неизбежным становился жесткий централизм как механизм руководства.

Но такое руководство больше всего подходит для армии, для войны. Оно малоприспособлено для роли организатора творческого процесса. И уже в первые послереволюционные годы возникла противоречивая ситуация, когда руководству наиболее близка и понятна Административная Система, но она малоприспособлена для строительства экономической базы, без которой нельзя удержаться у власти.

В дальнейшем развитии событий можно выделить несколько процессов. Во-первых, процесс превращения вышедшего из подполья революции и гражданской войны механизма партийного и государственного руководства в Административную Систему. Формируясь, она перемалывала создававших ее руководителей, превращала революционеров в администраторов, а тех, кто не превращался — не хотел или не мог, — удаляла. И, движимые уже Системой, эти администраторы, часто не сознавая, действовали в ее духе, сами подготавливали в конце концов свое устранение из Системы. Кадры, организовавшие процесс над промпартией, стали жертвами Ежова, а сам Ежов — жертвой Берии. И знаменитый прокурор Крыленко, заявлявший на суде над промпартией, что признание обвиняемого более чем достаточное доказательство его вины, вскоре сам стал жертвой своего признания.

Каждый новый цикл формирования Системы становился очередным просеиванием кадров, устраняя ту часть вчерашних победителей, которая этот этап сама подготовила, но которая уже не вписывалась во все ужесточающиеся критерии Системы, становившейся все более адекватной себе. И немало среди реабилитированных и действительно юридически невинных тех, кто в предшествовавшие своему аресту годы сам немало сделал, чтобы приблизить свой личный финал. Странно выглядят попытки оправдать этих людей тем, что потом они сами оказались жертвами, — поджигателя леса неуместно оправдывать тем, что он сгорел сам.

Система уже все больше и больше действовала сама. И даже наиболее соответствовавший ей Сталин тоже должен был непрерывно изменяться — теряя жену и семью, теряя последние черты живого человека и превращаясь в Хозяина.

Системе, помимо руководителей-исполнителей, нужны были работники-исполнители. Работников было достаточно, и они были охвачены энтузиазмом, долго отождествляя Систему со сделанной их руками революцией. Сам по себе энтузиазм был чужд Системе и становился все более чуждым по мере ее развития, все больше мешал внедрению беспрекословной исполнительской дисциплины. Его с самого начала надо было вводить в рамки, держать в руках, направлять в нужное русло, используя, в частности, массовые репрессии и обстановку постоянной угрозы репрессий.

И, наконец, Системе нужны были руководители и специалисты. Особенно специалисты — люди, способные дать охваченным энтузиазмом работникам грамотные указания, выработать профессиональные решения, способные действовать творчески и инициативно. Ни то, ни другое немыслимо без само-

стоятельности. А самостоятельность с Системой несовместима. И здесь оставалось одно — идти на компромисс, допустить существование в чем-то непослушных Системе работников. Эта готовность Системы к компромиссу встретила готовность пойти на него и у основной части российской интеллигенции, особенно технической, мечтавшей о процветающей стране и видевшей реальность намерений Системы провести индустриализацию. Такую же готовность Система нашла и у руководителей, которые вынесли из революции позицию активности и самостоятельности, мечтали о новом обществе и ради участия в его строительстве были готовы от многого отказаться. Итогом этого компромисса и стали Зубры.

Так сложилась необычайнейшая ситуация, когда Административная Система получила чуждое ее сути задание организовать экономический рывок, привлекая для этого чуждые ее сути силы — охваченных энтузиазмом трудящихся и Зубров. Именно они и построили в итоге нашу «дорогу железную».

Никаких сомнений нет и быть не может — нам есть чем гордиться! Но нельзя, чтобы этой гордостью завладели те, кто хочет успехи прошлого записать только на счет Административной Системы, смешав в кучу и тех, кто строил, и тех, кто арестовывал. Тех, кто творил, и тех, кто доносил. Тех, кто боролся, и тех, кто давил. Тех, кто работал для дела, и тех, кто работал для начальства, для галочки, для пайка. Категорически не принимаю навязываемого нам сторонниками Административной Системы умозаключения: если гордиться прошлым с его успехами, то надо оправдать всю Систему целиком.

Есть другая логика — видеть в успехах прошлого прежде всего «работу народную» и воздать должное всем в соответствии с реальной мерой участия в этой работе.

УРОК НА ТЕМУ О БУДУЩЕМ

Составным звеном соглашения Зубров и Административной Системы был отказ Зубров от политики.

Именно это давало им возможность сохранить на своем участке самостоятельность, возможность творить, строить, изобретать, воевать, рисковать. Если бы героем повести Гранина был С. П. Королев или кто-то из физиков-ядерщиков, то на этом анализ бы и закончился. Но Гранин взял Зубра-биолога, и это позволило увидеть много нового в части тех следствий, которые принес уход Зубра от политики, — и для самих Зубров, и для Административной Системы.

Сначала о первом. Зубр отказывается от политики ради возможности заниматься генетикой. При этом ничего особенного Административная Система от генетиков не требовала. Она требовала от них того же, что и от машиностроителей, гидроэнергетиков, конструкторов военной техники, — немедленных рекомендаций.

Но были и два специфических обстоятельства. Во-первых, состояние самой генетики. Во-вторых, характер того объекта, к которому надо было прилагать рекомендации, — колхозный строй.

Генетика в конце двадцатых годов стояла перед важнейшими открытиями фундаментального характера, но каких-либо практических рекомендаций прикладного характера пока еще дать не могла. Более того, желание развивать теоретические исследования, в частности опыты над дрозофилами, казалось не только отвлечением средств без отдачи, но и легко могло быть истолковано как нежелание помогать стране, а то и как прямой саботаж.

Обе стороны соглашения требовали своего: Система — немедленного вклада в ускорение экономики, а Зубры — права вести исследования. Конфликт был налицо.

Он приобрел особую остроту, так как касался сферы, в которой Система ждала от генетики чудес сельского хозяйства. Уже тогда было ясно, что запущенный в село насос не сможет качать ресурсы бесконечно. Оставалось надеяться на науку, на ее способность обеспечивать небывалые сроки, небывалые удои, небывалые привесы.

Но практическое значение работ Вавилова, по словам Зубра, состояло в том, что они отвечали на вопрос, «что мы будем жрать в XXI веке». А Административную Систему этот аспект не мог интересовать, так как и наука, и природа, и сами жизни людей были брошены на одну задачу — рывок в кратчайшие сроки.

Выяснив, что генетики не могут реально помочь ее претензиям, Административная Система сочла условия соглашения невыполненными. Обе стороны считали себя правыми. А как писал К. Маркс в «Капитале», когда право сталкивается с правом, решение принадлежит силе. Сила была у Системы.

Тут даже не было специального злого умысла. Просто Административная Система выявила свою суть и с упоением стала брать реванш за вынужденное соглашение. И Вавилов погиб как жертва несбывшихся надежд Административной Системы на чудо-лекарство от бед тогдашнего сельскохозяйственного производства. Как будто в истории когда-либо бывали научно-технические лекарства от социально-экономических болезней.

На пьедестал был возведен Лысенко. С портрета смотрело на нас «аскетическое, изглоданное лицо с косой челкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд...». Гранин прекрасно показал: фанатизм убивает истину — главную суть науки, ее цель и ее смысл. Истовые крики Лысенко породили не ученых, а верующих. А верующие интересуются только свидетельствами в пользу истинности своей веры. Они всегда готовы ради веры видеть одно, не замечать другое, исказить третье. Плевать на реальности, на факты, лишь бы осталась верной идея, в которую верим. Вера позволяет жить, даже переносить невероятные лишения. Но она не дает инструментов реального преобразования мира.

В лысенковщине наиболее точно выразились подлинные отношения Системы к Науке. Миражи были объявлены явью. Мистификации принимались за реальности, если только с ними был согласен Верх. Философия, понимавшая в тот момент свой мировоззренческий характер как право учить ученых их собственной науке, объясняла, судила, принимала, отвергала все и вся.

Администраторов увлекала ситуация, когда они сами «решают вопросы» и не позволяют умничать и своевольничать этим профессорам.

Факты, добытые великими трудами поколений ученых, объявлялись несуществующими. Нет генов, вот и все. Под защитой Системы лжепрофессора ставили лжеопыты. Писались лжеучебники, защищались лжедиссертации. Журналы, кафедры, издательства, лаборатории, посты в министерствах захватывали Бесы; разглагольствуя о науке, они решали свои задачи, удовлетворяя свое честолюбие и корысть.

За уход от политики Зубру пришлось заплатить тем, ради чего он шел на соглашение, — своей наукой. Но отказ Зубров от участия в политике обернулся трагедией не только для них, но и для самой Административной Системы.

Компромиссы, на которые шла Система в соглашениях с революционными кадрами, с трудящимися, с Зубрами, не могли быть ни длительными, ни неизменными. Укреплявшаяся Система все менее нуждалась в них и в 1937 году сделала первую попытку взять все в свои руки. Попытку, по ее понятиям, удачную. Но война и задачи восстановления, необходимость создания атомно-ракетного щита вновь потребовали от Системы уступок, соглашение продолжалось.

Реально Система смогла стать сама собой только после смерти Сталина, завершив логически свое формирование. Она избавилась от Хозяина, культ которого противоречил логике Системы, требовавшей, чтобы во главе пирамиды тоже был винтик. Иной формы, но именно винтик. Хозяин мешал своим произволом. Так совпало, что в те годы исчезал и важный фактор, толкавший Административную Систему на соглашение с Зубрами: ощущение слабости и опасение за свое будущее. И Система избавилась от этого соглашения. Одновременно она превратила энтузиазм трудящихся в формальные почины и прочую показуху. Избавила себя от чуждой задачи организовывать экономические рывки и заменила ее естественной для себя рутинной медленного, постепенного развития, воспроизводящего прежде всего пропорции и стандарты прошлого.

Процесс усиления неприязни Системы к Зубрам дополнялся процессом сокращения ее возможностей дать Зубрам поле творчества. Ученый, конструктор, директор, профессор, режиссер — один за другим у них исчезали последние просветы самостоятельности. Система теснит Зубров со всех сторон. Чем меньше в ней Завенягиных и Уральцев, тем труднее Зубрам субъективно. Чем логичнее — по своей логике — действует Система в хозяйстве, тем ниже его темпы, меньше ресурсы, тем труднее Зубрам объективно.

Не встречая, по сути, никакого противодействия, Административная Система постепенно вытравляла из себя все инородные тела. Все больше становится в Системе руководителей, которых она сама выдвигала и растила. Эти руководители нового типа знали одно: выполнять указания. У них был главный принцип: не выделяться из среднего уровня. А сам Средний Уровень становится все ниже. Готовые к любой директиве, эти руководители сами не терпели никаких возражений. Чем более стандартными и серыми становились выдвиженцы Административной Системы, тем нетерпимее становилось их отношение к любым отклонениям от стандартов и серости.

Изменились и трудящиеся. Устав от обещаний, от лозунгов, страдая от очевидных безобразий и от безразличия к своим нуждам, уходили поколения, уступая место новым, уже не знавшим ни воздуха революционного творчества, ни чувства хозяина земли, ни даже самостоятельности идущего в атаку бойца.

Новые руководители Системы считали, что их повседневная рутинная механическая деятельность — это и есть предел возможного. У них уже нет аскетической позиции руководителей прошлого. До каких пор ждать? Разве мы не исполняем все, что требует Система, и разве мы не заслужили благополучия? Чтобы обеспечить его, формальных каналов уже недостаточно, аппетит растет во время еды. Идет поиск новых источников, и, естественно, в их число прежде всего попадает торговля. Используя весь свой джентльменский набор — от дефицита до недовеса, — она заставляет покупателя переплачивать на каждом шагу, капли переплат орошают продавцов, сливаются в ручейки у директоров магов и торгов, превращаются в полноводные реки для многих чиновников Системы и ее руководителей.

Торговля становится примером для тех, кто распределяет жилье, путевки, возможности лечения и обучения. Но и этого уже мало. В самых разных сферах расцветает просто присвоение государственного. Для тех, кому мешают остатки совести, и, конечно, для тех, кто не может и не хочет «делать дела» и ищет компенсацию за беспросветность жизни, есть универсальное утешение — выпивка. Система не препятствует, предоставляет возможность.

Все это, разумеется, означало только одно — разложение Административной Системы, ее кризис. Он становится очевидной реальностью не в тридцатых и сороковых, а именно в спокойные семидесятые годы.

Справедливо указать на следующее. Среди руководителей Системы были люди, понимавшие ее несовместимость с сутью социализма, ее преходящий характер. Опираясь на базисные черты социализма, некоторые из них

пытались что-то изменить. Реально началом перемен стал XX съезд партии, одоббивший доклад Н. С. Хрущева о культе личности. Но вопрос об Административной Системе был в то время подменен следствием — вопросом о Хозяине. «Наказав» его, Система вывела себя из-под удара. Попытка радикальной реформы в 1965 году была парализована тем, то в центре внимания оказалась не сама Система, а опять-таки ее следствие — низкая эффективность экономики. И еще, конечно, тем, что в руководстве страны сторонники преобразований не составили большинства.

Вместе с тем попытки реформ создали в стране, пусть на короткое время, совершенно новый климат, у людей начали формироваться новые взгляды на положение дел. Глоток свежего воздуха, который мы вдохнули в те времена, забыть уже было невозможно.

И механизм торможения, и начало разложения, сам кризис Административной Системы оказались логическим итогом того отказа от политики, который был основой жизни и деятельности Зубров. Именно они могли и, более того, были обязаны вовремя понять, что Система отжила, что она становится фактором торможения, что построенному социализму нужен совершенно иной механизм управления. Но Зубры продолжали соблюдать условия соглашения: политики не касаемся, Система вне критики, нельзя оспаривать ее право руководить. И даже к зарвавшемуся, проворовавшемуся местному руководителю семидесятых годов Зубры относились по меркам и правилам, выработанным еще в довоенные годы. Зубры, и это самое страшное, оставались на своих позициях, даже когда ясно видели, что Система превратилась в Механизм Торможения, что она разлагается, что нависла угроза над самой судьбой страны.

Пока Административная Система выполняла взятые на себя обязательства по развитию страны, позиция Зубров в целом была по крайней мере объяснимой. Но чем они, считая себя людьми порядочными, могли оправдаться сейчас?

Зубр все свои беды связывал с политикой. «Злой рок лишил его то родины, то сына, и, наконец, честного имени. Все зло, был убежден он, шло от политики, от которой он бежал, ограждая свою жизнь наукой. Он хотел заниматься одной наукой, жить в ее огромном прекрасном мире, где он чувствовал свою силу. А политика настигала его за любым шлагбаумом, за институтскими воротами. Нигде он не мог спрятаться от нее».

Зубр оставил нам не только урок более правильного понимания прошлой эпохи. Он оставил нам урок на будущее — урок недопустимости ухода от политики, недопустимости пассивного ожидания чего-то.

Впрочем, не нам его судить. Кто из нас и в какой мере действовал верно? Не случайно же не снизу, а сверху пришло к нам понимание неотвратимости перестройки, радикальных изменений в стране, причем не просто в экономике, но в самой жизни общества и человека.

Вернутся ли Зубры? — ставит вопрос писатель. При всем уважении к ним я бы ответил — не должны. Мы хотим на деле реализовать лозунг партии «Больше социализма». И теперь хорошо знаем, что попытки творить на своем участке при отказе от участия в политике, в судьбах страны, в судьбах твоего народа неизбежно ведут к потере именно той возможности нормально жить и работать, ради которой тебе предлагалось смириться с ролью политического винтика. Не говоря уже о главном: принять эту роль — значит оставить страну в руках агонизирующей Административной Системы, лишить человеческой жизни в истинном, высоком смысле слова наших детей и внуков, вступающих в XXI век. Социализм — это наш строй, его судьба — наше общее дело, личное дело каждого из нас.

Сегодня провозглашаем курс на ускорение и перестройку руководству партии, стране нужна именно полная наша активность — и деловая, и, может

быть, в еще большей степени социальная, гражданская. На июньском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев подчеркнул, что первый вывод, который вытекает из опыта двух последних лет, состоит в том, чтобы не только сохранять и поддерживать, но и всемерно углублять и развивать сложившуюся в стране обстановку гласности, открытости, которая позволяет каждому человеку проявить свою гражданскую позицию, принимать активное участие в обсуждении и решении жизненно важных проблем общественного развития, ускорять процессы, идущие в этом направлении.

Повесть «Зубр» и уроки Зубра были темой моего последнего разговора с Сашей Анчишкиным. В один из прекрасных весенних дней прошлого года мы с ним вышли подышать воздухом в парк возле дома, где шла работа над материалами к июньскому Пленуму. В эту работу Саша, как всегда, включился целиком, вложил все силы и за одиннадцать часов до начала работы Пленума скончался. В пятьдесят три года. Это был второй инфаркт, вторая, теперь уже смертельная, рана в невидимой миру войне с тягостным наследием Системы. Во время той прогулки мы говорили об ошибках Зубра и Зубров, об их трагедии, о мере их ответственности за трагедии всего народа. Наши оценки в основном совпадали. И поэтому я хотел бы положить листки этой рецензии на могилу друга в качестве последнего «Прощай».

*Г. Попов,
доктор экономических наук*

В повести «Зубр» Даниил Гранин рассказал о судьбе Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского (1900—1981). Перед читателями предстала яркая и сложная личность ученого, его непростые взаимоотношения с внешним миром, но писатель, по вполне объяснимым причинам, мало рассказал о самих научных исследованиях Зубра, его конкретном вкладе в науку.

Думается, что читателям будет небезынтересно узнать об этом от людей, хорошо знавших Николая Владимировича по совместной работе. Это ученые: Л. А. Блюменфельд, биофизик, доктор химических наук; А. В. Яблоков, биолог-эволюционист, член-корреспондент АН СССР; Ю. М. Свирежев, математик, доктор физико-математических наук и О. Г. Газенко, физиолог, академик. Они встретились за «круглым столом» в редакции журнала «Наука и жизнь».

Л. А. Блюменфельд. Я думаю, что все научные труды Николая Владимировича можно разбить грубо на четыре области, в которых он сделал фундаментальные вещи. Пожалуй, первая область (не хронологически первая, а, с моей точки зрения, главная) — молекулярная генетика. Сейчас начало молекулярной генетики часто связывают с работой Уотсона и Крика, открывших двойную спираль ДНК и сформулировавших ее роль в хранении и передаче наследственной информации. На самом деле молекулярная генетика началась с Н. К. Кольцова, с его доклада на III Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов в конце 1927 года в Ленинграде. В этом докладе впервые прозвучали слова о наследственных молекулах, о воспроизведении молекул. Тогда не очень понимали, что это за молекулы; сам Кольцов говорил о белках, о воспроизведении молекул белков по принципу кристаллизации. В работах Николая Владимировича, ученика Кольцова, выполненных в 1935—1936 годах вместе с физиками Карлом Гюнтером Циммером, его сотрудником и другом, и с его учеником Максом Дельбрюком, было фактически сделано для биологии то, что когда-то Э. Резерфорд сделал для физики.

Несколько слов о знаменитых экспериментах молодого аспиранта Резерфорда Э. Марсдена, выполненных им совместно с Г. Гейгером в 1909—1910 годах. Они исследовали рассеяние альфа-частиц (ядер гелия), проходящих через тонкую пленку металла, и обнаружили, что лишь небольшая доля частиц (примерно одна из 8000) отклонялась на значительные углы (более 90°). Остальные частицы почти не отклонялись, а проходили насквозь, как через пустоту. Любой ученый меньшего масштаба, чем Резерфорд, поступил бы очень просто: он бы подверг эти данные математической обработке, например методом наименьших квадратов, в результате чего эти сильно отклоняющиеся частицы практически не изменили бы общую картину рассеяния частиц. Резерфорд понял, что эффект заключается именно в том, что в среднем одна ча-

стица из восьми тысяч отклоняется существенно. В итоге была создана планетарная модель атома, в которой практически вся масса атома сосредоточена в ничтожном по относительным размерам ядре.

В работах Тимофеева-Ресовского, Циммера и Дельбрюка плодовых мушек — дрозофил подвергали действию строго определенных доз ионизирующего излучения и регистрировали выход мутаций, то есть наследуемых изменений. Они обнаружили, что большая часть квантов ионизирующего излучения, попадающих в клетки, не дает никаких наследуемых изменений. И лишь небольшая часть вызывает наследуемые изменения, мутации.

А. В. Яблоков. Для того чтобы «выловить» эту часть, нужно было обладать совершеннейшим умением обнаруживать новые мутации. Эту технику, это умение ему дала кольцовская школа, а точнее, четвериковское обучение: все из этой школы вышедшие могли надежно и быстро выяснять спектр мутаций, появляющийся в экспериментальных линиях дрозофил. Это и сейчас-то не все умеют делать.

Л. Б. Фактически в результате этих работ выяснилось, что ген, участок ДНК, поражение которого вызывает наследуемые изменения, занимает ничтожную часть клетки. Был оценен объем этого участка (примерно 3000 атомов, на самом деле больше), определены его линейные размеры. С этой работы фактически началась современная молекулярная генетика. Николай Владимирович вычислил ген так же, как Резерфорд — атомное ядро. Следует сказать, что в этой работе с Циммером и Дельбрюком был впервые сформулирован знаменитый принцип конвариантной редупликации, то есть такого деления молекул ДНК, при котором сохраняются изменения (варианты), произошедшие между отдельными его актами.

А. Я. Причем это не только наше мнение, не только мнение профессора Блюменфельда, но об этом много раз говорил и Дельбрюк, получивший впоследствии Нобелевскую премию за обоснование молекулярной биологии. Это — общепринятое мнение среди специалистов.

Ю. М. Свирежев. Еще кто-то из «древнеримских греков» говорил, что «наука есть метод». Так вот, Николай Владимирович создал в генетике, популяционной биологии и экологии экспериментальный метод, четкий, чистый и надежный, как в физике. Раньше классические биологи больше наблюдали, чем экспериментировали. Наблюдение — это, конечно, хорошо, но это все же пассивный метод познания, а эксперимент — активное вмешательство. Причем эксперимент направленный, проверяющий модель. Я вспоминаю, как Николай Владимирович часто говорил, что если бы Мендель не знал своих законов заранее (то есть не имел бы их модели), то никакие наблюдения, никакая их статистическая обработка не помогли бы ему эти законы открыть.

Нас всегда поражало удивительное умение Николая Владимировича выделить в любом сложном явлении его существенные черты, упростить ситуацию, не выплеснув с водой и ребенка. Помню, он всегда говорил нам: «Нам деньги платят не за то, чтобы усложнять, а чтобы упрощать». Сейчас этот подход назвали бы системным, хотя Тимофеев-Ресовский, когда слышал, как кто-нибудь рассуждал о системном подходе, обычно замечал: «Системный подход — это значит: сначала подумай, а потом делай».

Как и Резерфорд в физике, Николай Владимирович обладал удивительным умением использовать все вокруг для эксперимента. Я вспоминаю лето 1965 года, когда мы хотели экспериментально проверить распространение генных волн в популяциях (то есть новых признаков, возникших у особей этой популяции). Была теория, сделанная (как это всегда бывает в теории) для идеализированного линейного ареала, то есть ареала, длина которого намного больше его ширины. Ясно было, что объектом должна быть дрозофила. Дело оставалось за малым: где найти ареал длиной в десятки метров, а шириной в метр, на котором был бы еще и корм для дрозофилы. В лаборатории такой не

создашь. И вот однажды, выйдя из столовой, Николай Владимирович свернул не к лабораторному корпусу, а к забору, около которого «ферментировала» местная помойка. Дело было летом, и вдоль забора тянулась узкая полоса остатков салатов, винегретов и т. п. Дальнейшее было делом техники. Это было первое экспериментальное подтверждение реальности генных волн.

Л. Б. В 1934 году Николай Владимирович впервые высказал идею, что ионизирующее излучение опасно не только потому, что оно вызывает лучевую болезнь, но и потому, что оно вызывает невидимые изменения наследственного аппарата, которые могут проявиться в отдаленном потомстве. Могут быть наследуемые изменения генотипа, которые проявляются не в ближайших поколениях, а в отдаленных потомках. Для того, чтобы все это понять и сформулировать, нужно было быть профессиональным генетиком и одновременно биофизиком. Так родилась радиационная генетика.

Для того чтобы оценивать биологические действия ионизирующего излучения, нужно научиться измерять излучение и производимый им биологический эффект. Надо знать, какая доза поглощена, какая доза прошла насквозь. Фактически всю дозиметрию как науку для радиобиологии сделал Николай Владимирович вместе с Циммером, или, вернее, Циммер вместе с Николаем Владимировичем. Заслуга Николая Владимировича заключалась в том, что он понимал, что биологии нужен количественный, то есть математический, подход. И требовал постановки соответствующих биологических экспериментов.

А. Я. Николай Владимирович оказался не только основателем радиационной генетики. Он уже тогда понял значение и перспективы исследования радиации для познания биологических закономерностей. В конце 30-х годов он формулирует теорию мишени и принцип попадания. (Кратко суть этой теории состоит в том, что в клетках есть «мишени» — особо чувствительные места, попадание в которые частиц излучения приводит к мутациям. Площадь «мишеней» невелика, и частицы поэтому попадают в них редко, поэтому и мутации возникают не часто.) Тогда эти концепции имели колоссальное значение для развития радиобиологии. Этим не просто были сформулированы основы радиобиологии как науки, но и показаны пути, по которым ее надо развивать. Сейчас говорят, что ряд положений этих концепций устарел, развит, изменен, но целых 30 лет, с 30-х по 60-е годы, это работало и стимулировало развитие современной радиобиологии.

Л. Б. Следует сказать, что работы с Циммером и Дельбрюком были поставлены именно потому, что они понимали, что должна быть мишень. Они измеряли размеры этой мишени.

А. Я. И обязательно нужно сказать, что его интерес к изучению действия радиации как инструмента исследования в биологии не угас, а в 50-е годы привел к созданию радиационной биогеоценологии.

Л. Б. Вместе с женой Еленой Александровной они сделали поразительные экспериментальные работы по накоплению радиоактивных изотопов в биосистемах. Они фактически сформулировали основу биологической защиты от радиоактивных загрязнений. Они показали, что некоторые микроорганизмы обладают способностью захватывать с колоссальной избирательностью радиоактивные изотопы. Были определены коэффициенты распределения изотопов между биологическими объектами и окружающей средой. Это и сейчас широко используется практически. Эти работы начались на Урале сразу после войны.

А. Я. Тимофеев-Ресовский был не просто биологом, он был естествоиспытателем. Вот мы говорим: Вернадский — великий естествоиспытатель, великий естествоиспытатель. Вот так и Тимофеев-Ресовский. Если сравнивать, то Вернадский охватывал более крупные проблемы, но все-таки эти фигуры сравнимы. Между Тимофеевым-Ресовским и Вернадским я провожу параллель. Вернадский смотрел на ту же природу, на которую смотрели геологи, климатологи. И он знал все то, что знали специалисты разных областей. Но взять, посчитать, сложить

все вместе и увидеть внутренние связи и единство всей биосферы, создать учение о биосфере — для этого надо было быть гениальным ученым. И Николай Владимирович был ученым того же плана. Он к радиации относился как к инструменту, которым можно изучать окружающий нас мир, начиная от гена и кончая биогеоценозами. Это не было озарением, это методология. Это было особое научное мышление. С помощью необычных средств изучать обычные вещи, проникать в глубину явления, в которую до него никто не проникал.

Л. Б. А когда он вернулся к этому уже после войны, то у него изменилось видение природы — углубилось и расширилось, стало пророческим и крайне важным для практики. В основе сегодняшних радиобиологических работ по Чернобылю — труды Николая Владимировича.

А. Я. Это была методология Вернадского, гениальная по сути. Сложить вместе, сопоставить самые очевидные вещи. То, что живые организмы накапливают радиацию, было известно. Тимофеев-Ресовский к тому времени был очень хорошо знаком с работами Вернадского. Известны ему были и работы академика В. Н. Сукачева, который показал, что окружающая среда не однородна, а всегда разделена на биогеоценозы — определенные участки земной поверхности со своим населением и особенностями. И вот сукачевская идея о «кирпичиках биосферы» — биогеоценозах, объединенная с учением Вернадского о биосфере и с радиационной биологией, привела Тимофеева-Ресовского к формулировке радиационной биогеоценологии. Он фактически создал новую науку.

Л. Б. И на основе этого возникла биологическая защита. Вы разводите бактерии, вы разводите микроорганизмы, вы разводите всякую живность в водоемах, и оказывается, что вода очищается. Вот это биологическая защита, которую сейчас используют для очистки озер, водоемов в промышленных масштабах. А микроорганизмы при необходимости можно легко от воды отделять, отлавливать.

Ю. С. Я бы не стал сравнивать Вернадского и Тимофеева-Ресовского — настолько они разные. Каждый велик по-своему. Каждый создал свою концепцию, свою модель биосферы, эти модели дополняют друг друга, но они лежат в разных плоскостях. Да простят мне биологи, но Николай Владимирович и в своих биосферных исследованиях оставался скорее физиком, математиком, системщиком... Для модели Вернадского характерна максимальная агрегированность и глобальность описания, его «космичность». А Тимофеев-Ресовский и здесь остается верным своему подходу — он начинает с выделения элементарной единицы биосферы. Он показывает, что такой единицей является биогеоценоз. Биогеоценоз же является и элементарной биохронологической (пространственной) единицей. Конечно, концепция биогеоценоза — это детище В. Н. Сукачева, но Николай Владимирович впервые дает ему четкое операционное, рабочее определение. С этим определением можно работать, с его помощью можно действительно представить всю поверхность Земли как мозаику этих элементарных единиц, а всю биосферу разбить на подсистемы, естественным образом отделяемые друг от друга: ведь принципы их выделения определяются природными границами, реально существующими. Именно реальность этих границ позволяет надеяться, что подсистемы выделены удачно. По-видимому, Тимофеев-Ресовский первым обратил внимание, как удивительно похоже устроены все биогеоценозы, одинаков механизм их функционирования, несмотря на всю их внешнюю непохожесть. Отсюда уже недалеко было и до концепции биосферы как статистического ансамбля биогеоценозов. Замечу, что эта концепция лежит в основе современного глобального моделирования.

В начале 70-х годов было много шума вокруг работ Римского клуба по глобальному моделированию. Конечно, они сделали свое дело, привлекли интерес к глобальным проблемам. Но все они страдали одним недостатком: это были в основном экономические модели, собственно-то биосферы, эволюции человека и биосферы, что наиболее важно, в них не было. Поэтому нами был

сформулирован новый подход к глобальному моделированию биосферы, подход, основанный на концепциях русской классической школы, одним из ярчайших представителей которой был Николай Владимирович. Этот подход сейчас стал общепринятым.

Поэтому можно смело утверждать, что основоположником современной глобалистики был Тимофеев-Ресовский. Достаточно вспомнить его статью «Человек и биосфера», опубликованную в 1968 году (и перепечатанную в журнале «Химия и жизнь», № 7, 1987). Перечитываешь ее, и тебя не оставляет ощущение, что она написана только что. Это же готовая программа развития современной глобалистики, концептуальная модель биосферы. Практически все готово для математизации. Дальше, как говорится, дело техники.

А. Я. Николай Владимирович обладал удивительным талантом давать названия явлениям, обозначать целые направления в науке одним или немногими словами. В начале своей научной жизни он сформулировал два принципа, ставших ныне неотъемлемой частью классической генетики, и дал им точные названия: пенетрантность и экспрессивность. В 1926—1927 годах в московской генетической школе С. С. Четверикова, из которой вышли такие выдающиеся исследователи, как Б. Л. Астауров, Н. П. Дубинин, Н. К. Беляев (погибший в годы репрессий), С. М. Гершензон и многие другие, широко проводились эксперименты не только в области популяционной генетики (где в те годы наша наука прочно занимала ведущее положение в мире), но и в области, как мы теперь скажем, генетики развития. Изучая проявление хорошо изученных мутаций под влиянием разных внешних и внутренних факторов, пытались понять, как же идет развитие от гена до фена, от генотипа до фенотипа. (Проблема оказалась исключительно сложной, она до сих пор не решена окончательно, несмотря на успехи современной молекулярной генетики.)

В работе, опубликованной в 1927 году, Тимофеев-Ресовский выдвинул два фундаментальных принципа. Первый — пенетрантность, или частота проявления какого-либо признака в фенотипе, то есть как часто встречается какой-то наследственно определенный признак (например, разрез глаз) в фенотипе изучаемых особей. Второй принцип — экспрессивность, или степень проявления признака, то есть как сильно он выражен в фенотипе данной особи. Этими двумя понятиями он описал огромный круг явлений, которые и до него наблюдались. Он не открыл эти явления, он их понял. Он понял, что эти явления разные и что для анализа развития нужно эти два явления обязательно разделить, потому что признак может быть в скрытом состоянии, может проявиться не у всех особей, а если проявится, то по-разному. До сих пор не создана теория индивидуального развития, но нет сомнения, что в этой будущей теории явления пенетрантности и экспрессивности должны занять очень важное место.

С определения понятий экспрессивности и пенетрантности Тимофеев-Ресовский начался как выдающийся исследователь. Уже в 1927 году и Четверикову, и Кольцову стало ясно, что их ученику предстоит большое научное будущее (недаром Н. К. Кольцов в ответ на просьбу наркома Н. А. Семашко послать кого-то из советских генетиков для организации генетических работ в Германии назвал именно Николая Владимировича). В наше время, общаясь с Николаем Владимировичем, я порой слышал от него оценку того или иного ученого: «Этот звездного неба не портит» (то есть звезд с неба не хватает). А сам он был из всегда немногочисленного разряда ученых, которые как раз «портят звездное небо».

Л. Б. В дотимофеевской генетике было просто: мутация означала всегда резкое изменение признака. Оказалось, что это не так. Оказалось, что одна мутация в конечном счете соответствует изменению одного синтезируемого белка, и тогда возникла проблема: как происходит переход от белка к признаку? Для того чтобы появился признак, нужно последовательное включение многих наследуемых изменений. Нужна определенная последовательность, а

давление отбора начнет действовать лишь через какое-то время, когда вызванные мутацией изменения проявятся в фенотипе. Понять, каким образом происходит это в нужное время и в нужной последовательности, и есть, с моей точки зрения, главная задача современной биологии.

А. Я. Я думаю, что Николай Владимирович «приложил руку» и к этой проблеме. Очень важно подчеркнуть, что с самого начала его научной деятельности он заявил о себе как исследователь экстракласса. А у крупных исследователей всегда бывает так, что какие-то их специальные работы рано или поздно начинают приобретать мировоззренческое и общепhilософское значение. Так было и с творчеством Николая Владимировича.

В 1935 году он с физиком Ромпе опубликовал маленькую статью «Принцип усилителя в биологии». В чем этот принцип усилителя состоит? Какое-то единичное явление с очень низкой энергией, ничтожное само по себе, микроскопическое, приводит в действие силы, которые на много порядков больше исходных сил.

Л. Б. Это сейчас получило название — синергетика. То есть когда речь идет о существенно неравновесных структурах.

А. Я. Так вот, Тимофеев-Ресовский рассматривал мутацию как физическое явление. С этой точки зрения мутация — что-то ничтожнейшее, биохимически или энергетически едва уловимое. А в результате получается измененный организм. Если сравнить мутацию и ее результат, то она выступает как триггерный механизм — спусковой крючок, освобождающий силы на много порядков большие. Случайное изменение генетических программ при становлении генотипа многократно усиливается.

Современная синергетика объясняет это с позиций взаимодействия неравновесных систем: когда нет равновесия, то немножко подтолкни, и даже большой предмет упадет. На мой взгляд, это лишь одна из сторон действия принципа усилителя, который как общенаучный принцип применим, как мне кажется, не только к неравновесным системам.

Надо сказать, что тогда, в 1935 году, на статью Ромпе и Тимофеева-Ресовского не обратили особого внимания, и до 70-х годов она оставалась известной лишь узкому кругу специалистов. В том, что эта работа привлекла внимание, «виноват», пожалуй, доктор биологических наук Б. М. Медников. Когда Борис Михайлович попытался аксиоматизировать современную биологию, то пришел к выводу, что есть всего пять аксиом (см. «Наука и жизнь», № 2—7, 1980 и № 10, 1982). И их достаточно, чтобы теоретически можно было построить все здание биологии вообще. Одну из этих аксиом он так и назвал — аксиома Тимофеева-Ресовского. Среди других аксиом есть две аксиомы Дарвина, есть аксиома Моргана, есть аксиома Кольцова. Так что вот чем оказывается принцип усилителя, открытый Тимофеевым-Ресовским, — это один из пяти принципов, лежащих в основе всей биологии вообще. Больше того, смею утверждать, что этот принцип далеко выходит за рамки биологической формы движения материи и относится ко всему естествознанию вообще. Не могу не вспомнить тут одного разговора с Николаем Владимировичем, который состоялся за несколько месяцев до его смерти. Не помню уже, по какому поводу, но зашла речь о том, что он сделал в науке. И тогда — совершенно неожиданно для меня — он сказал: «Может, самое главное, что я сделал, так это принцип усилителя».

Л. Б. Может быть, это так и окажется. Но, говоря о вкладе Николая Владимировича в науку, нельзя не сказать и о том перевороте в эволюционном учении, в осуществлении которого роль Тимофеева-Ресовского также оказалась ведущей.

А. Я. Тимофеев-Ресовский был первым, кто (еще в 1938 году) сказал, что в потоке всего эволюционного движения нужно различать микро- и макроэволюционные процессы. Почему он выделял микроэволюционный процесс? Он говорил: микроэволюция — это тот уровень эволюции, который мы можем точно

измерить, можем экспериментально проверять. Стало быть, на этом уровне эволюционное учение превращается в точную науку.

И здесь сказался характер научного мышления, свойственный Тимофееву-Ресовскому. Формулируя концепцию микроэволюции, он обосновал ее возможностью выделения во всем процессе эволюции элементарных событий и явлений. Именно элементарных, то есть далее неразложимых без потери качества. Он выдвигает представление о популяции как элементарной эволюционной единице, о четырех элементарных эволюционных факторах (естественном отборе, изоляции, мутационном процессе и волнах жизни), об элементарном эволюционном материале (наследственных изменениях) и элементарном эволюционном явлении — изменении генотипического состава популяции. Эта методологическая — именно методологическая! — стройность, прозрачность концепции микроэволюции просто поражает.

Конечно, представления о каждом из выделенных явлений углубляются со временем. Сейчас мы знаем о новых формах мутационного процесса, много больше знаем о действии изоляции, волн жизни. Но ни одного нового элементарного эволюционного фактора сверх тех четырех, которые выделил Тимофеев-Ресовский в 1938 году, до сих пор выделить не удалось! Сейчас мы много больше знаем о популяции, даже возник новый фронт биологических исследований — популяционная биология (см., например, А. В. Яблоков. Популяционная биология. М.: Высшая школа, 1987.— *Прим. ред.*), и тем не менее тимофеевское определение популяции как элементарной эволюционной единицы вот уже почти столетия остается краеугольным в микроэволюции.

Он умел «разложить по полочкам» (а по существу, выявить соподчинение и сделать тем самым понятным взаимодействие действующих сил), и для этого вовсе не надо было открывать какие-то новые, неведомые прежде силы. Но такое «раскладывание по полочкам» и означает всегда скачок в наших знаниях на основе «выделения существенного от несущественного» (это тоже одно из любимых выражений Николая Владимировича).

Ю. С. Ранее я уже говорил об исключительной математичности мышления Николая Владимировича. Его работы всегда уже содержат готовые концептуальные модели, которые естественно переводятся на язык математики. Та же самая микроэволюционная теория — это же типичная математическая теория. Поэтому очень естественно, что Николай Владимирович в середине 60-х годов выдвинул большую программу математизации популяционной генетики и теории эволюции. Частично она осуществлена (см., например, Ю. М. Свирежев, В. П. Пасек. Основы математической генетики. М.: Наука, 1982.— *Прим. ред.*), но еще больше предстоит сделать.

Часто говорят, что роль большого ученого заключается даже не в том, что он сделал, а в том, какие пути он указал в развитии будущей науки. Так вот, я считаю, что математическая биология, глобальное моделирование, вообще вся глобалистика — это все пути развития, указанные Н. В. Тимофеевым-Ресовским.

А. Я. Николай Владимирович сделал еще одно огромной важности дело в биологии. Дело, которое также сопоставимо с научными подвигами Вернадского. Он выделил уровни организации живой природы. Может быть, кто-то до него что-то и начинал тут делать, но он все расставил по местам. Как это обычно и бывает у гениальных людей: все детали явлений вроде были известны до них, но не укладывались в целостную, непротиворечивую картину. Тимофеев увидел структуру живой природы в целом. Он показал, что есть только четыре главных уровня организации живой материи: молекулярно-генетический, онтогенетический (пока самый неясный), собственно эволюционный, или популяционно-видовой уровень, и биосферный. На каждом из этих уровней существуют свои элементарные события, несводимые к событиям на других уровнях, то есть качественно иные.

До сих пор говорят: а почему эти четыре уровня? Давайте выделим клеточный уровень, давайте выделим еще органный и какие-то другие уровни. В таких случаях Тимофеев-Ресовский говорил: определите, что является элементарными единицами и событиями на каждом из предлагаемых уровней, и посмотрите связи с другими уровнями. И действительно, если последовать этому совету, то сомнения отпадают, уровней организации живого оказывается не произвольное, а строго ограниченное число. Выделение уровней означало системный подход к анализу явлений жизни. Получается, что в развитие системного подхода в биологии, о котором сегодня много говорится, Тимофеев-Ресовский также внес крайне существенный вклад.

О. Г. Газенко. Примерно на рубеже 1965—1966 годов мне довелось познакомиться с Николаем Владимировичем, а с 1970 по 1981 год, до конца его жизни, сотрудничать с ним в Институте медико-биологических проблем. Знакомство наше пришлось как раз на то время, когда возникла и бурно стартовала новая область знаний — космическая биология. Создавались новые лаборатории, привлекались новые люди, возникали новые идеи — это была заря космической эры. И не возникало сомнений, что участие такого крупного биолога нашего времени, как Н. В. Тимофеев-Ресовский, будет в высшей степени ценным и полезным. Так оно и оказалось. Труды Николая Владимировича в космической биологии как бы сконденсировали весь его прежний опыт и знания, и вот я думаю, что есть три очень важных и крупных направления, которые он обогатил в этой области знаний.

Прежде всего это проблемы радиационной биологии, но теперь уже связанные с решением задач освоения космического пространства. Одной из важнейших задач была необходимость определить, в какой степени факторы космического полета могут изменить радиационное воздействие на живые системы. Будет ли повреждающее действие ионизирующего излучения таким же, как на Земле, или нужно внести соответствующие поправки? Чисто теоретически казалось, что такие поправки разумны и естественны, поскольку в космосе условия существования коренным образом меняются, возникает, в частности, состояние невесомости.

И трудно переоценить вклад Николая Владимировича в проектирование, организацию и проведение, по существу, первого в мире прямого радиобиологического опыта в условиях космического полета на биоспутнике «Космос-690» (1974 г.). На спутнике был установлен источник ионизирующего излучения, с помощью которого строго дозированно были облучены лабораторные крысы на фоне действия всех остальных факторов космического полета. Это был тот основополагающий опыт, который позволил определить, что ионизирующее излучение в условиях космического полета действует на организм примерно в 1,2 раза сильнее, чем на Земле. Словом, получены были фундаментальные данные, которые в совокупности с рядом других позволили разработать основы радиационной безопасности космических полетов человека.

Быстрое, успешное развитие космонавтики порой вызывало настроение эйфории, и когда Николай Владимирович это замечал, то следовало отрезвляющее: «... так Вы космонавтику в косметику превратите — дело это серьезное и требует очень серьезного отношения».

Рассматривая проблемы радиационной безопасности космических полетов, он настойчиво обращал внимание своих молодых коллег В. В. Антипова, Ю. Г. Григорьева и Е. Е. Ковалева на необходимость учитывать специфические черты ионизирующего излучения в космосе, в частности галактического. К сожалению, и поныне эта область разработана еще слабо, хотя и предпринимается немало усилий для оценки особенностей биологического действия ядер тяжелых элементов.

Все возрастающая продолжительность полетов в космосе, так же как и пер-

спектива полетов человека к Луне и Марсу, делают эту проблему, столь интересовавшую Николая Владимировича, ныне особенно актуальной.

Вторая область, к которой Николай Владимирович всегда проявлял особенно большое внимание, — это проблемы биосферы. Известны его работы по радиационным загрязнениям, и я тоже думаю, что многое из того, что он в свое время сделал в Миассове, на Урале, сейчас послужило полезным и важным материалом для оценки чернобыльских событий.

Постоянный, я бы даже сказал, непрерывно возрастающий интерес Николая Владимировича к глобальным проблемам биосферы связывался в его представлениях с новыми возможностями, которые открывала космонавтика.

Во-первых, это начало развития техники дистанционного зондирования Земли из космоса, в чем он видел новый мощный инструмент для изучения глобальных экологических процессов в биосфере. Во-вторых, это новая биологическая задача, связанная с проектированием и созданием экспериментальных систем жизнеобеспечения, основанных на биологических звеньях.

Сама по себе идея обеспечения жизни человека вне биосферы Земли с помощью искусственных экологических систем на борту космических аппаратов принадлежит К. Э. Циолковскому, однако до последнего времени рассматривалась лишь как теоретическая возможность. Первые попытки реализации подобных систем, предпринятые Е. Я. Шепелевым, Г. И. Мелешко, И. И. Гительзоном и И. А. Терсковым, очень заинтересовали Николая Владимировича.

Казалось, что успехи теоретической и экспериментальной биогеоэкологии, столь блистательно развитые школой В. Н. Сукачева, позволяли приступить к решающему этапу исследований — моделированию экспериментальных биоценозов и изучению их функциональных характеристик. Однако исследования той поры носили в основном качественный характер, и, рассматривая их результаты, Николай Владимирович подчеркивал важность системного подхода, необходимость опоры на фундаментальный общебиологический подход к проблеме. Его, в частности, очень занимал вопрос о том, в какой мере неизбежное обеднение биологических компонентов искусственного биоценоза может сказаться на надежности и стабильности его функционирования.

Заглядывая в будущее, он размышлял не только о роли водорослей и высших растений, но и о гетеротрофном звене подобных систем, подчеркивая важность животных белков в рационе космонавтов, которые будут совершать полет к Марсу или куда-либо далее.

Кстати, один из его аспирантов работал с моллюсками как источником нетрадиционного питания. К настоящему времени ученым, работающим в области биологических систем жизнеобеспечения, удалось заметно продвинуться вперед. Созданы лабораторные установки, которые позволяют на основе использования биологических звеньев и поступающей извне энергии обеспечивать регенерацию атмосферы и воды, то есть покрывают потребность человека в этих важнейших компонентах.

Кроме того, требует дальнейших исследований и поднятая Николаем Владимировичем проблема надежности подобных систем, особенно с учетом их исключительно длительного функционирования.

Наконец, третье направление, одно из самых близких ему, — это генетические исследования. Напомню, что те годы для генетиков и генетики были очень непростыми, еще сильно было влияние сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Тем не менее невозможно было представить развитие космических исследований без генетических исследований, и у нас сложились хорошие контакты с немногими сохранившимися лабораториями — Н. П. Дубинина и другими. Объекты были различные: и растения, и дрозофила. Казалось, так хорошо работавшей в генетике мушке не было занятия на Земле, но в космосе она отлично работала. Николай Владимирович не только с интересом ознакомился с теми результатами, которые были к тому времени накоплены, но и вместе с нашими сотрудниками

Г. П. Парфеновым, А. В. Смирновой и другими обеспечил дальнейшее успешное развитие генетических исследований. Множество исследований, на проведении которых настаивал Николай Владимирович, касались изучения комбинированного действия радиации и ускорений, радиации и невесомости.

Очень важным результатом этой большой работы явилось признание того, что невесомость не является мутагенным фактором в отношении всех исследованных типов мутаций.

Таким образом, Н. В. Тимофеев-Ресовский существенно продвинул три очень важных направления космической биологии — генетическое, затем радиационной биологии и проблем биосферы, экологии с точки зрения создания искусственных экологических систем жизнеобеспечения человека в условиях длительных космических полетов или жизни на других планетах.

Ну и, наконец, хотелось бы сказать, что он был великолепным педагогом. Я думаю, что не случайно, даже будучи студентом, он уже преподавал, это в крови было, в его природе. Необычайно хорошо умел излагать — увлекательно, интересно. Просто общение сотрудников с ним как с человеком тоже всегда обогащало, способствовало повышению культуры научной работы, совершенствовало умение мыслить, формулировать свои позиции и т. д. Он был доброжелательным человеком, но в науке очень строгим. Кроме того, он был необычайно широко образованным человеком, и это тоже обогащало окружающих.

А. Я. Окидывая единым взглядом все научное творчество Тимофеева-Ресовского, можно видеть, как от сравнительно частных генетических проблем он шел ко все более и более общим, затрагивающим не только всю биологию, но и выходящим за пределы собственно биологического знания. На его долю выпало редкое для ученого счастье видеть, как предложенные им взгляды и концепции становились общепризнанными, определяющими общий уровень развития той или иной науки, и, становясь таковыми, уже теряли имя их создателя. Так было с экспрессивностью и пенетрантностью, так было с микроэволюцией, с уровнями организации живого, с принципом усилителя, радиационной биогеоценологией. Так отчасти было и в космической биологии.

В заключение приведем перечень основных монографий, соавтором которых был Н. В. Тимофеев-Ресовский. Заметим, что он с гораздо большим удовольствием участвовал в дискуссиях и разговаривал с учениками, чем писал статьи и книги.

«Применение принципа попадания в радиобиологии» (совместно с В. И. Ивановым и В. И. Корогодиным). М.: Атомиздат, 1968.

«Краткий очерк теории эволюции» (совместно с Н. Н. Воронцовым и А. В. Яблоковым). М.: Наука, 1-е издание — 1969, 2-е — 1977. Переведена на немецкий в 1975 г.

«Очерк учения о популяции» (совместно с А. В. Яблоковым и Н. Н. Глото-вым). М.: Наука, 1973. Переведена на немецкий в 1977 г.

«Введение в молекулярную радиобиологию» (совместно с А. В. Савичем и М. И. Шальновым). М.: Медицина, 1981.

Беседу записал В. Тюрин

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Турков А.</i> Не нуждаясь в пьедестале.	5
ЗУБР. Повесть.	9
Запретная глава. Рассказ.	218
Мимолетное явление. Рассказ.	237
<i>Попов Г.</i> , доктор экономических наук. Система и Зубры (размышления экономиста).	251
Научное наследие Зубра. (беседа ученых за «круглым столом» в редакции журнала «Наука и жизнь»).	261

Гранин Д. А.

Г 771 Зубр.—М.: Кн. палата, 1988.—272 с.— (Попул. б-ка).

ISBN 5-7000-0010-5 (2-й з-д.)

Новая документально-художественная повесть Даниила Гранина рассказывает о сложной и противоречивой судьбе выдающегося русского ученого-генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Взяться за перо автора заставило прежде всего желание реабилитировать имя ученого и восстановить справедливость в отношении к этому человеку.

События, происходящие в повести, достоверны, и подтверждение этому — вписанные в канву произведения подлинные документы, письма и магнитофонные записи бесед с людьми, хорошо знавшими героя.

В сборник вошли также рассказы писателя, опубликованные в разных журналах за последнее время.

Г 4702010201-061 Без объявл.
008(01)-88

ББК 84Р7

Литературно-художественное издание

Популярная библиотека.

Гранин Даниил Александрович

З У Б Р

Зав. редакцией Н. В. Ганиковская

Редактор И. М. Анисимова

Художник Д. А. Аникеев

Художественный редактор И. К. Борисова

Технический редактор В. М. Скребнева

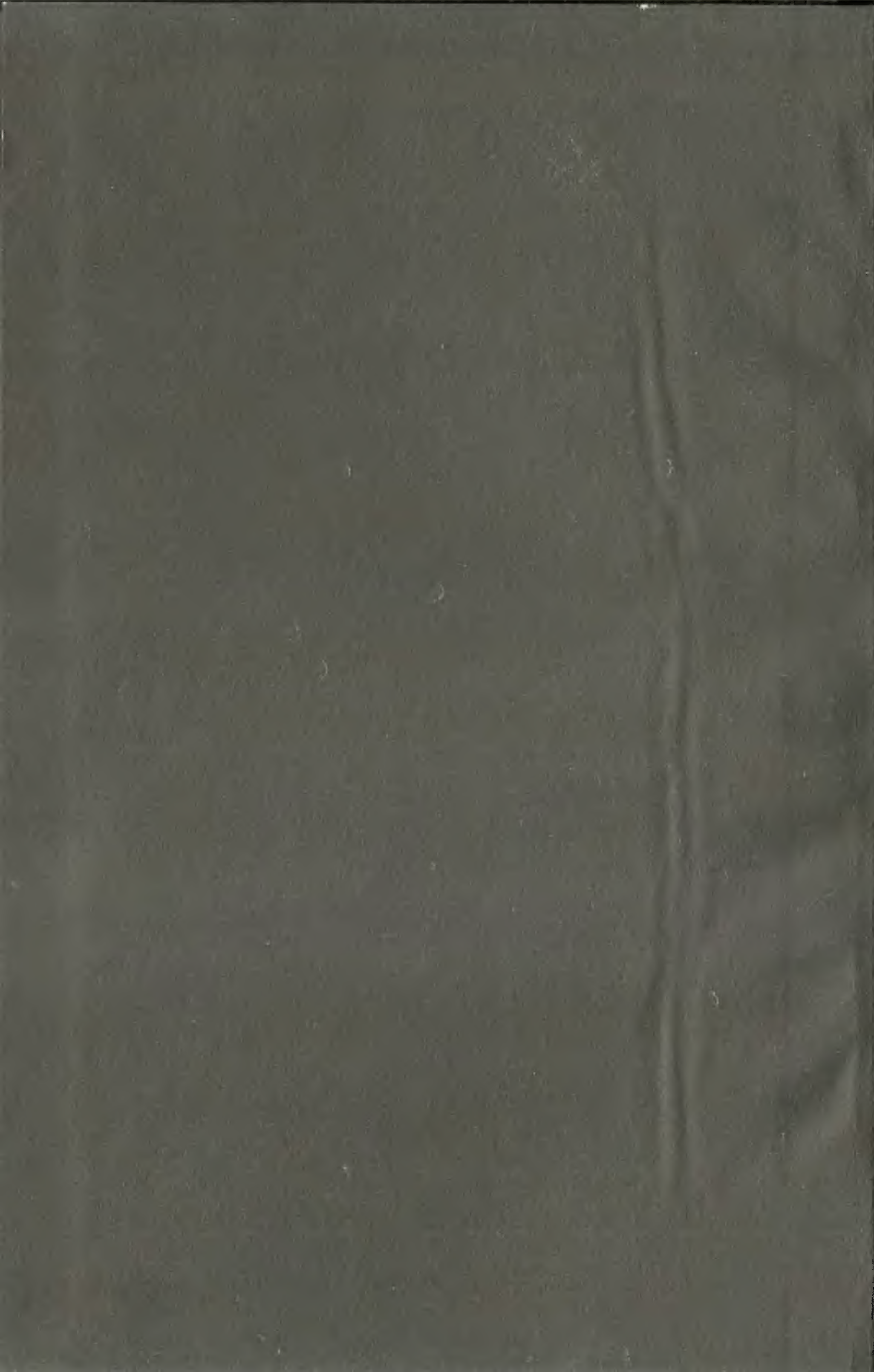
Корректор О. И. Поливанова

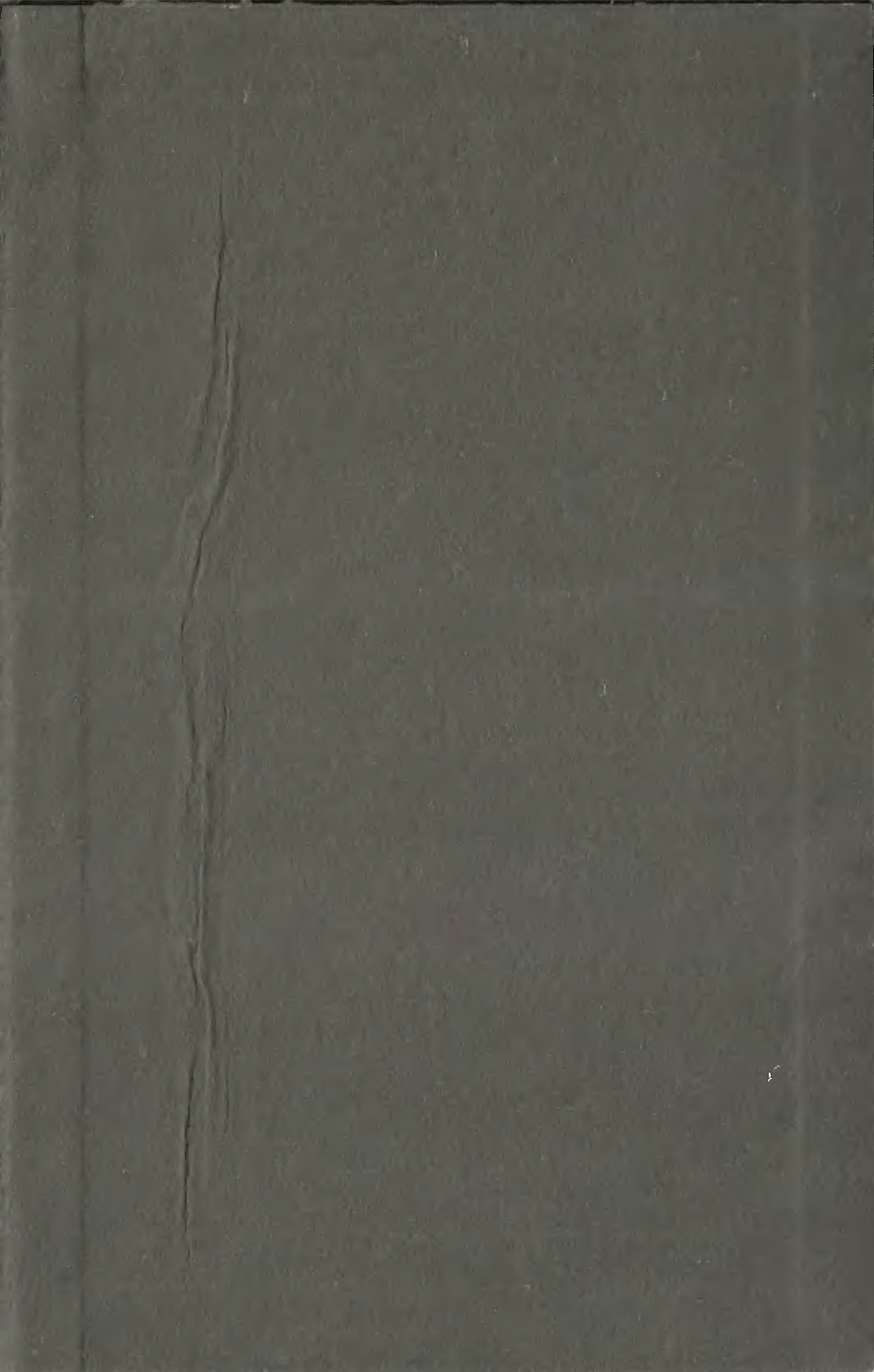
ИБ № 40

Сдано в набор 18.03.88. Подписано в печать 4.08.88. Формат 60×90/16. Бумага Кн. журн. 60 г. Гарнитура Таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 17,0. Усл. кр.-от. 34,50. Уч.-изд. л. 20,98. Тираж 200 000 экз. (2-й завод 100001 — 200000.). Изд. № 46. Заказ 8-355.

Цена 3 р. 20 к.

Издательство «Книжная палата». 103009 Москва, ул. Неждановой, 8/10.
Полиграфкомбинат ЦК ЛКСМ Украины «Молодь» ордена Трудового Красного Знамени
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 252119
Киев-119, Пархоменко. 38—44.





Зр. 20 ч.

ДАНИИЛ ГРАНИН

ЗУБР

